

Вера Панова

ИЗБРАННОЕ



ЛЕНИНГРАД
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ · 1980

Вера Панова

**избранные
произведения
в 2-х томах**



ЛЕНИНГРАД
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ · 1980

Вера Панова

ТОМ 2

**сентиментальный
роман**

**исторические
повести**



ЛЕНИНГРАД
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ · 1980

ББК 84.3 Р7
П16

Оформление художника
Н. КОШЕЛЬКОВА



© Издательство
«Художественная литература», 1980 г.

П $\frac{70302-070}{028(01)-80}$ 77-80 4702010200

СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ РОМАН

О юность легкая моя!

Пушкин

1

После долгой разлуки Севастьянов ехал в город своей юности.

Когда-то Илья Городницкий рассказывал:

«Я гимназистом ушел из дому. Черт знает, где только не был. В Тифлисе при меньшевиках работал в подполье, накрыли, сидел в камере смертников, уцелел чудом. Был комиссаром дивизии, членом ревтрибунала, воевал, учился, жил в Москве, в Гамбурге, в Париже, написал книгу. И вот приезжаю домой. На Старопочтовой цветут акации. В тротуаре выбоины на тех же местах. Старые евреи сидят под акациями на стульях, дышат воздухом. Не помню, кто такие. Ну, думаю, меня тем более не узнать. У меня, между прочим, борода и заграничный реглан. Прошел и слышу:

- Володьки Городницкого сын. (Равнодушно.)
- Возмужал.
- Возмужал...»

Узнают ли Севастьянова старожилы родимых мест? Много лет прошло, он совсем от этих мест отбился, считал себя прирожденным москвичом. И кто там остался из старожилов? Пятилетки, переселения, война перетасовали людей. В городе новые улицы, новые парки — город в войну был сильно разрушен, теперь отстроен. Говорят, хорошо отстроен.

Севастьянов ехал туда на день, от поезда до поезда, просто взглянуть... Ехал из санатория, в вагоне были сплошь курортники, возвращающиеся домой: женщины с шоколадными руками, обнаженными до плеч, и с яркими губами на шоколадных лицах; мужчины в светлых рубашках. Их голоса были еще по-курортному оживленными, празднично беззаботными. Мужчины острили; женщины кокетливо вскрикивали... Детишки с выгоревшими на солнце головами томились и капризничали в вагонном бездействии. Багажные полки были забиты новенькими белыми корзинами с фруктами. Пахло яблоками и виноградом. Резвый ветер дул в окна.

Горы кончились. Поезд шел через степь. Севастьянов до вечера простоял в тамбуре, положив локти на опущенную раму окна. Два месяца назад, с самолета, он ничего не увидел: был болен и, взглянув вниз с высоты облаков, закрывал глаза от слабости... Сейчас были убраны хлеба, и обнаженно и величаво лежала земля, отдыхая от праведных трудов, — желто-серое жнивье, окропленное яично-желтой сурепкой, — серый цвет и желтый цвет до горизонта. На откосе за окном, казалось — на расстоянии вытянутой руки, бесплотно трепыхались сухие бледно-лиловые бессмертники.

Кое-где пахали, черная полоса опоясывала край земли — черное море, маленький трактор бороздил черное море. Потом заполняла все видимое пространство бурая отава, по отаве паслись пестрые коровы. Седой чабан в соломенной шляпе сидел на насыпи, свесив босые старые ноги, и пил молоко из бутылки. В другом месте пасла стадо девушка городского вида, она медленно шла с хворостинкой в руке и читала книгу, на ее склоненной шее, в вырезе платья, обрисовались позвонки, оборка широкой юбки вилась вокруг колен.

Круглыми комочками дыма попыхивала даль, мимоходом в вагонное окно влетело тарактенье молотилки, три такта: та-та-та.

Станица, беленые хаты, колодец на улице. Женщина, скалясь от солнца из-под белого платка, крутила колодезный ворот и глядела на поезд. И так же знойно скалился, глядя из-под ладони, маленький мальчик, стоящий возле женщины. Тяжелое ведро медленно и прямо подымалось из колодца, над дверями хат прибиты гирлянды лука и связки перца, красного как огонь.

Станции — огнедышащие острова: жгучая земля в мазуте и штыбе, сверкание рельсов и скрежет железа, элеваторы, паровозы, пакгаузы, грузы... И снова поезд бежал через простор, обдуваемый ветром, степная дорога, добела испепеленная зноем, бежала рядом с полотном, серая тучка пыли катилась по дороге, а перед тучкой грузовик, нагруженный мешками. И — то курган замыкал распахнутую в окне картину, то высокая скирда. И скирды были задумчивы и вечны, как курганы.

На остановках Севастьянов выходил, смотрел на новые вокзальчики легкой павильонной конструкции, они были современной и чище прежних станционных зданий. Покупал помидоры, арбузы, вареные кукурузные початки, — в детстве все это было вкусней. В общем, он отнесся к родной своей степи с родственным вниманием, но без умиления — ведь какие пространства исколесил за эти годы, в каких краях не побывал. Так же кружили и плыли навстречу иные просторы. Там тоже насыпи и бессмертники на насыпях. И мягкая южная речь с придыханиями и неправильностями, от которых в свое время отучался в Москве, — эта речь звучит и под другими широтами...

Поезд приходил в *** утром. Севастьянов встал раньше всех не из чувствительных побуждений, просто он не любил суеты и сутолоки, которые бывают перед приездом в большой город.

Вагон спал, розовое небо светило в окна справа. На некоторых подушках лежало по две головы, женская и детская, голова ребенка льнула к материнскому плечу. Темные руки выделялись на белых простынях. На верхней полке парень с голой бронзовой спиной безмятежно храпел, лежа на животе и повернув вбок счастливое лицо. Севастьянов не торопясь, без помехи умылся, надел свежую рубашку, убрал в чемодан дорожные вещи.

— Не желаете чаю? — тихим голосом спросил, заглянув к нему, проводник... Со стаканом в руке Севастьянов вышел в тамбур к своему окну, и в этот момент поезд приостановился у разъезда. Разъезд как разъезд, желтый домишко, капуста и тыквы на грядках, белье на веревке. Безымянный разъезд в степи, остановка на полминуты, но Севастьянова будто окликнул кто: «Эй, посмотри, не узнаешь разве?», он вздрогнул и увидел за окном себя, молодого, шагающего, улыбаясь, к поезду, с волосами, раскиданными ветерком...

Солнце только что встало и лежало, блистая, на краю степи. И вся степь блистала, — каждая спаленная былинка, доживающая лето, держала свой сияющий дрожащий алмаз, а капустные листья в маленьком огороде были усыпаны частыми сизыми каплями. И Севастьянов вспомнил точно такое алмазное утро, солнце так же играло, лежа низко, и степь переливалась, — но она была зеленая! Далеко-далеко то утро, там теснятся юные лица сверстников, звучат голоса, — там он всходит по ступенькам железной лестницы, ступеньки громяхают как гром небесный, — там он пишет свои первые строчки и изображает на карнавале какого-то лорда...

Было утро, степь переливалась, он шел по степи, вот этот самый Севастьянов, что стоит сейчас тут в вагонном тамбуре со стаканом чая в руках. Тогда эти руки были розовые и юношеские, с гибкими пальцами и запястьями как из железа, и он ими беспечно размахивал на ходу. Он шел по степи, трава была густая, холодная, — а при чем разъезд, стой! Разве был разъезд? Значит, был, если запомнился навеки. Был разъезд, было утро, Севастьянов шел по алмазам и любил, так любил, что даже воспоминание об этой любви обожгло ему глаза. Он любил неимоверно и небывало, а штаны у него до колен были мокрые от росы.

2

Это какого ж лорда он представлял, Керзона, что ли? Или Чемберлена, с Чемберленом у нас тоже были счеты, даже на спичечных коробках, помнится, было напечатано: «Наш ответ Чемберлену».

Во всяком случае, Севастьянов был на карнавале в цилиндре. Стоял на грузовике, рядом кулак с бородой, поп с бородой, раввин с бородой и кто-то еще в цилиндре — Ллойд Джордж?.. На другом грузовике ребята были загримированы под китайцев, индусов, негров: Интернационал.

Они продвигались над теснотой людских голов, среди знамен алых, малиновых и густо-вишневых. (Тяжелый бархат цвета черной вишни. Ведь как бедны были в те годы, а самый слабенький заводик выносил знамя из шелка или бархата, кумач шел только на лозунги да на косынки женщинам...) Знамена, оркестры и хоры обгоня-

ли едущих. Каждый оркестр играл свое, каждый хор пел свое, песня наплывала на песню и марш на марш. Иногда это все останавливалось: когда впереди где-то образовывался затор; и грузовики стояли, затертые; а потом опять все медленно текло — красное, золотое, медное, скопление людей и музыки — вдоль Коммунистической. Во время остановок девчата в украинских костюмах, размахивая лентами, плясали на мостовой казачка и шамля.

А какая-то дивчина стояла на крыше университетского здания — пять этажей — на самом краю. Крыша была покатая, держаться не за что. Но каждую демонстрацию стояла там дивчина, Первого мая и Седьмого ноября, то в светлом платье, то в пальто, по сезону. Она демонстрировала свое бесстрашие. Показывая на нее, говорили: «Вон она опять». Жутковато было, как она стоит на самом краешке покатой крыши, ничем не защищенная от смертельной высоты. Ее стриженные волосы трепал ветер.

Севастьянов раскланивался, поднимая цилиндр, и кричал: «гау ду ю ду» и «ол райт» — больше он по-английски не знал ничего. Поп крестил народ. Кулак гримасничал. Каждый с усердием нес свою агитационную службу.

Знакомые ребята, узнавая их, кричали: «Ванька Яковенко, здорово! Ленька Эгерштром, Шурка Севастьянов, здорово!» — «Здорово!» — отвечал Севастьянов, забывая, что он лорд. Выкрикивались революционные лозунги — он кричал «ура» со всеми.

3

В одну весну были три пасхи: еврейская, русская и комсомольская.

На еврейскую целой оравой нагрянули к Семке Городничкому. Семка рад был подкормить товарищей; и в то же время страдал, что у него, безбожника, в доме пасхальная еда на столе. Все в этом доме вызывало его протест и возмущение, и прежде всего отец. Старик Городничкий в крахмальной манишке сидел на диване и хвастал. Семке хотелось, чтобы ребята побыстрее наелись и ушли, и он, Семка, с ними. Щурясь от стыда, он предлагал басом: «Пошли пройтись». Но старик Городничкий вцепился в них, мальчишек, не хотел их отпу-

скасть, пока они не выслушают его рассказов об успехах Ильи, о талантах Ильи, о блестящем будущем Ильи.

— Вы читали его статью в «Известиях»? Чтобы написать такую большую статью, надо разбираться в вопросе, ха-ха? Говорят, такому-то и такому-то понравилась статья. Теперь он пишет книгу. Ему дали отпуск, чтобы он написал книгу. Неограниченный отпуск, вам понятно? На полгода, на год, пожалуйста. А со здоровьем неважно, катар желудка еще с тюрьмы и головные боли, и он же не бережется, ему предлагают Кисловодск и что хотите, а он сидит в Москве и пишет книгу!

Выцветшие, навывкате, глаза старика Городницкого наливались слезами и кровью, когда он хвастал Ильей, своим старшим сыном. При белых он кричал, что знать не знает этого выродка, пусть издохнет в кутузке. Сейчас говорил:

— У нас в роду были коммерсанты, музыканты, сапожники, теперь, бог даст, будет большой политический деятель. Выпьем за него! Мы еще о нем услышим!

Он жаждал услышать скорей, его белые руки в коричневых крапинках вздрагивали от нетерпения... Дама с черными усами и громадным бюстом, на котором среди волнующихся оборок вздымался и опадал брильянтовый якорь, хлопотала у стола и подкладывала ребятам то фаршированной рыбы, то мяса в сладкой подливке. Перед каждым стояла салфетка, как маленький снежный сугроб. Никто из ребят не притронулся к этим голубоватым блестящим холмикам. Ножи и вилки были громоздкие, тяжелые, с вензелями... Семка яростно шурился, ничего не ел, и его горбоносое длинное лицо, искаженное отвращением, говорило: «Я не выбирал себе отца. Я не фаршировал рыбу. Эта тетка с усами и брильянтами не имеет ко мне отношения. И вообще я повешусь». Но ребятам интересно было послушать об Илье, их увлекала эта биография, такая молодая и такая бурная, полная дерзости и перемен, они примеряли эту судьбу на себя. Севастьянов думал: Илье повезло в том смысле, что он раньше родился. Родись я пораньше года на три-четыре, я тоже участвовал бы в гражданской войне, во всех этих событиях. Но ведь это начало, думал он. А угнетенный Китай, а немецкий пролетариат... Понадобимся и мы.

Пока же они мастерили богов для публичного сожжения. Наперерез наступающей православной пасхе они

подводили, как мину, свою комсомольскую пасху. Семка Городницкий делал в клубе коммунальников доклад: «Существовал ли Христос? Евангельская легенда с точки зрения астральной теории шлиссельбуржца Морозова». Он гордился, что взял такой оригинальный, эффектный материал и что кто-то сорвал афишу и пришлось делать новую. Севастьянов на доклад не пошел, для него вопрос был ясен, а забежал за Зойкой маленькой и Зоей большой, чтобы вместе идти на сожжение.

Он шел за руку с Зойкой маленькой. Ее пальцы угрелись в его руке, лежали, свернувшись уютно. Был расцвет их дружбы, еще ничем не омраченной, доверчивой. Их соединенные руки были спокойны. Так могли бы идти брат и сестра, полные взаимного понимания и доброжелательства. Зоя большая шла впереди, окруженная ребятами. Ребята напропалую острили, толкались, Ленка Эгерштром даже прошелся перед Зоей на руках, благо подморозило. Зоин смех взлетал высоко и нервно. Севастьянов нарочно сдерживал шаг, чтобы с Зойкой маленькой отстать от них немножко: он не одобрял, когда ребята поднимали на улице возню и гам; пускай они влюблены по уши, — он находил их поведение дурацким.

В темных улицах, невысоко над землей,плыли пятна разноцветного света; обгоняя друг друга, двигались по направлению к «границе». Это люди шли в церковь и несли фонарики — розовые, желтые, полосатые. Маленьким мальчонкой Севастьянов тоже ходил с покойной матерью к заутрене, неся за проволочную дужку бумажный фонарик. Фонарик складывался и растягивался, как гармонь. На дне у него была вставлена свечка, лепесток ее огня сквозь отверстие картонной крышки дышал на руку слабым теплом. Воспоминание слабенькое, как это зыбкое дыхание! Севастьянов вырос и шел в компании ребят сжигать богов.

— Даешь с дороги, а ну!.. — закричали сзади, выругавшись. Севастьяновская компания посторонилась. Ее обогнали парни с дубинами. В центре группы несли на носилках огромный, хитроумно склеенный фонарь — в виде замка с башнями, в нем горело много свечей, — должно быть, сообща сооружали... Стуча сапогами и ругаясь, парни с дубинами прошли. Зойка маленькая сказала:

— Вот это фонарь, я понимаю.

Сказала для того, чтобы Севастьянов не подумал, будто ей отвратительно и горько от мерзких слов, которые прокричали, проходя, парни с дубинами. «Ничуть не горько, подумаешь, — хотела она сказать своим замечанием, — я даже внимания не обратила — рассматривала фонарь». Она шла всюду, где можно видеть людей и события; но все грубое ее ранило, и она стыдилась своих ран, она хотела быть неуязвимой.

Открылся черный простор «границы» — весь в цветных созвездьях, тепло и туманно толпящихся у самой земли, кружащих над нею, перемещающихся и сталкивающихся.

— Красиво все-таки, — сказала Зоя большая, оглянувшись на маленькую.

— Спрашиваешь! — воскликнул Ленька Эгерштром, выслуживаясь. — Конечно, красиво!

Но Зойка маленькая сказала своим холодноватым, ясным голосом:

— Смотри что считать красивым. Если видеть красоту в религиозном дурмане...

И даже самые влюбленные, даже Спирька Савчук, который, по Ленькиному уверению, от любви к большой Зое заболел малярией, — они все присоединились к Зойке маленькой: на черта красота, если от нее вред трудящимся. Каленым железом выжигать такую красоту, которая опиум для народа! Тем более тут и красоты никакой нет: идут, несут паршивенькие фонарики, нашли чем восхищаться. То ли дело была иллюминация в пятилетие Октября, говорили ребята, когда вдоль чуть ли не всей Коммунистической горели гирляндами лампочки, а на учреждениях горели красные звезды...

Потом они жгли Христа, и Иегову, и еще всяких больших соломенных богов с ярко размалеванными лицами. Костер был разведен на широком перекрестке Коммунистической и Мариупольского, на скрещении трамвайных путей. Движение прекратилось. Длинные цепочки трамвайных вагонов выстроились с четырех сторон. Подходил еще вагон и послушно замирал в конце цепочки. Народ усыпал все четыре угла и ближние кварталы, а вокруг костра были комсомольцы, сотни комсомольцев с Югаем во главе.

Боги пылали под звон пасхальных колоколов. Столбы искр летели в городское небо. Свет костра растекался по проводам вверху и по рельсам на земле, пахло

дымом. Югай стоял близко к костру, по его лицу пронеслись тени и сияние от пляшущего огня. Он стоял в своей кожаной куртке, с кобурой у пояса, и смотрел, как сгорают боги.

Боги сгорели, толпы хлынули прочь от перекрестка, трамваи двинулись, осторожно звеня... Колокола всё били. Севастьянов и Зойка маленькая заглянули еще в молодежный клуб и послушали диспут: «Может ли комсомолец есть куличи». Установили, что не может, а на другой день Севастьянов ел кулич и дома у тети Мани, и у Ваньки Яковенко, и у Зойки маленькой, — во всех домах справляли пасху, если не родители, так бабушки и дедушки... Севастьянов не был двурушником, просто ему всегда хотелось есть, а вкусная еда была редкостью в его жизни.

4

Дама с черными усами бросила свой якорь под кровом старика Городницкого. Сразу после пасхи она туда въехала, и старик сходил с ней в загс. У них на доме вокруг парадной двери были навешаны эмалевые дощечки: «Зубной врач», «Член коллегии защитников», «Сифилис, венерические здесь, 2-й этаж». К этому дама прибавила большую поперечную вывеску: «Мережка и зигзаг». В квартиру стали ходить заказчицы. Это было последней каплей в чаше идейных разногласий, существовавших между Семкой и его отцом. Семка взбунтовался и ушел из дому.

Старик Городницкий был видный, откормленный, благодушный, с холеными руками. Он носил гетры и золотые запонки на манжетах. До революции он был комивояжером, ездил по России с образчиками парфюмерных товаров. Потом спекулировал иностранной валютой. В двадцатом году у него сделали обыск, забрали доллары и его самого забрали в Чека, но скоро выпустили. Теперь он ходил по магазинам и конторам и предлагал свои услуги, но биржа труда не допускала его на работу, потому что он был чуждый элемент.

А Семка был черный, как галчонок, горбоносый, лохматый, сутулый и такой узкоплечий, что когда он держал руки в карманах, то казалось, что плеч у него нет вовсе. Было известно, что он шляпа, хотя и может сделать доклад со ссылками на Маркса и Энгельса и читает на-

изусть гибель стихов. Читал он по преимуществу Маяковского и — чтобы исполнение наилучшим образом соответствовало исполняемому — путем особых упражнений выработал себе глубокий гулкий бас.

Держа руки в карманах, он вышел на парадное, увешанное эмалевыми дощечками. В спину ему гремел негодующий монолог старика. Верещала дама. Семка сошел с крыльца и рассеянно пошел по Старопочтовой.

Идти ему было некуда. Со всеми родственниками, кроме Ильи, у него были те же разногласия, что и с отцом. Илья не интересовался младшим братом, жил вдалеке своей завидной жизнью, гордость не позволила бы Семке обратиться к нему.

Семка пошел к Югаю, тот сказал:

— Ну правильно, давно бы так. — И обещал помочь в смысле работы и в смысле жилья.

К тому времени и у Севастьянова в семействе стало твориться черт знает что. Дядька Пимен всем испакостил жизнь, тетя Маня, ища на него управы, обила пороги фабкома и женотдела. Севастьянов маленько оттузил дядьку за то, что тот с пьяных глаз вздумал приставать к Нельке. Севастьянов тузил его в уверенности, что делает святое дело, наказывает свинство и охраняет благообразие в семье. Но тетя Маня вдруг обиделась и накричала на него, чтоб не лез не в свои дела, что он обязан дяде ноги мыть, и неужели не видят нахальные его глаза, что он тут сбоку припека... Севастьянову окончательно противно стало приходить домой, он сказал Семке:

— Я тоже от своих буду драпать, возьмешь меня вместе жить?

— Только условие, — ответил Семка торжественным басом, — жить по-комсомольски. Никакого мелкобуржуазного обрастания.

Севастьянов пообещал, что обрастания не будет... И вот они вдвоем в комитете у Югая. Севастьянов сидит на углу стола и жует булку — он с работы. Семка курит, отвернувшись с суровым видом. Севастьянов соображает, что Семка тоже голодный, и делит булку на двоих.

— Вы там каким-то совбарышням выдаете ордера... — говорит Югай в телефонную трубку.

Он сидит, откинувшись на спинку стула и вытянув ноги, на нем кепка, сдернутая назад, и добела вытертая кожаная куртка с оборванными пуговицами. В этой куртке

он приехал из Москвы, носил ее зимой и летом, невозможно было представить себе Югая в чем-нибудь другом.

Он легко сердился. Глаза становились недобрыми — узкие глаза, словно подпертые широкими скулами. Но держал себя в руках — не сорвется, не закричит. Только челюсти сожмутся и губы начинают двигаться медленно, одеревенело, как с сильного мороза.

— Совбарышням выдаете, — медленно говорит он, плечом прижав трубку к уху, глаза недобрые. — А наш активист живет в обстановке частной мастерской, хороший комсомолец вынужден жить в нэпманском кодле...

Который раз Югай произносит по телефону эти речи, а Семка Городницкий ночует тем временем у ребят, знакомых и незнакомых, — то на полу, то с кем-то на кровати, то в общежитии для ответственных работников, то на стульях в передней коммунальной квартиры, куда он попал впервые в жизни, а как-то Севастьянов крадучись привел его к себе в Балобановку. Все спали в жаркой комнатке, на кровати дядька Пимен с тетей Маней, Нелька на коротком сундучке с приставленным в изножье стулом, в полумраке на Нелькиной голове белели бумажные рожки. Дядька Пимен и тетя Маня храпели, словно состязаясь, кто громче. Густо, тяжело пахло керосином от стоявшей на столе лампочки с жестяным рефлектором. Огонек лампочки слабо бродил, припадая, по накалившемуся докрасна фитилю — в лампе кончился керосин, но казалось, что огонь томится и шарахается от храпа, гремящего с кровати. Севастьянов постелил на своем месте, между дверью и комодом, задул лампочку, — осторожно шепчась, они с Семкой легли. Утром был скандал, Севастьянов выдержал его стойко...

Но вот в один прекрасный день они шли из жилотдела с ордером, Югай добился своего через губком партии, где Семку знали как антирелигиозного пропагандиста. Ордер был на Семкино имя; Севастьянов положил его в свой карман, боясь, что Семка потеряет.

Шли веселые, и день был веселый — теплынь, голубизна, сияние, наметившиеся бутоны на акации как огуречные семечки. Звеня, прошкандыбал маленький красный трамвай, Севастьянов и Семка на ходу вскочили в прицепку. Это была платформа, открытая с боков; скамьи для пассажиров стояли поперек, а вдоль платформы по обе стороны тянулась подножка, и по ней,

придерживаясь за поручни, ловко двигался бочком кондуктор и продавал билеты. За Севастьяновым и Семкой вскочил беспризорный в лохмотьях, спел модную чувствительную песню, где были слова «моя мама шансонетка», прошелся по подножке, небрежно собирая гонорар, под конец небрежно, не глядя, вынул папироску изо рта у кондуктора, сунул себе в рот и соскочил...

А Севастьянов и Семка приехали к дому, где им предстояло жить. Дом был трехэтажный, серый, с выступающим облупленным фонарем; большая витрина в нижнем этаже замазана мелом, там шел ремонт, через сколько-то времени там открыли кафе.

Севастьянов и Семка заняли на третьем этаже комнату при кухне. Комната имела такой вид, будто ее обстреляли из пулемета; даже на потолке зияли дыры от гвоздей, вырванных вместе с штукатуркой. Окно выходило во двор, на кирпичную стену, к кирпичной стене черной ломаной линией лепилась железная лестница. Такая же лестница вела к их жилью.

Первую ночь они ночевали на газетах, которые Севастьянов взял в экспедиции. Затем перевезли на новую квартиру свое барахлишко.

5

Нелька помогла Севастьянову собрать вещи и увязать в узел. Тетя Маня была довольна и немного обижена.

— Вот теперь будешь говорить, — сказала она, — что мы тебя выжили. А мы разве выживали, да живи, пожалуйста, мешаешь, что ли? Ты не чужой, от родной сестры племянник. Живи и живи.

Дядьки дома не было.

— Хоть покажись нет-нет, — продолжала тетя Маня, обижаясь. — Хоть посмотреть на нас зайди, какие мы. А если надумаю судиться — уж как хочешь, тебя в свидетели позову. Поскольку ты нашу всю антимонию знаешь. Женотдел велит в суд подавать. Обвинять, говорят, делегатку пришлем, поголосистей. Но я еще не решила, — тетя Маня в задумчивости взялась за подбородок, на темной узловатой ее руке было надето серебряное обручальное кольцо. — Не решила, нет. Жалко мне его...

Нелька вышла с Севастьяновым за ворота. Еще не стемнело; в высоком светлом небе стоял месяц-молодик.

— И я уйду тоже, — сказала Нелька, глядя на месяц. — Как позовет кто замуж, так и уйду.

Севастьянов сочувственно встряхнул ее руку. Хотя у них были различные понятия и надежды, сиротство их роднило. Нелька была тети-Маниной крестницей. И так же, как Севастьянова — сердясь и обижаясь, что все ей садятся на голову, — приютила Нельку тетя Маня. А благодарность к тете Мане, вместе с раскаянием в том, что это чувство пришло так поздно, Севастьянов ощутил через много лет, когда она умерла. Дядька Пимен умер раньше нее, Севастьянов и Нелька были далеко, хоронила тетю Маню табачная фабрика, на которой она проработала всю свою жизнь, с девчоночьих лет.

В тот вечер, прощаясь с Нелькой у ворот, Севастьянов чувствовал только облегчение. Его душа тянулась к другим людям, в другие места. Он не любил Балобановку.

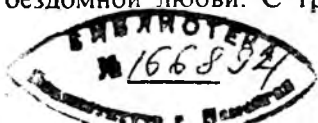
Это был поселок за городом, на голом, без деревца, без кустика, низком месте. Стоило пройти дождю, как вся местность надолго погружалась в грязь: казалось, влаги в почве было достаточно, но почему-то не росло там ничто долговечное, только мальвы, да ноготки, да крученый паныч цвели кое-где по дворам.

В ничем не прикрытых дворах орала петухи, крик их разносился над степью, издали с дороги видны были их развевавшиеся хвосты.

Домишки мазанные, побеленные мелом... Дожди смывали мел, на стенах проступали бурые подтеки глины. Крыши в разноцветных заплатках... Улиц не было: как стали домишки, так и стояли — кто куда лицом, все врозь. Вытяжные трубы нужников торчали, как скворешни.

Вокруг поселка расходились во все стороны широкие дороги, разлинованные колеями. По этим дорогам полгубернии съезжалось в город на базар. Оплетенная дорогами, как петлями, лежала Балобановка. Ничего из нее не было видно, кроме дорог и возов на дорогах.

Впрочем, если оглядеться, то еще кое-что. С одной стороны рыжели карьеры, где брали глину для кирпичного завода. С другой — зеленела на горизонте небольшая роща, пристанище бездомной любви. С третьей — в ба-



лочке курился дым из труб, там подобный же существовал поселок, по названию Дикий хутор.

А с четвертой стороны — какая-то вышка, не понять к чему: будто шагал к поселку урод-великан и все не мог дошагать.

Здесь жили заводские рабочие, сапожники, извозчики, люди без занятий. Гнали самогон и, напившись, резались ножами. На свадьбах гуляли по три дня, а то и по неделе. Родившихся детей годами не регистрировали. В праздник покрова Балобановка выходила на кулачный бой с Диким хутором.

Свои богачи были здесь, свои лекари, гадалки, свои знаменитости, например — силач Егоров, извозчик, первый победитель в кулачных боях; говорили, что он уложил насмерть шестерых человек...

Вскинув на плечо легкий узел, Севастьянов уходил дорогой, разлинованной грубыми бороздами. Темнело, месяц наливался золотом. В бороздах блестела грязь. Идти надо было обочиной, по узкой вихляющей протопке, проложенной ногами пешеходов, Севастьянов знал эту протопку наизусть. Коротенькая сквозная тень шагала с ним рядом... Отойдя, оглянулся. Еще раз увидел кривые домишки, разводы дорог, черными реками текущих за оком, шагающего уroda под острой скобкой месяца — всю нищую Балобановку, страну его детства

6

В то время он уже с полгода работал в отделении «Серпа и молота».

Устроил его туда комсомол, а до этого Севастьянов все как-то не мог нигде утвердиться прочно.

Он ходил на вокзал — от Балобановки черт знает какая даль — и предлагал свои услуги в качестве носильщика. Он был высок и силен; но именно поэтому мешочники нанимали его неохотно, они боялись, что он удерет с их мешками, предпочитали пожилых носильщиков, с одышкой, или пацанов поменьше и послабей... Все-таки свой хлеб он зарабатывал, а иногда и домой приносил хлеба. Потом поступил на картонажную фабрику.

Там работали девчата, работа была легкая — женское рукоделье. Севастьянову тягостно было одному сидеть среди девчат и заниматься женским рукодельем. С перво-

го дня он томился — куда бы деться; удерживало сознание, что надо же иметь регулярный заработок, купить теплую куртку, пройти в профсоюз... Коллектив был маленький, отсталый. Клея коробки, девчата стрекотали о Гарри Пиле и ухажерах, их оскорбляло, что Севастьянов не зажигается их интересами и не отвечает на заигрыванья. Они его невзлюбили, дразнили монахом и интеллигентом, а когда им это надоело, перестали его замечать. Перестав замечать, разговаривали в его присутствии о своих девичьих делах, о которых парню слушать не положено, и преспокойно поднимали юбки, чтобы поправить чулок или показать товаркам кружево на белье, — не из бесстыдства, а потому, что Севастьянов не существовал для них, как бы и не присутствовал вовсе. Едва представилась возможность уйти, он ушел без размышлений, не успев оформиться в профсоюзе.

В политпросвете он был курьером. Тоже малоподходящее дело для здорового парня — носить бумажки по городу. Скоро его сократили. Он опять отправился на вокзал. Но профессионалы-носильщики уже сорганизовались и выставили на всех платформах свои пикеты в фартуках и бляхах, урвать заработок стало трудно. Севастьянов разгружал на пристани угольные баржи, помогал Егорову, соседу, ремонтировать конюшню, а главным образом околачивался на бирже труда, оттуда иногда посылали на временную работу.

Газета «Серп и молот» сперва печаталась на толстой грифельно-серой оберточной бумаге и не продавалась, а расклеивалась на домах, заборах, афишных тумбах. Была она маленькая, вроде декрета или воззвания. Постепенно росла. Стала печататься на белой бумаге. Стала четырехстраничной. Ее стали продавать за деньги. Предложили на нее подписываться. Но подписчиков было мало. Рабочие еще не привыкли выписывать газету. Кто хотел — покупал на улице у газетчика или прочитывал в красном уголке.

Чтобы приблизиться к рабочему читателю, редакция открыла отделения во всех районах города. Севастьянов работал в отделении Пролетарского района. Оно помещалось на Садовой, неподалеку от площади, где стоял памятник Карлу Марксу. Площадь была мошена булыжником, крупным и расшатанным, как старые зубы. На нее выходил небольшой общественный сад с усеянными подсолнечной шелухой дорожками и раковинной для ор-

кестра. У входа в сад жгучий брюнет-грузин торговал с лотка маковниками, орехами в сахаре, белой тягучей халвой, нарезанной кусочками.

Слева от отделения «Серпа и молота» находилось молитвенное собрание христиан-баптистов. Баптисты собирались по вечерам и пели хором. В теплое время они пели при открытых окнах...

Отделение «Серпа и молота» занимало длинную узкую комнату, зажатую между баптистской молельней и парикмахерской. Входили прямо с улицы. Единственное окно давало мало света, его заслонял фанерный щит с призывом подписываться на «Серп и молот».

Севастьянов пришел сюда хозяином. Нашел пустую отсыревшую комнату в пыли и паутине, на полу была просыпана земля. Маленькие сени позади комнаты заставлены битыми цветочными горшками. Видимо, тут был цветочный магазин.

Севастьянов хотел выбросить горшки в мусорный ящик во дворе, но из квартир повыводили жильцы и стали кричать, что он весь ящик забьет своей дрянью. Пришлось нанимать подводу и вывозить горшки на свалку.

Редакция прислала уборщицу, та все помыла и побелила, и сразу в отделении посветлело. Привезли стол и два стула — один для Севастьянова, другой для посетителей. Поставили печку-буржуйку с коленчатой трубой, труба выходила в окно над рекламным щитом. Но топить, кроме старых газет, было нечем, и Севастьянов до теплых дней сидел за столом в ватной куртке и шапке.

Особенно-то сидеть не приходилось. С утра он бежал на заводы: вербовал подписчиков, принимал от рабкоров заметки. Вечером забирал из экспедиции газету и вез в отделение раздавать подписчикам. Горсовет сделал возле редакции трамвайную остановку. Вагоновожатый ждал терпеливо, пока Севастьянов погрузится. И как же гордо ехал Севастьянов со своим грузом на передней площадке, словно депутат. Каким он себя чувствовал значительным, нужным человеком. Как приятно было вытащить газету из пачки и подарить вагоновожатому... Контролеры Севастьянова не беспокоили, они его знали в лицо. А на месте выгрузки, у площади с памятником Марксу, уже дожидаются, бывало, подписчики, помогут и выгрузить, и снести газету в отделение. Севастьянов отмыкал висячий замок и входил первым. Приходили индивидуальные подписчики и уполномоченные от пред-

приятый — получать на весь коллектив. Они звали Севастьянова Шуркой. Говорили: «Ты там скажи в редакции — где же наши заметки, почему о нашем заводе давно ничего нет».

Кроме всех этих дел, нужно было убирать в отделении, уборщица полагалась только в экстренных случаях. Севастьянов чистил пол скребком, мел веником, поливал водой из лейки. Лейку ссужал сосед, парикмахер Жан, Иван Яковлевич. И улицу подметал Севастьянов, справа от него работал метлой Иван Яковлевич, слева — сторож из баптистского молитвенного дома. Иван Яковлевич симпатизировал Севастьянову и стриг его бесплатно, только за одеколон брал, когда Севастьянову приходила фантазия подушиться.

Все, что требовалось, Севастьянов делал с азартом. Потому что это была работа для «Серпа и молота».

«Сerp и молот»! Мир дивный, могущественный! Держава печати! Вот только сейчас фельетонист Вадим Железный в роскошной новенькой скрипящей кожанке сидел у залитого чернилами стола и писал — писал и зачеркивал, комкал и швырял в корзину... и вот уже несут его листки вниз в типографию; и важный наборщик в черном халате, в очках с серебряной оправой, положив перед собой эти листки, набирает в верстатку свинцовые буквы, в свинцовые рядки строит сочинение фельетониста и ловко связывает шпагатом; и печатная машина, жужжа, хлопает плотом, и стопы влажных газет растут на обшарпанной палубе экспедиции, и газетчики выбегают с криком:

— «С Чичерина, забавно
ставка он Вадима Железнодорожного»

Люди Севастьянов наблюдает: почти все, развернув газету, прежде всего ищут подвал с подписью Железного. То разоблачит кого-нибудь Железный, то воспоет свободный труд, а то напишет что-нибудь проникновенное, воспитательное, вроде того, например, что к трудящейся женщине, товарищу по борьбе, надо относиться чутко. — такие вещи особенно охотно читали и много о них говорили... Понятно, что Железный гордится; купил себе наркомовскую кожанку и портфель и весь скрипит на ходу. И в редакцию является с таким видом, словно от него зависит судьба республики.

В редакции до того не обставлено и пустынно, до того ничего нет, кроме голых столов и рваных плакатов, что шаги в высоких комнатах эхом отражаются от стен. Столы не письменные — простые, вроде кухонных, с одним выдвижным ящиком; письменные были только у Дробышева и Акопяна... О, голые столы, залитые чернилами! Они уже поджидали Севастьянова, когда он с почтением посматривал на них, проходя по коридору мимо открытых дверей.

Благодарность простым просторным столам, похожим на кухонные, за ними так хорошо сидеть и писать, они куда удобней массивных, самодовольных, самодовлеющих письменных столов, о тумбы которых стучаются колени. Благодарная память стеклянной чернильнице, квадратной и плоской, с крышкой, похожей на кепку. И деревянной ручке, изгрызенной на конце (вечными перьями писали тогда миллионеры в иностранных фильмах с «кинозвездой» Осси Освальд...

А слово «фильм», между прочим, было женского рода, говорили: «приключенческая фильма»...).

Дробышев мелькал в коридоре и скрывался у себя в кабинете. На «здравствуйте» Севастьянова иногда отвечал, иногда нет; может быть, и не знал, что за парень попадается навстречу, что он тут делает. Дробышев был член бюро губкома, пропадал на заседаниях и конференциях, уезжал в Москву, а в редакции все делал Акопян, черноглазый, румяный и спокойный, с приятным голосом, он приходил раньше всех и сидел до поздней ночи — в правой руке перо, в левой папираса.

Еще Залесский был в редакции, старый журналист, работавший во многих газетах дореволюционной России, столичных и провинциальных, много живший за границей, все на свете видевший и со всеми знакомый. Его спрашивали: «Эдуард Александрович, вы Аверченку знали?» — «Конечно, знал». «Эдуард Александрович, а вы Пуанкаре видели?» — «Брал интервью два раза: в Париже и в Петербурге»... У Залесского была седеющая курчавая голова, пышные седеющие усы и пенсне на тесемке; под усами — мясистые, сочные губы. Ходил он в широких, вроде распашонок, толстовках, с расстегнутым на белой шее воротом, — страдал астмой и не выносил тесной одежды. Редакция получила его в наследство от белоохранительской газеты. Когда белые побежали, он остался. В «Серпе и молоте» он был театральным ре-

цензентом, помогал Акопяну править материал и посвящал молодежь в тайны — по большей части уже непригодные — репортерского ремесла.

В комнатке возле цинкографии сидел Коля Игумнов, красавец с белокурой гривой. Насвистывая арии из оперетт, он рисовал карикатуры и ретушировал фотографии. Они с Севастьяновым переглядывались, оба рослые и молодые. Коля был постарше года на два. Но его баловали, он был полноправным участником редакционной жизни, к нему в комнатку заходили поболтать о новостях, над ним любовно подшучивали, как над милым, очаровательным, забавным ребенком, — а к Севастьянову никто никогда не относился как к очаровательному ребенку...

И разные люди были там, — сотрудники местной жизни звонили по телефону, собирая хронику, милovidные машинистки стучали на машинках, приходили рабкоры и присаживались написать заметку. И казалось Севастьянову, что в редакции не прекращается блестящий разговор: рассказывали новости, анекдоты, всевозможные интересные случаи; смеялись, спорили. Работа здесь была словно бы не обязанностью, а удовольствием, — прекрасным жизненным процессом была здесь работа, естественным как дыхание.

В общем, он полюбил газету навеки, роднее всех запахов стал ему запах типографской краски, самым важным зданием на земном шаре стал дом, в котором помещалась редакция.

По вечерам у себя в отделении, покончив с раздачей газет, он запирался на задвижку и писал фельетоны, подражая Вадиму Железному. Он это делал втайне от всех. Чистая бумага была перед ним и плоская квадратная чернильница, и низко на шнуре электрическая лампочка, прикрытая вместо абажура газетным листом.

Буржуйка стыла, и стыли руки.

Первой коченела левая рука — бездействующая. Он прятал ее в карман, чтобы согреть.

Но это было неудобно, бумага на столе начинала ерзать. Он придерживал ее грудью.

Очень ярко горела лампочка по ночам. Вечером накал был слабый, красный; ночью она сияла, как белая звезда.

Когда начинали коченеть ноги, он вставал, прохаживался по узкой голой комнате, освещенной одинокой сияющей звездой под пожелтелой газетой.

Часов у него не было. Радио тогда не было. По совершенной тишине он обнаруживал, что уже глубокая ночь и нет смысла идти домой в Балобановку.

Это было досадно, потому что дома тепло и на плите оставлен для него суп, или вареная картошка, или каша.

И это было большой удачей, потому что оставалось одно — продолжать излюбленное занятие, ни о чем не думая.

Случалось — то, что он писал, нравилось ему. Нравилось до восторженной спазмы в горле, которую он поспешно и стыдливо заглатывал. Но показать свое писание он никому не решался.

·7

Так великолепно он проработал несколько месяцев, и привык считать себя руководителем отделения, и совсем забыл то, что ему сказали, когда он поступал, — что в отделении будут два работника.

Весна подошла, солнышко грело, и появился Кушля.

Он подждал Севастьянова на улице. Сидел на выступе оконной амбразуры, как на завалинке, грыз семечки и сплевывал шелуху на тротуар. На нем была шинель и буденовка со звездой. Сзади в окне был щит с призывом подписываться на «Серп и молот». Кушлина голова вращалась в плакат, как нарисованная.

При виде Севастьянова, отпирающего висячий замок на двери, Кушля поднялся и смахнул с себя подсолнечную шелуху. Правое ухо было у него изуродованное — без мочки. На длинном измятом худом лице ярко голубели глаза. Шинель от старости приняла коричневый цвет, сукно стало как грубый холст, по подолу висела бахрама.

— Вы ко мне? — спросил Севастьянов.

— Ага, к тебе, — ответил Кушля и вошел вслед за Севастьяновым.

На них пахло погребом, — в отделении было холоднее, чем на улице.

— Ну, дай закурить, — сказал Кушля.

Севастьянов дал папиросу. Кушля сел и осмотрелся.

— Ты тут спишь, нет? — спросил он.

— Иногда сплю.

— На чем же ты спишь?
— На столе сплю.
— Тебе ж небось коротко.
— Ничего.
— Жестко. Я на столе не могу, у меня грудь, понимаешь, простреленная. Мне, понимаешь, надо мягко. Хоть сена подложить, но чтоб мягко... Не топишь, это плохо.

— Иногда топлю.

— Надо топить. У меня испанка была, и она, понимаешь, окончательно мне грудь испортила. Мне в нетопленном помещении — гроб.

— Да угля нет. — сказал Севастьянов, все еще думая, что Кушля зашел по рабкоровским или подписным делам. Разговор Кушли его не удивлял: среди посетителей нередко попадались разговорчивые люди, склонные рассказывать о своих болезнях и ранах.

— Ну, что значит угля нет. А ты достань.

— Вы что хотите? — спросил Севастьянов.

— Беседовать с тобой, брат, хочу, — внушительно ответил Кушля, сдвинув брови. — Хочу, чтобы ты меня ввел, понимаешь, в курс, вот чего я хочу.

— А вы кто?

— Твое начальство. Работать со мной будешь. Рад?

— Вас редакция назначила?

— А то с улицы пришел... Из политотдела округа послали. Дробышев сперва не разобрался. Они с Акопяном меня думали в экспедицию. Ну, потом разобрались, что мне нужно ответственную должность. По воинским моим трудам. Поскольку я воевал за победу революции. Я за советскую власть воевал, понимаешь, когда ты еще пешком под стол ходил! — воскликнул Кушля с внезапным волнением, и его ярко-голубые глаза вдруг заблестели слезами.

Он вскочил, прошелся в конец комнаты и так же враз успокоился.

— Ишь ты, прямо отдельная квартира, — сказал он, приоткрывая заднюю дверь и выглядывая в сени. — Вот тут отгородить, и будет у меня квартира с парадным ходом и с черным, верно?

— Вы разве и жить будете здесь? — спросил Севастьянов.

— А что? Топить только придется. Я тебе говорил — мне в нетопленной хате нельзя.

— Может быть, — сказал Севастьянов, — вам дадут комнату, как демобилизованному?

Кушля засмеялся тихо.

— Да ну, я уж тут. Уж лучше без комнаты.

— Как лучше без комнаты?! — удивился Севастьянов. Он жил тогда еще в Балобановке, собственная комната была для него волшебной, несбыточной мечтой.

Кушля смеялся от души застенчивым симпатичным смехом.

— Не надо комнаты, дорогой товарищ, верно говорю. Пока нет комнаты — еще туда-сюда, дышать можно. А будет комната — сейчас же мне, понимаешь, каюк.

— Как хотите, конечно, — сказал Севастьянов, ничего не поняв.

В тот же вечер пришла женщина в шинели и красной полинялой косынке. Войдя, она подошла к Кушле, зачерпнула из кармана горсть семечек и пересыпала в Кушлину протянутую руку. Они ничего друг другу не сказали. Женщина села на подоконник и сидела, грызя семечки, пока Севастьянов выдавал газету подписчикам, а Кушля наблюдал за выдачей, с командирским видом сидя за севастьяновским столом. Она была губастая, тяжелый серый взгляд исподлобья; стриженные волосы блеклыми прядями свисали из-под косынки на воротник. Когда подписчики ушли, она сказала:

— Как же тут жить, народ до ночи толкется, все равно что на барахолке жить.

Кушля запел задумчиво: «Эх, шарабан мой», а женщина закрыла лицо рукавом шинели и зарыдала грубыми, злыми рыданиями. «А ну их», — подумал Севастьянов и ушел с тоскливым ощущением утраты, несправедливости, какой-то раздражающей чепухи, вторгшейся в его бытие. Он привязался к своему рабочему месту! А теперь там будет распорядиться другой человек. Разве он, Севастьянов, плохо работал, что над ним посадили начальника? В редакции и в экспедиции ему говорили, что делать, и он со всем справлялся. И где же он будет теперь писать, и зачем в маленьком отделении начальник?

Утром он пришел на работу рано — Кушля был уже там. И женщина была, но не вчерашняя, а другая, толстая блондинка в платье с цветочками, с толстыми голыми руками. Толщина не мешала ей двигаться проворно, даже резво. Они с Кушлей вдвоем собирали и устанавли-

вали старую железную кровать. Заржавленная и дребезжащая, кровать эта состояла из гнутых железных полос и прутьев и ни за что не хотела стать на все четыре ножки.

— Вот он пришел, — сказал Кушля при виде Севастьянова и выпустил кровать из рук, — он тебе поможет. Помоги ей, дорогой товарищ. Кровать она мне добыла.

— Все тебе добуду, — сказала женщина, хлопоча возле кровати, — только Ксаньку гони, чтобы я тут не видела Ксаньку!

— Чудачка, — сказал Кушля, — как же я ее отсюда прогоню? Тут учреждение, кто хочет, тот и ходит.

— Ну, так любить ее не смей! — сказала женщина и стукнула кроватью об пол.

— Тихо, тихо! — сказал Кушля. — Делай знай свое дело. Тут не базар. Про фанеру не забудь, отгородиться надо первым долгом, а то некультурно.

— Будет тебе фанера! — крикнула женщина, грохоча железом. — Только не люби Ксаньку!

Она приволокла фанеру и с помощью Севастьянова огородила угол Кушле под жилье. Приволокла матрац и подушку. И примус. И оклеила перегородку газетами. Это была кипучая баба, пышущая жаром, как печка. И печку стали топить благодаря ей, она приносила в ведерке уголь и штыб.

Кушля принимал ее дары с спокойным достоинством. Он вообще все принимал от людей как должное. Он отдал им больше. С этим гордым сознанием ходил он по земле в своей куцей шинели — запанибрата с кем хочешь... Севастьянов привез ему из редакции стол. Над столом повесили телефон, громоздкий желтый ящик того времени, с ручкой как у мясорубки. А из типографии Кушля, удовлетворенный, привез и повесил рядом с телефоном печатную табличку: «Заведующий».

Он сидел под табличкой, курил и благосклонно смотрел, как Севастьянов приходит и уходит, составляет ведомости, притаскивает газету, метет пол, — словом, делает все, что делал раньше. Кушля не делал ничего. Он был убежден, что заведующему ничего не подобает делать, кроме как разговаривать по телефону и иногда наведываться к высшему начальству в редакцию.

Севастьянова устраивало, что Кушля ни во что не вмешивается. Это примиряло его с пришельцем, они бы даже могли стать приятелями, но Севастьянова отталки-

вали от Кушли женщины. Они появлялись, то одна, то другая, и быстрым шепотом спрашивали у Севастьянова: «Ксанька приходила?», «Лизка приходила?» — а если им случалось сталкиваться, они устраивали безобразные сцены. Севастьянов чувствовал брезгливость к их нечистой суете, к этим полным ненависти шепотам, притворным рыданиям, выслеживанью, внезапным взвизгам: «Подлец!» Ужасно не шла голубоглазому, хворому, степенному Кушле такая приткость в этих делах. Особенно непонятен был, по скоропалительности, роман с толстухой Лизой, Кушля познакомился с ней за день до своего поступления в «Серп и молот».

— Полюбила, понимаешь, — сказал он Севастьянову. — А с Ксаней мы с двадцатого года, она у нас была милосердная сестра. Любят обе прямо сказать тебе не могу до чего! Ты теперь понял, почему мне нельзя комнату: они поставят на повестку дня вопрос о браке...

Он понизил голос.

— А сказать, дорогой товарищ, откровенно — я б из них ни на одной не хотел жениться! И не знаю почему, ведь бабы, понимаешь, неплохие, хорошие бабы...

Как-то вечером отворилась дверь и в отделение вошли Зойка маленькая и Зоя большая. Они и раньше заходили проведать Севастьянова на работе и не поняли, почему в этот раз он потемнел, увидя их, и отвечал им неласково. Удивившись, они смиренно присели рядышком на низком подоконнике, где час назад сидела Ксаня. Севастьянов, нахмуренный и отчужденный, перекладывал с места на место газеты и папки — показывал, что занят по горло. Кушля курил и смотрел ярко-голубыми глазами. Севастьянов вдруг рванулся:

— Ну-ка, девчата, на минутку.

Он вывел их на улицу. Они, привыкшие командовать парнями, вышли как овечки. Он сказал им сурово и непреклонно, чтобы они больше не заходили в отделение.

— Почему? — спросили они.

— Ну, есть причины. Это неудобно.

Зои переглянулись длинным взглядом. По его тревоге и ожесточению они угадали, что в этой выходке нет ничего оскорбительного для них, скорей напротив. Зойка маленькая угадала и взглядом сообщила Зое большой. Умнейший человек была Зойка маленькая.

Загадочно улыбаясь, они ушли. Севастьянов вернулся в отделение. Кушля прохаживался между столами, поку-

ривая. Посторонних не было, рабочий день кончился.

— Мировые девчата! — сказал Кушля.

Севастьянов не ответил. Он не хотел разговаривать с Кушлей о Зоях. Он увел их потому, что сюда ходили женщины Кушли. Инстинктивно он пресекал возможность каких бы то ни было сопоставлений между теми женщинами и Зоями; между отношением Кушли к тем женщинам и своим отношением к Зойке маленькой.

— Бывают же!.. — продолжал Кушля в задумчивости. — А вот я ни одной такой, понимаешь, не знал. Они мимо меня всю жизнь отдаля идут, ни к одной я никогда не подошел, и она ко мне не подошла, будто овраг между нами, — отчего это, как ты думаешь?..

8

А вскоре новый захватил его жизненный интерес, могучее увлечение, то самое, которое владело Севастьяновым: Кушля зажегся страстью к журналистике.

Он писал дни напролет. Куда девалась его лень? Сидя в папиросном дыму под табличкой «Заведующий», углубленно серьезный, он покрывал крупными, катящимися по диагонали строчками длинные листы, сотни листов. С неохотой отрывался, когда к нему обращались, говорил отрывисто: «Ну что? Я занят» и норовил как можно скорее покончить с будничной мелочью и вернуться на свой Парнас.

Севастьянов рассказал ему, что Вадим Железный еще недавно звался Мишкой Гордиенко, был имажинистом и биокосмистом и тратил талант на чепуху, а что он станет мировым фельетонистом, никто и вообразить не мог. Кушля слушал не шевелясь, ленточка дыма завивалась вокруг его головы, ярко-голубые глаза смотрели с неистойвой серьезностью.

— А почему нет?.. — спросил он. — Ничего тут нет особенного. Дорогой товарищ, за то мы и боролись, чтобы это могло быть и со мной, и с тобой, а не то что с Железным. Железному-то легко, он гимназию небось кончал...

Кушля родился и вырос в безвестной слободе Маргаритовке. Грамоте обучили его в Красной Армии.

Свои опыты он читал Севастьянову, Акопяну, наборщикам. Отважился показать Вадиму Железному, тот ска-

зал: «Со временем, возможно, что-нибудь получится», но встреч стал избегать. А наборщики, зубоскалы на подбор, им не попадайся на язык, изощрялись в остроумии насчет Кушлиных писаний и, обидно комбинируя его имя и фамилию — Андрей Кушля, прозвали его: Андрюшля. Он продолжал писать и, не выдерживая горечи непризнания, жаловался Севастьянову:

— Кто они? (Про наборщиков.) Рабочая аристократия. У них жены в каракулевых воротниках ходят... При белых они где были? Там же в типографии. Белогвардейскую прессу набирали. (Кушля любил слово «пресса».) А я — потомственный пролетарий. Ну, деревенский. Что ж, что деревенский. Зато белыми шашками кругом порубанный. Я в моей родной рабоче-крестьянской прессе должен быть первый человек, первой Железного!

— Поучиться бы нам с тобой на рабфаке, — сказал Севастьянов, он начинал не на шутку задумываться о своем невежестве...

Зои больше не заходили в отделение. Но когда наступило лето, они часто поджидали Севастьянова на улице, с кем-нибудь из ребят, прохаживаясь, пока Севастьянов заканчивал свои дела. Он выходил, и они шли гулять и провожать друг друга, разговаривая обо всем на свете. Зои жили в Пролетарском районе, на Первой линии, Севастьянов с Семкой — в Центральном. Между этими районами лежала «граница» — полоса степи, делившая город как бы на два ломтя.

9

«Граница»... Шел, бывало, по Коммунистической, мимо каменных домов и чугунных решеток, и прямо с тротуара ступал в бархатную пыль степной дороги, нагретой солнцем. Булыжная мостовая с трамвайными рельсами выбегала в распахнутое поле и пересекала его.

По одну сторону рельсов тянулся пустырь, где в ярмарку ставили карусели, качели, балаганы. За пустырем — мусорные свалки, угольные склады и угольный, прокопченный, рабочий, неприбранный берег реки.

По другую сторону сеяли хлеб. Вдоль хлебного поля, параллельно трамваю, была протоптана дорожка, ее об-

садили молодыми акациями. Колосья кивали проходящим горожанам, дикие травы подступали к дорожке, повилика забрасывала на нее свои длинные побеги с маленькими розово-белыми граммофончиками.

В начале тридцатых годов на «границе» строили театр. Севастьянов приехал тогда из Москвы в командировку и не узнал знакомого места. Поле было изрыто котлованами, завалено строительными материалами, ходили паровозы, выбрасывая кучевые облака, в облаках передвигались краны... Театр построили великолепный, с самой большой и самой усовершенствованной в мире сценой, из самых дорогих материалов, во всех газетах писали о нем...

В войну он был разрушен фашистской бомбой.

Теперь его опять поднимали из праха...

Но все это позже. В юношеские годы Севастьянова на «границе» колосился овес. Тут хорошо было петь хором, никто не мешал. И можно было, устав, посидеть на низенькой травке, пахнувшей пылью и повиликой.

10

— Как вы считаете, — спросила Зойка маленькая, — мы целый день спорили: человек работает, чтобы жить, или же он живет, чтобы работать?

Зоя большая сказала, покусывая колосок:

— Я считаю — он работает, чтоб жить.

— И я! — сказал Ленька Эгерштром, который по-прежнему крутился перед большой Зоей и во всем ей поддакивал.

— Так какой же ты после этого комсомолец! — тихо сказала Зойка маленькая и немножко задохнулась от негодования. — Какой же ты комсомолец, если ты так считаешь!

Ленька стал оправдываться:

— Ну хорошо. Если бы мои братья не работали в посадочной мастерской, на что бы мы жили? Нам не на что было бы жить. А ты думаешь, это очень приятная работа? Как же! У них вся одежда пахнет кожей, и волосы, и руки, никаким мылом не отшибешь, ни одеколоном, ничем. А они молодые парни. А девочкам это не нравится. Так по-твоему — кто-то специально должен жить, чтобы работать на посадке?!

31

— Это частный случай! — возразил Семка Городницкий.

— Ну конечно! — сказала Зойка маленькая. — Частный и ничтожный.

Спирька Савчук сказал, что приятная работа или неприятная — настоящего коммуниста это не должно интересовать. Это интеллигенция (Спирька произносил: интеллихэнция) выдумывает насчет приятности и неприятности. Кто не трудится, тот не ест. И все.

Желтые желваки ходили по Спирькиным скулам, желтый штопор чуба торчал из-под козырька кепки, папироса, свисающая с губы, придавала Спирьке утомленный, разочарованный вид. В свое время, после изгнания белых, он был вожаком группы ребят, потребовавших, чтобы интеллигентов не пускали в комсомол: у них пускай будет своя организация, говорили эти ребята, а комсомол — только для рабочих. К интеллигентам они причисляли всех учащихся, без различия классов. «Молодежная трудовая оппозиция» — так звала себя Спирькина группа — митинговала и шумела по всему городу, распаляя страсти, пока губком партии не положил конец этой заварушке. «Молодежной трудовой оппозиции» предложили прекратить раскольничью деятельность, и Спирька, лишившись трибуны, заскучал и закапризничал. Между приступами малярии — его трепала малярия — он то эпатировал нэпманов на улице, то закатывался с неподходящими ребятами в пивнушку, то вдруг окружал большую Зою тяжелым, настойчивым, каким-то неприязненным вниманием...

— Если ты не паразит, — закончил Спирька, — работай, что тебе советская власть велела, и все. На то существуешь.

— Несколько примитивно, — сказал Семка, — но тем не менее соответствует истине.

Зойка маленькая спросила:

— Если цель жизни не в том, чтобы приносить пользу людям, то в чем же?..

— Смотря каким людям, — сказал Спирька Савчук.

— Рабочим и трудовому крестьянству, — заботливо уточнил Семка.

— ...Неужели в том, — продолжала Зойка, — чтобы жить для собственного удовольствия? Трудиться для продления собственной жизни?.. — Она пожала плечами с презрением.

Севастьянов сказал: все-таки приятная работа — не выдумка, есть много разных хороших работ, самая же лучшая — газетная; и не только печататься в газете, но и собирать заметки, и принимать подписку, и что угодно. Если бы даже за это не платили никакой зарплаты, он все равно бы это делал и ни на что не променял.

— А на жизнь где брал бы? — спросили они.

На жизнь подрабатывал бы. Например, опять бы пристроился разгружать баржи.

Зойка сказала: мало ли что. Вопрос поставлен принципиально. Жить ради наслаждения способен только мешанин. Она нервничала неспроста, они с Зоей большой, видимо, крепко поспорили на эту тему. Зои стали часто спорить, и маленькая, из воспитательных соображений, переносила вопрос на обсуждение коллектива. А ребят, бывало, хлебом не корми, только дай порассуждать о таких вещах.

Они чувствовали потребность определить — как им вести себя в новой жизни. Еще многое в этом смысле было туманно, они же хотели ясности во всем.

Однажды обсуждали: этично ли хорошо одеваться? Ленку Эгерштрома старшие братья устроили к себе в посадочную мастерскую, и он оделся шикарно — завел модные брючки «бутылочки» из синего шевиота, модные туфли «шучки» и рубашку «апаш». И вот по поводу его роскошного вида зашел разговор: правильно ли, что комсомолец ходит в туфлях из чистого шевро и брюках, за шитье которых заплачена частнику-портному громадная сумма? Допустимо ли это для человека, носящего значок Коминтерна молодежи, когда во всем мире, кроме Советской республики, массы еще угнетены и обездолены и, скажем, в Германии на окраинах городов люди ютятся в жилищах, сделанных из ящиков, потому что нечем платить за квартиру, и дети питаются картофельными очистками?

Зойка маленькая была кулачком по ладони и говорила страстно:

— Недопустимо, недопустимо!

— Ребята, да подождите! — кричал Ленка Эгерштром. — Ребята, да постойте! У нас на посадке все так одеваются, что я, виноват? Если хотите знать, я еще столько не заработал, мне братья дали денег и сказали: «Оденься хорошо, а то ты как белая ворона». У нас на посадке здорово платят, — что я, виноват?

Но о Зойке маленькой было известно, что ее отец, железнодорожный проводник, зарабатывает еще лучше, чем братья Леньки Эгерштрома, и Зойка — единственная дочь, и отец с матерью хотели бы одеть ее как куклу, а она не позволяет. Разумеется, ее слово весило больше, чем Ленькино.

— Значит, — спросила вдруг Зоя большая, — и шелковые чулки нельзя носить?

— Конечно! — сказала Зойка маленькая.

— И лакированные туфли нельзя?

— Ты же слышала!

— И замшевые перчатки? И белье с кружевами? — спрашивала большая Зоя.

Все посмотрели на нее. Она шла в своих парусиновых туфлях, надетых на босу ногу, в стираном-перестираном платье, у нее не было ни шелковых чулок, ни замшевых перчаток, ничего, кроме старого платья и грубых туфель. Неужели, подумал Севастьянов, и она, как Нелька, мечтает о барахле, выставленном в магазинах, но ведь Нелька — отсталая девчонка из Балобановки, а Зоя большая дружит с передовыми ребятами и читала «Джимми Хиггинса».

— Зоенька, — сказал Семка Городницкий, — не надо, чтобы мы думали о тебе хуже, чем ты есть. На черта тебе вся эта дрянь, ты прекрасна и так.

11

С обеими Зоями Севастьянов познакомился еще в двадцатом году.

В том году болели тремя тифами: сыпным, брюшным и возвратным. Умирили больше от сыпного. На плакатах была нарисована вошь. Магазины стояли заколоченные. Бандитов развелось гибель, по ночам в разных концах города бахали выстрелы. И было множество студий, где читали стихи, рисовали картины и танцевали босиком по методу Айседоры Дункан.

Югай сказал:

— Возьми какого-нибудь хлопца или дивчину, кто у нас разбирается в стихах?

— Семка Городницкий разбирается.

— Вот. Возьми Городницкого и сходите на Лермонтовскую, — Югай назвал номер, — там какой-то по-

этический цех открыли, надо посмотреть, что за цех.

Лермонтовская улица была тихая, с бульваром, с четырьмя рядами сероватых от пыли деревьев. Поэтический цех помещался в бывшем буржуйском особняке, одноэтажном, из ноздреватого серого камня. Особняк стоял в глубине цветника. Клумбы заросли бурьяном, на дорожках валялись окурки, но высокие прекрасные розы цвели над этим запустеньем — чья-то рука берегла их. В распахнутых окнах мелькали молодые лица.

Севастьянов и Семка вошли. Их не спросили — кто такие и зачем: и внимания на них не обратили. Они прошли по дому. В первой комнате были некрашенные скамейки без спинок да столик, во второй — рояль и перед ним круглый табурет, и больше ничего нигде, голо. Окна настежь. Сквозняк, запах роз из цветника. Молодежь вольно бродила по прохваченным сквозняками светлым гулким комнатам, сидела на мраморных подоконниках, кто-то подбирал что-то на рояле, встал — сейчас же другой подсел, стал подбирать свое. Каждая нота ясно звучала по всему дому. Вдруг все соскочили с подоконников и заспешили в ту комнату, где скамейки.

Там у столика стояла Тамара Меджидова и читала стихотворение. В нем говорилось, что она, Тамара, великая грешница; она сама в ужасе от своих грехов. Читала она гортанным страстным голосом. На ней было черное платье, черные волосы перехвачены бархоткой. Слушатели поклопали. Их было человек сорок. После Тамары появился Аскольд Свешников, весь в белом, лицо напудрено, ненормально блестящие подведенные глаза; губы накрашены были сердечком. Он сказал высокомерно-сонно:

— Пирамиды. Поэма. Рыжий египтянин смотрит на спящего львенка.

Сказал, прошагал к двери длинными ногами в белых штанах и ушел — совсем ушел из комнаты. Севастьянов подумал, что он застеснялся и не хочет читать дальше, но оказалось — это вся поэма и есть. Аудитория зааплодировала. Один голос крикнул: «Хулиганство!» К столику выскочил Мишка Гордиенко — он был тогда легкий и тонкий, в студенческой тужурке, худые руки торчали из обтрепанных рукавов, — и закричал:

— В чем дело! Почему хулиганство! Брюсов написал: «О, закрой свои бледные ноги» — и не нашел нужным прибавить ни слова! Аскольд Свешников тоже не считает

нужным разжигать свою поэму! Это его право! Не нравится — читайте Северянина!

Аудитория притихла. Гордиенко выждал паузу, упершись тощими кулаками в столик, острые плечи поднялись до ушей.

— Чрезвычайное сообщение, — сказал он деловито. — Два события свершились минувшей ночью. Таинство смерти сочеталось с таинством рождения. Умер имажинист Михаил Гордиенко. Родился биокосмист Михаил Гордиенко. Родившись, он написал свое кредо, популярное изложение своих чаяний, назовем это декларацией, назовем это хартией! Оглашаю хартию биокосмизма. Кто не умеет слушать, прошу уйти.

Он стал читать по тетрадке.

— Земля, — читал он, — точно коза на привязи у пастуха-солнца, извечно каруселит свою орбиту. Пора иной путь предписать земле. Да и в пути других планет уже время вмешаться. Мы не можем оставаться безучастными зрителями космической жизни.

Ни один человек не удивлялся. Космос вообще был в моде.

— Мы беременны новыми словами, — читал Гордиенко, — слово пульсирует и дышит, улыбается и хохочет...

Семка Городницкий, гордый поручением Югая, слушал добросовестно. Севастьянов, положившись на Семку, рассматривал собрание. Тут он и увидел Зою большую и Зойку маленькую.

Обнявшись, они сидели на задней скамье, в уголку, в стороне от всех. Их чистые глаза были устремлены на Гордиенку серьезно и доверчиво. Глубокое внимание было на лицах. Видно было, что эти девочки забрели сюда в поисках чего-то очень для них важного. И они так старательно-опрятно были одеты, так мягко светились их волосы, ничего в них не было вызывающего и разухабистого, что всегда отталкивало Севастьянова. Они были тихи и прелестны.

Севастьянов как повернул к ним голову, так и сидел. Они и не замечали, что на них смотрят. Вот Зойка маленькая подняла глаза на Зою большую, а Зоя большая опустила свои темные ресницы к Зойке маленькой; они переглянулись, понимающе улыбнувшись. «Не сестры, — думал Севастьянов, — непохожи... Подруги. Дружны — водой не разольешь. Беленькая советуется с черненькой. Черненькая оберегает беленькую...» С первого взгляда,

действительно, Зойка маленькая казалась существом воздушным и робким, находящимся под крылом большой Зои.

Вдруг кусты за окном прошумели бурно, и на подоконник вскочил из цветника молодой моряк. Секунду он стоял на подоконнике во весь рост, словно давая полюбоваться своей ладной фигурой и моряцкой формой, потом спрыгнул на пол, прошел в соседнюю комнату, и оттуда раздалась прекрасная громкая музыка. Все поднялись, заговорили, застучали скамьями, двинулись за моряком. Только Гордиенко продолжал читать, выкрикивая слова; но даже Семка Городницкий его бросил и ушел с Севастьяновым к роялю. Обступив рояль, молодежь смотрела, как играет моряк, как трудятся над клавишами его загорелые руки, схваченные в запястьях обшлагами блузы. Близко от Севастьянова, прижавшись друг к другу, стояли Зоя большая и Зойка маленькая, все трое они отражались в лакированной поднятой крышке рояля. Маленькая спросила тихонько, не обращаясь ни к кому:

— Интересно — что это он такое играет?

Севастьянов взглянул на Семку. Тот стоял поглощенный музыкой, его горбоносое лицо было закинута, губы шевелились. Севастьянов толкнул его и спросил:

— Что он играет?

— Вагнер, — очнувшись, ответил Семка. — «Тангейзер».

— Вагнер, «Тангейзер», — дружески объяснил Севастьянов Зойке маленькой.

— Вагнер, «Тангейзер», — прошептала Зойка, глядя перед собой светло-зелеными прозрачными глазами.

Несколько лет спустя они с Севастьяновым признались, что в первый раз слышали тогда и о «Тангейзере» и о Вагнере. Но в тот вечер они это скрыли и почувствовали друг к другу уважение.

А потом как-то само получилось, что они ушли из Поэтического цеха вчетвером и до полуночи гуляли, разговаривая, по Первой линии. Люди солидные боялись поздно ходить по улицам, тем более окраинным, но эти четверо были защищены от грабежа своей бедностью. Отчасти потому, что такова была сложившаяся в гражданскую войну привычка, отчасти потому, что тротуар был слишком узок и щербат для их привольной ночной прогулки, — они ходили по середине улицы, по булыжной

мостовой: в центре, обнявшись, две Зои, по сторонам — Городницкий и Севастьянов. Ни фонаря, ни огня в окошке; только звезды освещали Первую линию. Пепельно отсвечивала, горбясь во мраке, широкая мостовая. Белесыми ручейками стекал в ее впадинах облетевший с акаций цвет. Кроны акаций вдоль улицы были темнее мрака. За ними — безмолвные, каждый себе на уме, запершись наглухо, спали кирпичные домики. Последний прохожий прошел, торопясь и размахивая руками, звук шагов его замер. А четверо ходили по пустой улице, как по собственной квартире, и разговаривали легкими головами.

Зоям нравилось в Поэтическом цехе. Там интересно. Там все талантливые. Михаил Гордиенко талантливый. Тамара Меджидова очень талантливая. Аскольд Свешников — гениальный.

— Это у которого поэма про львов, — пояснила большая Зоя.

— Разве это про львов? — спросил Севастьянов.

— Это про Египет, — сказала Зойка маленькая.

— Как у него странно глаза блестят, — сказал Севастьянов.

— От кокаина, — сказала Зоя большая. — Он нюхает кокаин.

Она сказала это так же уважительно, как говорила: «Он гениальный».

— А как он сказал, — спросил Севастьянов, перескакивая на Гордиенку, — он был — кто? А стал — кто?..

— Биокосмист, — ответила Зойка маленькая. — Это новое, правда, Зоя? Биокосмистов еще не было, были имажинисты и ничевоки.

— А чего хотят ничевоки? — спросил Севастьянов.

Зоя большая объяснила набожно:

— Они говорят: ничего не пишите; ничего не читайте; ничего не печатайте.

— А вы читали Блока? — спросила Зойка маленькая. — «Балаганчик» читали?

— Она от любви к нему хотела утопиться, — сказала большая Зоя.

— Кто?

— Тамара Меджидова.

— От любви к Блоку? — спросил Семка.

— К Аскольду Свешникову. У нее об этом есть стихи.

Зойка маленькая процитировала мечтательно-застенчиво, чуть слышно:-

— «Я к тебе прихожу через бездны греха, я несу мое сердце на простертых ладонях».

— Тамара Меджидова — необыкновенная, правда? — спросила большая Зоя.

Их уважение к людям, пишущим стихи и хартии, было огромно. Оно было так огромно, что им не пришлось бы в голову влюбиться в Гордиенку или Свешникова. Они не претендовали на внимание титанов и тем более на их чувства. Но любовь между титанами будоражила их. Тамара Меджидова, шествующая через бездны греха к Аскольду Свешникову со своим любвеобильным сердцем на простертых ладонях, была откровением, озарением для этих девочек с Первой линии.

Семка Городницкий немедленно принялся их переводить. Он спросил, как они относятся к Маяковскому, и стал читать из «Человека». «Хотите, по облаку телом развалюсь и буду всех созерцать!» — гремел он грозным басом перед крепко зажмуренными, затаившимися позади деревьев домиками. И тут вышел горбун и разогнал их.

Горбун вышел из калитки — щелкнула щеколда — и стоял в темной сени акаций, белея рубахой и светя огоньком папиросы. Белая рубаха так резко выделяла горб, что видно было издали: горбун стоит. И хотя Зои молчали и продолжали идти рядом, но Севастьянов почувствовал, что обе они, едва только щелкнула щеколда, перестали слышать Семку, их внимание устремилось на фигуру, стоящую в тени.

Горбун позвал негромко скрипучим голосом: «Зоя!» — и Зоя большая молча отделилась от компании и пошла к нему. Он пропустил ее в калитку, вошел следом, коротенький и уродливый — за высокой, тонкой, с длинной гибкой шеей... Громыкнул болт. Трое остановились. Зойка маленькая сказала:

— До свиданья!

Подав Севастьянову и Семке теплую крепенькую руку, она взбежала на крыльцо. Оно было рядом с калиткой, куда увел горбун большую Зою. Кирпичный домик, три окошка на улицу. Жалюзи на окошках. На двери звонок — белая пуговка. Дом Зойки маленькой.

У них там полы были светло-желтые и такие вымытые и блестящие, словно на них всегда светило солнце. Когда являлись ребята, мать и бабушка Зойки маленькой прямо-таки мучились, уходили подальше, чтобы не видеть, как ребята, оставляя без внимания половики, ступают ножищами по этому сияющему полу. Сделать замечание мать и бабушка не смели, боялись огорчить Зойку.

Они обожали ее. Особенно отец, который постоянно уезжал и, уезжая, приказывал матери и бабушке, чтобы они берегли Зойку и не расстраивали ее своими пустяками.

Все в домике было для Зойки: чистота, и солнце, и вымытые цветущие растения в горшках и кадках, и пианино, и аквариум с рыбками, и шкафчик с книгами.

Пианино отец купил (выменял на сало и муку), чтобы Зойка научилась играть, чтоб она была настоящей барышней. Зойка отказалась учиться играть, но пианино стояло, с него стирали пыль, его накрывали вышитыми дорожками, его медные педали и подсвечники начищали мелом — Зойка могла передумать и захотеть учиться музыке, Зойкины дети могли захотеть учиться музыке, наконец — это было ценное имущество, которое Зойка могла продать когда-нибудь впоследствии в черный день.

Аквариум отец завел потому, что когда Зойка была совсем крошечной и дом их был только заложен (строился он несколько лет), — она у знакомых увидела банку с золотыми рыбками и в восторге закричала: «Папа, рыбки!» — и это занозило отцовскую душу. С тех пор, строя дом, увертываясь от мобилизации (тут началась мировая война), разъезжая проводником в загаженных, битком набитых поездах, выторговывая на сытых степных станциях мед и сало за юбки и пиджаки, купленные в городе на толкучке, — он помнил тот счастливый Зойкин крик. Он купил настоящий богатый аквариум, с гротом, с нежными диковинными водорослями, и населил его диковинными, дорогими рыбками. Он не подумал, что они уже не нужны Зойке, что она выросла. Она удивилась, она к ним и не подходила, — за аквариумом ухаживали не покладая рук бабушка и мать.

Из всех приобретений отца единственной ценностью был для Зойки книжный шкаф. Он стоял в ее комнате

(никто в семье, кроме Зойки, книг не читал). Полки шкафа были как пласты пород в разрезе земной коры, они рисовали историю Зойкиного развития.

Внизу были свалены небрежно книги детства: «Маленький лорд Фаунтлерой», «Голубая цапля», сочинения Лукашевич и Желиховской и в подавляющем количестве — Чарская, вдребезги зачитанная подружками, распавшаяся на золотообрезные листы и потускневшие корки роскошных когда-то переплетов, — Чарскую в золоте и серебре отец дарил на именины.

На средних полках стояли Пушкин и Гоголь с картинками, небесно-голубой Тургенев, «Обрыв», Надсон, хрестоматии. Их не трогали, они были погребены под разрозненными номерами альманаха «Шиповник».

На верхней полке находились Зойкины сокровища: Блок, Ахматова, излюбленный Бальмонт в мягких белых шелковистых обложках... То были святые, царства. Но как легко рушились царства! Не прошло и месяца после знакомства Зой с Семкой Городницким, как на заветной полке, раздвинув и притиснув изящные книжечки, стала некрасивая, переплетенная в грязно-розовую бумажку книга «Все сочиненное Владимиром Маяковским», а Бальмонта Зойка маленькая отправила к Чарской. Семка Городницкий был у Зойки в почете, она уважала его за начитанность и не обижалась, когда он, являясь, возглашал:

— Я к тебе прихожу через бездны греха!

В последующие годы шкафчик был забит брошюрами о Парижской коммуне, Девятьсот пятом годе, политэкономии, задачах комсомола. Так жила Зойка, бросаясь от стихов к политическим статьям и принципиальным спорам, пока ее отец возил со станции кошелки с яйцами, а мать и бабушка чистили аквариум и пекли пироги.

У нее были зеленоватые, как крыжовник, глаза и детская шея, золотистая от загара. И волосы золотистые, коротко обрезанные; они завивались по-мальчишески вверх, открывая шею сзади и округлый лоб. Через щеки ее и переносицу лежала легкой тенью полоска веснушек, от них еще милее был приподнятый детский нос.

В летние вечера, перед заходом солнца, жители Первой линии выходили посидеть на улице, на крылечках, сложенных из больших серых камней. Сидели, разговаривали, лускали семечки старики и старухи, молодые женщины и девчонки с длинными голыми ногами, расче-

санными в кровь от комариных укусов. Неизвестно, чего больше было насыпано на улице — сухого цвета акаций или подсолнечной шелухи. Девочки играли в кремушки, мальчики в айданы. Соседи подходили к соседям — узнать новость, рассказать новость. Севастьянов шел к Зойке маленькой — на крылечках умолкали, наблюдая его, слышалось только звонкое щелканье разгрызаемых семечек, он шел под щелканье семечек, как в романах идут к любимой под соловьиное щелканье.

Она не сидела на крыльце. Сидела, должно быть, пока не прочла «Балаганчик» и «Незнакомку» и прочее тому подобное; пока была девчонкой в коротком платье, с голыми выше колен ногами, и играла в кремушки. В пятнадцать лет ее не занимали ни кремушки, ни уличные новости. Ее мать и бабушка сидели на крыльце, иногда и отец, когда не был в поездке. Севастьянов здоровался и спрашивал:

— Зойка дома?

И при этом знал, что она дома, что она там, за занавесками, уже слышала его шаги, — сейчас раздвинет занавески и станет, золотистая, между распахнутыми створками зеленых жалюзи, улыбаясь ему своей серьезной улыбкой.

13

А кто такой был моряк, что играл из «Тангейзера»? Зою ничего о нем не знали, кроме того, что он приходил через окно, играл что-нибудь громкое и сейчас же уходил. Почему ему нравилось входить через окно? Почему он приходил играть в Поэтический цех? Если он был моряк, то что делал в этом городе, куда приплывали по реке только баркасы с арбузами и рыбой да старые баржи, ведомые маленькими парходиками? И если он был моряк (а он был моряк; он носил свою матросскую одежду как моряк; у него был загар моряка и походка моряка), — если он был моряк, то где и когда научился так играть?.. Все это осталось неизвестным, потому что Поэтический цех вскоре закрыли.

Закрывал его Югай. С ним пришла Женя Смирнова, агитпроп райкома, плотная и румяная, в выгоревшей кофеворотке и красной косынке, через плечо портупея. Цвет Поэтического цеха был в сборе — Гордиенко, Свешников,

Тамара Меджидова... Стоял душный вечер, все были в рубашках с расстегнутым воротом, в легких платьях, один Югай в кожанке. Он прошел к столику, перед ним расступались, говор затихал, пока он шел. Он сказал:

— Именем губернского комитета комсомола. — Стало совсем тихо. — Мелкобуржуазный клуб, так называемый Поэтический цех, организованный группой интеллигентов без учета революционных интересов трудовой молодежи, объявляю закрытым. — Собрание заговорило... — Тихо! — сказал Югай, Женя Смирнова придвинулась к нему, положила руку на кобуру. — Хватит с нас опиума всевозможных видов! Руководителям бывшего Поэтического цеха предлагаю покинуть здание.

И они все, по одному, пошли к дверям — Гордиенко, Тамара и — последним — Аскольд Свешников с сонным выражением напудренного лица, с пренебрежительно опущенной нижней губой, сквозь пудру на его носу ртутными каплями проступал пот.

— Остальным остаться, — сказал Югай.

Но еще человек десять ушло демонстративно вслед за Свешниковым. А с оставшимися Женя Смирнова звонким голосом повела беседу о ликвидации неграмотности — важнейшей культурной задаче победившего пролетариата.

В двадцатом году вдоль Коммунистической тянулись два ряда пустых грязных витрин — магазины не торговали. Изгнанные из особняка поэты обосновались в витрине. Они там поставили свой столик, за столиком сидел дежурный. Чаще других дежурил Михаил Гордиенко. Подняв острые плечи, он внимательно писал, иногда взглядывая на прохожих; а прохожие смотрели на него — как он за большим стеклом пишет, сморкается и разговаривает с проходящими поэтами. Слева от Гордиенки висела хартия биокосмистов, справа — декларация ничевоков, то и другое было написано от руки, неважным почерком, на длинных кусках обоев. «Окно поэтов» — так это называлось. Гордиенко сидел там до холодов, потом ушел. И все ушли, и за морозными узорами окна, меж двух длинных манускриптов, одиноко коченел поэтический столик... Когда Севастьянов опять встретил Гордиенку, тот был уже Вадимом Железным, не шумел, стал шире в плечах... Тамару Меджидову Севастьянов позже, году в двадцать четвертом, видел в обществе «Друг детей». Она была в каштановой телячьей

куртке с белыми подпалинами и в пыжиковой шапке, у которой на ушах болтались ботиночные тесемочки. Грешная Тамара была в этом виде просто добродушной теткой, ошалелой от кучи забот. Портфель ее был набит чужими рукописями: общество «Друг детей» издавало приключенческие романы; выручка шла на борьбу с детской беспризорностью; Тамара состояла при этих издательских делах... Что касается Аскольда Свешникова, — этот уехал за границу, у него там оказались родственники.

14

Зоя большая жила по соседству с Зойкой маленькой. Маленькая стучала условным стуком в деревянный забор, большая приходила.

С того двора кричали: «Зоя!» Иногда это был женский голос, иногда голос горбуна. Зоя большая вставала и уходила, маленькая провожала ее нахмуренным, озабоченным взглядом.

Во дворе у Зойки маленькой росли черешни. Большие блестящие ягоды, красные и черные, казались сделанными из дерева и покрытыми лаком. Их разрешалось срывать и есть сколько угодно. Самые красивые, по две на одной веточке, Зоя большая любила надевать на уши. Она себя вечно украшала — то наденет ожерелье из мелких ракушек, нанизанных на нитку, то приколет цветок на грудь. И Зойке маленькой она надевала серьги из черешен. Очень они обе были хороши, когда разговаривали и смеялись и яркие блестящие ягоды качались у их щек.

Как жила большая Зоя? Она никогда о себе не рассказывала, и Зойка маленькая на вопросы о ней отвечала неохотно, хмурясь. Зоя большая живет с матерью и братом, — кроме этого, собственно, ничего не сообщалось.

Проходя мимо ее ворот, Севастьянов видел в открытую калитку нищее подворье, уставленное лачугами, увешанное тряпьем, еще более неприглядное, чем открытые зною и пыльным ветрам дворы Балобановки. Тут постоянно плакали дети и кричали, переругиваясь, женские голоса. Из этого двора, залитого мыльными помоями, выходила, улыбаясь, большая Зоя; привычным движением наклоняла голову в низенькой калитке; не торопи-

лась закрыть калитку, божественно уверенная, что безобразие, в котором ей приходится существовать, не сливается с нею, не может никому помешать ею любоваться. Севастьянов заметил, что у Зойки маленькой ее прикармливают. Делалось это, конечно, ради Зойки маленькой — той бы кусок не пошел в горло, если бы она не могла разделить его с Зоей большой.

В какую-то осень Севастьянов встретил большую Зою на бирже труда. Там была лестница со сбитыми, заплеванными ступенями из серого мрамора и во всю ширину площадки — окно, его стекла, несколько лет не мытые, почернели и стали непрозрачными. У черного окна, в сумраке, стояла большая Зоя. Севастьянов угадал ее издали, снизу, по очертаниям узких бедер, высокой шеи, непокрытой стриженной кудрявой головы. Она стояла в своем старом пальтишке, из которого выросла, и крутила в пальцах носовой платок. Севастьянов остановился, она подала озябшую руку в коротком рукаве.

— Отмечаться? — спросил он. — Пошли вместе.

— Я жду брата, — ответила она.

Она уронила платок и сказала:

— Если дама что-нибудь уронила, кавалер обязан поднять.

— Вот, действительно, — сказал он, — я похож на кавалера, а ты на даму!

Но все же нагнулся и поднял ее платок, мокрый холодный комочек. Люди шли мимо них, кто вниз, кто вверх. Она сказала, вдруг забеспокоившись:

— Ну, иди. Вот он.

Ее брат спускался по лестнице. Севастьянов сказал: «Всего» и пошел наверх. Непонятную, непобедимую неприязнь испытывал он к ее брату. И горбун при встречах пристально и недобро взглядывал Севастьянову в глаза своими быстрыми темными глазами и здоровался как-то так, что это у него — несмотря на малый рост — получалось свысока.

Он спускался по лестнице самоуверенной походкой, развязно выбрасывая короткие ноги. С ним шел Щипакин, они разговаривали как знакомые. Севастьянов подумал: «Ого, какое у горбуна знакомство», — для безработного Севастьянова Щипакин был большим человеком.

Сейчас и не вспомнить, как называлась его должность, как-то длинно, и было там слово «уполномоченный»... Щипакин в союзе сотворгслужащих занимался

трудовым устройством молодежи, он мог устроить на работу, поэтому был одной из популярных фигур на бирже труда. У него были тяжелые круглые глаза навывкате, нос в форме башмака и очень большое расстояние от носа до верхней губы, еще удлиненное глубокой вертикальной ложбинкой. Совсем молодой, он держался важно, с сознанием своей видной роли. Если кто-нибудь из безработных обращался к нему недостаточно, по его мнению, уважительно, — он обижался, обрывал, хамил. С горбуном он говорил благосклонно, Севастьянов это отметил, разминувшись с ними на лестнице.

Он отметил это вскользь, их отношения не так уж его интересовали... Шагая через ступеньки, он поднялся на четвертый этаж. В огромном холодном зале было, как всегда, по-вокзальному людно, хвосты очередей перед фанерными окошечками, гул голосов, странно усиленный и омузыкаленный акустикой зала. На полу вдоль стен, подпирая их спинами, сидели люди, курили. Серый дым висел в воздухе, чтобы проветрить — открыли одно из окон на улицу. И там было дымно-серо, шел сильный дождь. Брызги залетали в зал. Люди кашляли, поднимали воротники. Севастьянов только спросил: «Кто последний?» и стал в очередь к окошку регистратуры, как вдруг раздался женский крик, сидевшие повскакивали, все зашумело.

— Кто? Кто? — спрашивали кругом. У открытого окна вмиг сбилась толпа, лезли на подоконник; другая толпа хлынула на лестницу.

Севастьянов в числе первых очутился возле тела, расprostертого на асфальте. Помочь ничем было нельзя. Дождь барабанил по луже крови, размывая ее. Одежда самоубийцы успела промокнуть. Нищета этой одежды — нищета, на живых настолько привычная, что ее уж не замечали ни у себя, ни у других, — на мертвой кинулась всем в глаза. Солдатские «танки» без подметок, заскорузлые, зашнурованные веревкой; жакетик — одно название — заплатка на заплатке; весь в дырах кровавый платок... Неправдоподобно темно-синяя лежала у ног сбежавшихся людей небольшая рука, ладонью вверх, пальцы сложены чашечкой, в чашечку, брызгая, набиралась дождевая вода... Толпа густела. Сквозь серую водяную завесу Севастьянов увидел — среди чужих лиц — лицо большой Зои, темный взгляд ее, остановившийся на самоубийце.

Загудел автомобиль, люди расступились, запахло сквозь дождь аптекой, появились белые халаты, носилки, милиционер, мелькнул щипакинский нос — башмаком... Севастьянов видел, как горбун уводил большую Зою, а она спотыкалась и оглядывалась...

Вечером Севастьянов рассказал о происшествии Зойке маленькой. Зойка выслушала молча, сдвинув брови, потом спросила:

— Где же Зоя?

Зоя большая, оказывается, не забегала со вчерашнего дня, ее с утра не было дома. Так она и не пришла, Севастьянов и Зойка маленькая сидели вдвоем. Тихий тянулся вечер, Зойка была не в духе, мерно шумело по крыше, разговор не клеился. Севастьянов у шкафа листал книжки и думал, что ему еще шагать в Балобановку... Зойка сказала, возвращаясь к разговору о самоубийстве:

— Все-таки это слабодушие.

Севастьянов вспомнил руку на асфальте и сказал:

— Кто его знает. Трудно без работы... Очень ей, значит, стало невмоготу.

Потом он добавил:

— Вот, будет мировая революция — все наладится.

— Да! Да! — сказала Зойка.

Горбун вскоре после того поступил на работу, завхозом в клуб совторгслужащих.

15

Дождь переходит в снег, снег валит крупно и густо, как на рождественской открытке, непрерывно падающей сверкающей сеткой заслоняет фонари, ложится толстой гусеницей на резко освещенную цветастую вывеску «Нерыдая».

«Яблочко» ухает из глубин «Нерыдая».

Две женщины под фонарем, пряча лица в воротники, выбивают каблуками дробь.

— Хорошенький, погреться не мешает, — хриплой скороговоркой говорит одна, когда Севастьянов проходит мимо. — Мы уважаем шенпанское, но можем простую водку, если у вас финансы поют романсы.

Другая перебивает:

— Сказилась, какие у него финансы!

— Да на водку много ли надо! — простуженно кричит первая вслед Севастьянову. — Хорошенький, пошли в «Нерыдай»!

Это он шел из редакции с совещания.

Он тогда только что поступил в «Серп и молот».

У него не было на трамвай, а постоянный билет ему еще не выдали, а попросить у кого-нибудь денег в долг он постеснялся.

...На совещании были сотрудники и рабкоры. Из типографии — из красного уголка — в кабинет Дробышева снесли скамейки. Дробышев делал доклад о задачах большевистской печати. Вдруг погас свет. Один из рабкоров поднялся и, светя себе зажигалкой, пошел смотреть пробки. Оказалось — авария на станции. Дробышев говорил в темноте. Молчаливо попыхивали папиросные огоньки. Потом внесли керосиновую лампу. К концу доклада электричество опять зажглось.

...Вадим Железный написал отчет об этом совещании. Он там написал: «Рабкоры вошли и поклали шапки на стол».

Акопян выправил: «положили шапки на стол».

— Не подсовывайте мне ваши вываренные в супе слова, — сказал Железный.

— «Поклали» — неграмотно, — сказал Акопян.

— «Поклали шапки» — это экспрессия, масса, мускул, акт! — сказал Железный. — Вы полагаете — в слове все исчерпывается его грамотностью?

— В трамваях висит объявление, — сказал Акопян со своим мягким акцентом, — напечатанное, кстати, у нас в типографии: «Детей становить на скамейку ногами воспрещается». Может быть, вам нравится слово «становить».

— А конечно, потому что в нем образ! — воскликнул Железный. — Ставят клизму, как вы не понимаете, черт вас возьми! Слово «ставить» тут немыслимо даже ритмически. «Детей ставить на скамейку ногами»... Слышите?! Фраза кособочится, у нее заплетается язык! Это объявление набирал лингвист, умница! И разве не восхитительно «становить ногами», как будто можно становить и головой, разве в этом не эпоха?

— Рабочая газета ищет эпоху в других ее проявлениях, — сказал Акопян спокойным голосом, но очень категорически.

Севастьянов ходил по вьюжным улицам, ходил по большим заводам и маленьким мастерским, набирая

полные ботинки снега, и думал: что за штука такая — слово, в Поэтическом цехе сражались из-за слов и в редакции сражаются, и как может быть в слове эпоха, и как это фраза кособочится, и кто же прав — заносчивый Железный или добрый, спокойный Акопян.

Он уважал Акопяна, но то, что говорил Железный, ему тоже очень нравилось.

Ему казалось, что и он, Севастьянов, ощущает в каких-то словах силу (мускул) и напор (массу?), а какие-то и ему представляются словно бы — действительно — вываренными в супе... Он уже — еле-еле — чувствовал и предчувствовал кое-что, хотя еще много лет и выюг лежало между ним и его первой книгой.

...Все они выросли, кому исполнилось семнадцать; а кому и восемнадцать. Они считали себя взрослыми, и взрослые не считали их детьми. Спирька Савчук уже брился. У Семки Городницкого окончательно окреп его утробный бас, выработанный посредством многолетних упражнений; он этим басом шикарно спорил с попами на диспутах. Ванька Яковенко поступил на плужной завод и быстро стал выдвигаться — его выбрали в бюро ячейки и сразу в секретари, он стал очень деловым, подружился с Югаем и Женей Смирновой, а от старой компании отдалялся.

Сильнее всех изменилась большая Зоя. Прежде такая тихая, задумчиво-созерцательная, она становилась шумной, полюбила веселье и шутки, полюбила, чтоб парни за нею ходили гурьбой. Парни ходили гурьбой, а ей все было мало, она хотела еще и еще знакомств и побед. Беспричинное раздражение прорывалось у нее, смех стал нервным, глаза вспыхивали беспокойно. И по разным вопросам они все чаще спорили с Зойкой маленькой.

Раз Севастьянов случайно услышал, как они спорили о любви.

— Он меня обожает! — говорила большая грудным, таинственно пониженным голосом. — Разве ты не видишь — он для меня что хочешь сделает!

— Да, вижу. — отвечала маленькая. — Но ты мне скажи — зачем тебе это, ведь ты его не любишь!

— Ну, как зачем! — упрямо сказала большая. — А ты разве не хочешь такой любви, чтобы для тебя готовы были в воду кинуться?

— Я хочу такой любви, чтоб я сама ради какого-нибудь человека была готова в воду кинуться! — сказала

маленькая. — И ты такой любви хочешь, и для чего ты прикидываешься эгоисткой, я не понимаю. Я ведь знаю, что ты не эгоистка!

Тут вошел Севастьянов, и спор прекратился. Севастьянов понял, что это они говорили о Спирьке Савчуке, ведь за версту была видна Спирькина тяжкая влюбленность в большую Зою.

То был уже двадцать третий год — лето двадцать третьего, уже были мечты о журналистике, был Кушля, уже Севастьянов ушел из Балобановки и обитал с Семкой Городницким на Коммунистической, в комнате возле кухни, где царствовали три ведьмы.

Мечты и прогулки по «границе» были до середины лета. А потом голубоглазый Кушля вмешался в судьбу Севастьянова и переломил ее.

16

Но сначала Севастьянов и Семка Городницкий учились на политкурсах.

Занятия проходили в школе. Севастьянов, с его длинными ногами, подолгу вертелся, усаживаясь за парту, и стучался коленями... Для учебы его освободили от вечерней работы. На курсах они познакомились с двумя страшно передовыми девушками с табачной фабрики, одну звали Электрофикация, другую Баррикада. В сущности, их звали Рива и Маруся, но они *октябрились* в клубе, с речами и подарками от фабкома, и приняли новые имена для нового быта. Они то и дело хлопали ребят по спинам и кричали: «Шурка, сволочь! Семка, гад!» и по самому нестоящему поводу заливались хохотом. При всем том — славные были девушки...

Кроме молодежи, на курсах учились и пожилые люди, был там инвалид войны, ходивший на костылях, был старик с бородой как у Маркса, была неприветливая болезненная женщина в пенсне... Им читали лекции о прибавочной стоимости, диктатуре пролетариата, диамате и истмате, о великих утопистах, предшественниках марксизма.

Семка, эрудит, начетчик, обо всем этом читал раньше, а Севастьянов впервые слышал так подробно и был по-настоящему потрясен — сколько же люди думали, искали, фантазировали, догадывались, открывали, стре-

мясь устроить человеческую жизнь разумно и справедливо. Он даже поднялся в собственных глазах, обнаружив, что его волнует этот мир отважного и жадного мышления, с которым он соприкоснулся; что, значит, он, Севастьянов, тоже из той людской породы, которой доступно высокое. Мысли, зарождавшиеся в его юной голове самостоятельно, имели пока что значение только для него; но на чужую мысль эта голова отзывалась быстрым пониманием, это ведь тоже кое-что.

В тот период своей жизни они с Семкой разговаривали почти исключительно на социально-философские темы, даже сообща сочиняли стихи на эти темы:

Познавательный процесс
Не свалился к нам с небес,
И врожденных у людей
Сроду не было идей...

В моде была кабацкая песня про торговку бубликами:

Бублики! Горячи бублики!
Купите бублики, народ честной!..

«Буб-лики! Горячи буб-лики!» — пела улица. «А я несчастыная торговка частыная!» — пронзительно пел маленький босоногий пацан в коротких штанах и выгоревшей буденовке. «Буб-лики! Горячи буб-лики!» — яростно суфлировала гармошка из пивной. А Севастьянов и Семка, идя домой после лекций, сочиняли песню для себя и своих товарищей:

Гегель странный был чудак,
Не поймешь его никак:
Диалектика — того —
Вверх ногами у него.

Диалектике было
В этой позе тяжело,
Но явился Фейербах,
И она уж на ногах.

Фейербах, Фейербах,
Браво, Людвиг Фейербах!

И так далее — топорно и, быть может, излишне фамильярно, но зато от всего сердца.

А девчата — Электрофикация и Баррикада — смотрели им в рот, когда они сочиняли, и потом пели с ними вместе.

С тех пор как Кушля возглавил отделение «Серпа и молота» и поселился там, писать Севастьянову стало нелегко.

В отделении был Кушля, дома — Семка Городницкий.

Кушля непременно подошел бы и заглянул, что там Севастьянов пишет. Он не признавал секретов.

Семка без спроса не сунется, но севастьяновские листки могли попасться ему на глаза случайно, у них ведь ничего не запиралось, да и запирать было некуда, — и неужели же Семка не прочтет? Надо быть возмутительно равнодушным к товарищу, чтобы не прочесть. И Севастьянов огнем сгорит от Семкиных критических, логических, иронических замечаний. Если же Семка воздержится от замечаний, и даже не усмехнется, и будет молчать, с... ничего знать не знает, — это ужасное страдание.

П...

... для своей музыки, Севастьянов торопится по прошествии времени, когда он... иятию по редакционным

... себе чей-то взгляд и, спохватываясь, сгонял с лица улыбку.

На короткое время отстал было от сочинительства — пока учился на курсах и увлекался общественными науками; потом опять вернулся.

Он составлял в уме фразу, заботясь о том, чтобы они не кособочились. Слагал газетную прозу, как поэты слагают стихи. Кое-что записывал тайком — фразу, абзац — и прятал в карман. Газета светила ему как маяк: его интересовали только те явления, которые могли интересовать газету. Изложить старался помускулистее, в подражание Железному. (Московских журналистов, печатавшихся в «Правде» и «Известиях», они с Кушлей тоже читали внимательно, но находили, что наш Железный пишет лучше.)

И вот однажды получилась у Севастьянова одна вещь, и он почувствовал желание показать ее кому-нибудь. Первый раз почувствовал такое желание.

Не желание: необходимость! Неизбежно было, чтобы еще кто-то, кроме него, эту вещь узнал. Не то чтобы исчез его целомудренный страх перед судом другого человека — страх за свое неумение, несовершенство своей ра-

боты; страх остался, но как бы отступил на время и наблюдал со стороны: что-то будет!..

Севастьянов пошел в отделение, сел и в присутствии Кушли стал записывать то, что сложилось в его мозгу. Вышло вроде стихотворения в прозе, — этого он не знал, не был посвящен в такие тонкости; он все, что сочинял, считал фельетонами... Там рассказывалось, как рабочие судоремонтного, с женами и детьми, пришли на субботник — убирать в цехах: судоремонтный, после долгого перерыва, снова вступал в строй. Субботник был описан с разными восклицаниями, заимствованными у Вадима Железного. Но кое-что было незаимствованное, свое, — тот рабочий: как он разбирал станок, с каким вниманием, не подымая глаз, долго рассматривал снятую часть и клал бережно, — и следующую, перед тем как снять, осматривал, и что-то обдумывал, и в раздумье поигрывал по станку пальцами, и посвистывал, сложив губы дудочкой, — а потом он сел тут же на подоконник и завтракал, медленно жуя и не спуская глаз со своего станка, в одной руке хлеб, в другой ломоть арбуза, — вот этого рабочего Севастьянов сам отметил среди сотен человек и по-своему описал, и этому описанию обрадовался до такой степени, что не мог не поделиться с кем-нибудь своей радостью.

И, безусловно, легче было делиться с Кушлей, чем с начитанным и ироническим Семкой Городничким.

Как он и предугадывал, Кушля, увидев его пишущим, подошел и стал за его плечом. Попыхивая папиросой, он стоял и читал. Севастьянов дописывал не оборачиваясь, уши у него горячели. Кушля взял первый, уже отложенный лист, стал читать сначала. Тем временем у Севастьянова поспел конец; Кушля прочел конец и спросил недоверчиво:

— Это что?

— Да так просто, — нелепо ответил Севастьянов.

— Твое? — спросил Кушля еще более недоверчиво и даже грозно и перешел на другое место, чтобы взглянуть Севастьянову в лицо.

— Мое! — решился Севастьянов.

Ярко-голубые Кушлины глаза смотрели ему в самую совесть.

— Не врешь?

— Иди ты!

Скрестив на груди руки, Кушля прошелся взад-вперед.

— Замечательно!

Он это сказал с глубоким убеждением и серьезностью. И Севастьянов знал, что шутить он не умеет, а все-таки поглядел: не шутит ли?

— Ты считаешь — ничего?

— Что значит ничего! — сказал Кушля с тихим торжеством. — Я же тебе говорю — замечательно!

«Да неужели, — значит, мне не показалось, — да, должно быть, да, конечно, это хорошо!» — подумал Севастьянов.

— Это же надо, понимаешь, сел и написал единым духом, ничего даже не чиркая, ну и ну! И кто — рабочий парень с низшим образованием! Это, дорогой товарищ, просто, я тебе скажу, ну просто, я тебе скажу, — да что тут говорить: сказано — замечательно!

— Что ты, каким единым духом! — поспешил возразить Севастьянов. — У меня раньше придумано было. — Он жаждал похвал, которые мог принять как заслуженные; те, которых он не заработал, были ему тягостны, вымышленными заслугами отодвигалось в тень то немногое, но единственно важное для него, что удалось ему на самом деле.

На Кушлю его поправка произвела неожиданное впечатление.

— Как раньше? — спросил он. — Ты же не переписывал, черновиков никаких не было.

— Правильно, я в голове держал.

— Наизусть, что ли, выучил?

— Ну да, наизусть, только я не учил, оно само как-то запоминается, черт его знает.

— Ну, это, ну, просто... — начал Кушля, качая головой, и не договорил. — И давно это ты?

— Давно уже. — Теперь сознаться в этом было приятно.

— Когда начал писать?

— В декабре месяце.

— О! Давно, — сказал Кушля. — Я только с июня пишу. Чего ж не показывал? Никому не показывал?

— Никому.

— Это интеллигентщина, понимаешь! Как можно не показывать? Что ты — кустарь-одиночка? Тем более — пишешь замечательно, можно сказать — великолепно! А вот скажи, — спросил Кушля, — ты когда пишешь, ты всегда до конца пишешь или не всегда?

— Как когда, — ответил Севастьянов. — Иной раз и не до конца. Бывает всяко.

— Я когда пишу, — сказал Кушля, — у меня начало получается и середина получается, а конец не получается, не дается мне конец. Напишу, понимаешь, середину, а дальше ни с места, ты мне, пожалуйста, помоги, ладно?

Он снова стал похаживать, скрестив руки, и лицо его, по мере того как он вдумывался в случившееся, становилось все торжественней, вдохновенней, праздничней, моложе.

— Что значит талант, — сказал он, — я этого человека вижу, как он сидит на окне и арбуз ест и на станок свой смотрит, с которым в разлуке был, — и это не дело, понимаешь, чтоб талант улицу подметал...

Совершенно искренне он был убежден, что Севастьянов делает в отделении только черную работу.

— Ведь чем дорого, — говорил он дальше, — что вот, скажем, талант у тебя, талант у меня? Сейчас я тебе поясню, чем это дорого. Вот мы вчера были в театре с Ксаней. Сидим назади, а в первых рядах сплошная буржуазия. То боялись, гады, одеться чисто, носили что ни на есть поплоче; а сейчас, понимаешь, золотые часы, серьги это, горжетки, все наружу. А мы с Ксаней, в боевых наших красноармейских гимнастерках, — победители! чувствуешь?! — назади сидим и с пятого на десятое слышим, что там артисты на сцене говорят. А душа — она еще не вполне сознательная, душе скорбно, дорогой товарищ, сидеть назади, уступя первые ряды нэпманам. Спроси Ксаню, она тебе то же самое скажет...

— Но ум, — сказал Кушля, блестя ярко-голубыми глазами, — запрещает моей душе болеть. Ум ей говорит: «Не зуди!» — поскольку это не больше как тактика, чтоб из разрухи выйти. А победители все одно мы с Ксаней, а то кто же? — хоть и сидим черт ти где! Они там нехай нам налаживают всякую бакалею и галантерею, а мы будем развивать наши таланты, потому что не им быть первыми, дорогой товарищ, а нам с тобой...

Великая вещь — слово одобрения! Грудная клетка у человека становится шире от слова одобрения, поступь легче, руки наливаются силой и сердце отвагой.

Благословен будь тот, кто сказал нам слово одобрения!

Поздно вечером расстался Севастьянов с Кушлей. Горели на улицах реденькие огни. Были спущены железные шторы на магазинах. Из темноты возникали люди, приближались, обрисовывались в неярком свете, проходили вплотную мимо Севастьянова, — чудное у него было чувство, чувство новой какой-то своей связи с людьми, чем-то они стали ему несравненно важней и дороже, чем были, — он еще не знал, чем именно, но чувство это было прекрасно и радостно. Лошадиные копыта зацокали в тишине, извозчик приостановился у тротуара и сказал знакомым голосом: «Садись, Шурка, подвезу», — это был Егоров, балобановский сосед, у которого Севастьянов когда-то ремонтировал конюшню. Севастьянову оставался до дому какой-нибудь квартал, но он сел к Егорову в пролетку и спросил: «Как вы поживаете?» — «Живем, хлеб жуем, — ответил Егоров, — а ты как там?» — «Я — хорошо!» — от души ответил Севастьянов... Копыта неспешно цокали, удаляясь, он стоял у своих ворот, он поднимался по железной лестнице, думая: «Вот отлично, что Семка дома и не спит. (В их окне был свет.) Я ему тоже покажу мой фельетон. Что, в самом деле!» Но Семка спал, уронив книгу на пол, закинув худое горбоносое лицо. Севастьянов огорчился, потоптался по комнате, подвигал стулом, даже задал вполголоса дурацкий вопрос:

— Ты спишь?

Ничего не помогло, Семка спал. Севастьянов лег нехотя и долго лежал с открытыми глазами, улыбаясь... Утром проснулся — Семка уже ушел. Да при утреннем деловом ясном свете, в сборах на работу, на ходу, и не стал бы Севастьянов ничего показывать и рассказывать...

— Акопян звонил, — встретил его Кушля, когда он пришел в отделение. — Велел тебе к нему ехать. Сразу.

— Не сказал, по какому делу? — спросил Севастьянов, а сердце стукнуло: «Вдруг по этому самому?..»

— Не сказал. Нужен, значит. Кидай все и езжай, скоро!

Кушля был взбудоражен и таинствен. «Он звонил Акопяну и говорил обо мне!» — понял Севастьянов. После оказалось, что Кушля звонком поднял Акопяна ночью с постели, расписывал севастьяновские достижения и внушал, что в Советской республике не имеет пра-

ва талант метлой махать, а обязан талант служить задачам агитации и пропаганды для счастья масс. Акопян, полусонный, терпеливо выслушал и сказал: «Хорошо, я посмотрю» — не очень-то, должно быть, поверил Кушлиной рекомендации. Но в наэлектризованном воображении Кушли все это обернулось таким образом, что Акопян сам звонил чем свет и потребовал Севастьянова срочно.

Выйдя вслед за Севастьяновым на улицу, Кушля напутствовал его, будто в дальнюю дорогу:

— В добрый час!

В редакции шло своим чередом редакционное утро. Акопян, с пером в руке, сидел над гранками и сказал: «Ты ко мне! Посиди минутку», — пришлось сесть смиренно и ждать. Вошел кто-то с хроникой, Акопян стал править хронику. Прибежала машинистка Ляля с перепечатанным материалом, из типографии принесли тиснутую мокрую полосу, Залесский принес рецензию, и они с Акопяном спорили о спектакле, раздался звонок из кабинета Дробышева, Акопян ушел туда и пропал. В окнах стало свинцово — нашла туча, хлынул дождь. Севастьянов слонялся по коридору, видел в открытые двери, как Коля Игумнов, свесив белокурую гриву, трудится над рисунком; как пришел Вадим Железный, его кожанка блестела от дождя, он повесил ее на гвоздик, вынул записную книжку, уселся, придвинул стопку чистой бумаги, обмакнул перо — и его брови поднялись, он оледенел, отрешился от всего, кроме пера и чистого листа... Видел, как под клетчатым серым зонтиком пришла к Залесскому старуха жена, принесла завтрак в корзиночке; как уборщица Ивановна разносила чай на подносе, она и Акопяну поставила среди бумаг стакан жидкого чая. Всегда готов был Севастьянов наблюдать эту восхитительную, высшую жизнь, но в тот день он томился одним ожиданием, ожиданием Акопяна.

Меньше всего было свойственно ему телячье легкомыслие. Он себя урезонивал: «Размечтался!.. Обязательно окажется что-нибудь обыкновенное, самая мелочь может оказаться, не имеющая отношения... С чего на тебя такое свалится, чего ради вдруг тебя возьмут и напечатают, как будто это так просто. Ты вовсе и не нужен Акопяну, видишь — он о тебе забыл, Кушля напутал спросонок». Но какой-то новый Севастьянов, убежденный в своих силах, не хотел признавать резоны,

волновался и заносился, изумляя прежнего солидного Севастьянова.

— Брось, ничего Кушля не напутал, притворяешься перед самим собой, не хочешь разочароваться...

— Какое-нибудь редакционное дело.

— Редакционное он бы по телефону передал... У меня удача. Вот тут в кармане у меня лежит удача. Как Кушля про нее сказал? Замечательно, сказал, великолепно!

— Ты, брат, ошалел. Похвалили тебя, ты и ошалел.

— Вот посмотришь!..

Но когда Акопян вышел наконец из редакторского кабинета, и они с Севастьяновым сели друг против друга у стола, и Акопян сказал: «Ты, говорят, пишешь; покажи», — шальный голос умолк, как не было его; сидел перед Акопяном положительный, несуетливый Севастьянов. У этого положительного Севастьянова пальцы были не ловкие, деревянные, когда он доставал листки из нагрудного кармана, и он подумал: «Акопяну вряд ли понравится».

Акопян взял листки и, прежде чем читать, отхлебнул холодного чаю из стакана.

«Ему не понравится».

— Сколько ты классов кончил? — спросил Акопян, уже начав читать и отрываясь, что причинило Севастьянову боль; и, узнав, что Севастьянов окончил два класса приходского училища, покачал головой: — Мало-вато...

«Ясно, не понравится. Чему там нравиться — пишу корову через ять».

Акопян читал, подперев лоб рукой. Севастьянов смотрел на его узкую руку, опущенные веки и думал: «Ужас, и как я решился показать. Ему же никогда ничего не нравится, он все черкает и переделывает, а у меня до того плохо, позорно плохо...»

— Очень приличная зарисовка, — сказал Акопян.

Севастьянов перевел дух. У него губы сохлись, пока Акопян читал.

— Про рабочего со станком хорошо написано, — сказал Акопян, задумчиво рассматривая Севастьянова своими черными глазами.

«Вот и он говорит, что хорошо, — подумал Севастьянов, и его радость и вера мгновенно вернулись к нему, — значит, в самом деле хорошо, уж кто и понимает, как не он, и какой симпатичный у него голос, как говорит он

приятно, и, значит, это называется зарисовка, а не фельетон, правильно, очень подходящее название!

— Редактор считает, — сказал Акопян, — что тебя следует попробовать на работе в редакции, ты как на это смотришь?

«В редакции, ну конечно! — подумал Севастьянов. — Я это предвидел, я так и знал! Еще утром знал, когда Кушля сказал «в добрый час»... Написано очень прилично. А два класса — что ж два класса, как будто я этим ограничусь, учился на курсах, и на рабфак пойду, и в вуз».

— Ну, так как же ты? — окликнул Акопян.

— Я?.. — Севастьянов прокашлялся. — Я, да... с удовольствием.

Акопян улыбнулся.

— Но имей в виду, заработок на первых порах будет нерегулярный и, возможно, меньше, чем в отделении. Выдержишь?

— Выдержу.

— Зарисовку твою напечатаем. Придумай заголовок и зайдем с тобой к редактору. — Зарисовка была без названия.

Севастьянов вышел на балкон. Пока они с Акопяном разговаривали, дождь кончился, короткий и бравурный, и опять светило солнце. В выбоинах старого балкона с почерневшей узорной решеткой стояла светлая вода. Внизу играли дети, шли прохожие, двое остановились на углу, разговаривая, — ни у кого из них не было таких ослепительных перспектив, никого так не манило будущее, как манило оно Севастьянова, когда он стоял на балконе, придумывая название для своей зарисовки.

«Я в редакции, вот счастье. Это теперь мое — эти культурнейшие, интереснейшие люди, их занятия и разговоры, вся эта увлекательная жизнь... и этот балкон мой. Внезапный какой поворот... Всегда все главное бывает внезапно?.. Это Кушля устроил, я бы разве сам пошел к Акопяну...» Он был навеки благодарен Кушле! Но не за то, что тот похлопотал о его переводе в редакцию. Таковую вещь Севастьянов тоже сделал бы для любого товарища... За восхищение он был благодарен Кушле, за признание, за восторженное сияние глаз.

Свою зарисовку в газете он без конца перечитывал, она казалась ему чужой и этим притягивала как магнит: он читал и читал, пытаясь удостовериться, что это сочинено им. Напечатанные слова были непохожи на написанные от руки, каждое слово стало выпуклым, громким, его будто вынесли на яркий свет. Севастьянов заметил это сам, и то же сказал ему Вадим Железный.

— Они отпали от вас и зажили отдельной жизнью, не правда ли?

— Да, вроде, — подтвердил Севастьянов.

— Они теперь сами себе господа. Они самоопределились. Им наплевать на вас. Вы властны над ними только пока они не напечатаны. Странно?

— Странно, конечно. Потому что я в первый раз....

— Это ничего не значит, что в первый раз. В тысяча первый будет точно так же. К этому диву нельзя привыкнуть. А как вам показалась ваша собственная подпись?

— Да-да-да! — вздохнул Севастьянов.

Его фамилия на газетной полосе была в глаза, как бы напечатанная красной краской; в буквах и сочетаниях букв было что-то удивлявшее Севастьянова, вообще незнакомая была фамилия и чудная. Они с Железным обменялись этими наблюдениями.

— И чем дальше, — торжествуя сказал Железный, — тем она все больше будет абстрагироваться. Она тоже имеет тенденцию к самоопределению. Я смотрю на свое имя в газете и думаю: Вадим Железный, Вадим Железный, кто ж это такой Вадим Железный?.. Не смейтесь! — остановил он повелительно, увидев улыбку Севастьянова. — Это не смешно. Это настоящие открытия. Это больше, чем открыть новую звезду; разве нет?

Он не был похож на тонкого и легкого Мишку Гордиенко в студенческой тужурке с обтрепанными рукавами, того Мишку Гордиенко, что несколько лет назад поставил вопрос о новой орбите для земного шара. Вадим Железный ел бифштексы, занимался боксом, носил кожаную куртку, скрипучий портфель, обожал все кожаное и скрипучее. И он в самом деле был хорошим журналистом и умел писать для простых читателей ясно и горячо, — но от старых бредней не отказался, написал непонятную брошюру под названием «В начале было слово», издал ее за свой счет, и она продавалась в киосках.

— И жить, и писать будете, — сказал он, прочитав Севастьяновскую зарисовку и поговорив с ним. И попросил наборщика, тот отлил на линоTYPE, на память Севастьянову, его подпись: «А. Севастьянов». Пластинку серебристого металла с выпуклыми удивительными буквами Севастьянов получил еще теплой, прямо из машины, — и долго она у него была, пока не затерялась.

Если поначалу от восторга он маленько занесся, то первая же неделя работы в редакции сбила с него спесь начисто. Его посылали за хроникой в губсовнархоз — он упускал самые важные сообщения. Поручили ему отчет о конференции работников потребкооперации — он добросовестно сидел на скучном заседании и записывал, что говорили кооператоры, а потом оказалось, что, отвлеченный своими мыслями, он не записал какие-то цифры, которые приводил какой-то товарищ, а без этих цифр отчет не годился. Севастьянов бросился разыскивать товарища, разыскивал его по складам и пакгаузам, бешеную деятельность развил, чтобы получить цифры. Когда разыскал наконец, товарищ сказал: «Что ж вы беспокоились, посмотрели бы в стенограмме»... На маленькую заметку уходила уйма времени.

По собственной инициативе Севастьянов написал штук двадцать зарисовок, но из них только одна была помещена, причем Акоюн выбросил все начало и переделал конец.

Торчать в редакции развезя уши и упиваться умными разговорами — об этом нечего было и думать. В редакцию Севастьянов приходил, чтобы сдать материал и получить задание от Акоюна. Наскоро просматривал газеты, выпивал стакан чаю и уходил.

Так или иначе — пусть с грехом пополам — он выполнял все поручения и никогда ни от чего не увивал. Почти в каждом номере шло хоть несколько его строк, по большей части без подписи. Уже в первый месяц он заработал вдвое против того, что зарабатывал в отделении. Но гонорар выдавали редко и по крохам, так что денег у Севастьянова было еще меньше, чем когда он работал в отделении и два раза в месяц получал свою скромную получку.

Если бы не это обстоятельство, он считал бы себя материально устроенным. Они с Семкой наладили свою жизнь. У каждого была кровать, у каждого кружка. Был нож, чтоб резать хлеб и колбасу. Севастьянову хотелось завести примус и кастрюльку: нет-нет сварить картошки и поест с огурцом — неплохо. Но купить было не на что, да Семка и не допустил бы такого обростания, примус был в его глазах принадлежностью обывательского быта, который страшнее Врангеля. Зато на столе, на подоконнике, на полу, всюду у них лежали книги. Семка притащил их из дому и всякую получку покупал еще, а глядя на него и Севастьянов научился покупать; прежде ему казалось, что глупо тратиться на книгу, раз ее можно взять в библиотеке или у знакомых.

Ведьмы громко злословили за дверью по их адресу. Они ненавидели Севастьянова и Семку. Это была ненависть с первого взгляда. С момента, когда Севастьянов и Семка предъявили ордер на комнату возле кухни. Три примуса шипели в кухонном чаду, и три ведьмы шипели у примусов. Кто их знает, этих теток, чего они ярились. Должно быть, революция их прижала, вот они и выходили из себя от одного вида комсомольцев. Каких только гадостей они не придумывали, чтобы отравить Севастьянову и Семке существование; ну, не так-то это было просто. Семка молча щурился в ответ на все выпады. Севастьянова иной раз подмывало сказать пару теплых слов — поставить вредных старух на место; но и он брезговал связываться. Жертвами своих боевых действий падали сами ведьмы, они худели от злости и лечились у невропатологов.

Дома Севастьянов и Семка бывали мало. Обедали в столовой ЕПО. Если денег было не в обрез, Севастьянов заходил поест на базар, в обжорный ряд. Там было вкусно, хотя нельзя сказать, чтобы опрятно. Из глубоких кошелок, из промасленного тряпья бабы-торговки доставали жарко дымящиеся чугуны с жирным борщом, приправленным чесноком и перцем, большие коричневые котлеты, сочные сальники с начинкой из гречневой каши и рубленой печенки. На куриных ножках стояли крошечные дощатые шашлычные с распахнутыми настезь дверками, в каждой шашлычной был стол, непокрытый, даже без клеенки, на столе тарелки с нарезанным хлебом и луком, горчица, солонка с оттиснутыми в ней следами пальцев. Шашлык жарился на улице, у входа, на

высоких жаровнях, в противнях, полных скворчащего жира, райский запах разливался далеко. Севастьянов любил забежать в такую шашлычную. Любил купить огромный, весь в пурпуровых подтеках, пирог со сливами и съесть на ходу, выплевывая косточки. Любил, купив арбуз, не резать его дольками, а трахнуть им о край стола, чтобы арбуз так и распался в руках на большие неправильные ломти с серебристым налетом на малиновой мякоти, утыканной черными глазастыми семечками...

Другого рода соблазны исходили из «Реноме инвалида». Кафе «Реноме инвалида» помещалось в доме, где жили Севастьянов и Семка. В витрине красовались торты и синяя ваза с пончиками, напудренными сахарной пудрой. Утром выйдешь натошак за ворота — пахнет свежими пирожными... В этом культурном месте тоже приятно было посидеть в получку, выпить бутылку кефира, чашку чая, либо спросить мороженого и есть его ложечкой, запивая газированной водой.

Принадлежало кафе инвалидной артели. Разнообразно прихрамывая, члены артели, в белых курточках, белая салфетка через руку, обслуживали посетителей. В этом же доме, со двора, находилась их кладовая и погреб, и при кладовой жил Кучерявый, кладовщик...

— Здравствуйте! — сказал главный инвалид, остановив Севастьянова посреди двора, от инвалида пахло ванилью. — Что вас редко видно, почему к нам не заходите, вы и ваш товарищ?

— Денег нет на пирожные, — ответил Севастьянов шутливым тоном, хотя это была истинная правда — с тех пор как он жил на гонорар, у него никогда не было денег, и он успел задолжать Семке астрономическую сумму, чуть не два червонца.

— Какое это играет значение! — сказал инвалид. — Ведь вы работаете, если я не ошибаюсь, в редакции? («Ишь, знают», — подумал Севастьянов не без ребяческого удовольствия.) Вы можете кушать в кредит, пожалуйста, почему нет, сделайте одолжение.

— Как в кредит?

— Очень просто, вы кушаете, мы записываем, а в получку рассчитываетесь, обыкновенно так делается.

Так делалось — и тетя Маня, и покойная мать брали в лавочке в долг, но Севастьянову неловко было согласиться, он сказал:

— Да нет, зачем же.

Другой инвалид сделал такое же предложение Семке. Посетители не валили в кафе валом, место было не бойкое; открывая кредит, инвалиды закрепляли за собой клиентуру. Семка сперва тоже отклонил предложение, но в черный день они с Севастьяновым не выдержали характера, пошли в «Реноме» и наелись пирожных и пончиков, и еще там оказались слоеные пирожки, которых они раньше не пробовали, они и пирожков взяли: если кредит, то какая разница — рублем меньше или больше. Инвалиды были очень радушны. На другой день Севастьянов и Семка уж прямо отправились в «Реноме» завтракать, пили кофе с булочками. Вечером, возвращаясь из редакции, Севастьянов помедлил секунду перед задушевно освещенной розоватым светом витриной, потом подумал: «Ничего страшного нет, рассчитаемся». Вошел и первым делом увидел Семку, тот сидел за угловым столиком и, щурясь от стеснительности, жевал ромовую бабку. Они стали буквально купаться в роскоши, бывали дни, когда они харчевались у инвалидов по три раза, изобретая всевозможные комбинации пирожков, булочек, пончиков и пирожных с чаем, кефиром, какао, простоквашей, кофе со сливками, кофе с лимоном, кофе по-варшавски, кофе по-турецки и просто черным кофе.

— Мы катимся в пропасть! — сказал Семка после получки.

Он получил зарплату за полмесяца, и Севастьянову выдали часть его заработка, и все пошло в уплату долга инвалидам.

— Остается одно, — сказал Семка трагическим басом. — Продолжать пользоваться кредитом. Выхода нет.

Теперь они полностью столовались в «Реноме». Все другое стало им недоступно, потому что у них не было наличных денег. Вначале от неограниченного кредита в них развились жадность и цинизм. Они пожирали громадные количества сдобной пищи, неслыханные и стыдные количества: кажется, за все свое прошлое и на все свое будущее наелся Севастьянов сладкого; и при этом как миллионерам, как каким-нибудь Рокфеллерам, им было наплевать, сколько эта пища стоит. Допив чай, они могли тут же приняться за какао. Приводили в «Реноме» знакомых и щедро угощали. С горя устраивали состязания — кто больше съест пирожных.

Но скоро их стало мутить от кондитерских запахов. Они почувствовали отвращение к сладкому. Огорчая ин-

валидов, целую неделю пили одно молоко; к молоку приносили в кармане житного хлеба. Им мерещились запахи жареного лука, мяса, селедки. Севастьянов видел во сне огненный борщ и сальники с гречневой кашей. Баррикада справляла день рождения. Они ей принесли в подарок торт; но когда она стала резать его и угощать, они простились и ушли, это было выше их сил.

— Знаешь, довольно, — сказал Севастьянов. — Ну ее к богу, такую жизнь. Я придумал.

Он взял ссуду в кассе взаимопомощи. Они расплатились с инвалидами, ринулись в столовую и заказали столько мясных блюд, что официант подумал — они его разыгрывают.

Было трудно выплачивать ссуду; но эти трудности не шли ни в какое сравнение с тем рабством, которое они испытали, пользуясь кредитом в «Ренеме».

21

У Семки обнаружился туберкулез легких.

Семка всегда был слабосильный, а последнее время очень уставал на работе. Работал он инструктором в губбюро ЮП, юных пионеров, — Севастьянов не понимал, с чего ему уставать... Когда пошли осенние дожди, Семка все время ходил в мокрых ботинках — калош у них не водилось, — чихал и кашлял. В конце концов сходил в амбулаторию, оттуда послали его в тубдиспансер, и там сказали:

— Неважно дело, надо в санаторий, жиры надо есть, как можно больше жиров.

— Я, — сказал Семка, — ем сплошные жиры.

Они в это время кормились у инвалидов.

Докторша велела измерять температуру и принимать порошки, а курить запретила под страхом смерти.

Курить Семка не бросил, но градусник купил и ставил его себе по вечерам. Докторша велела чертить кривую, Семка чертил и расстраивался, от расстройства ему делалось хуже.

В разных книгах описано, как болеют чахоткой. Семка знал, что это значит, если температура каждый вечер — тридцать семь и пять. Знал, что у чахоточных бывает кровохарканье; и, кашляя, прижимал платок к губам и потом взглядывал на него с ужасом.

Но как-то зашли Электрофикация и Баррикада. Говорили, по обыкновению, обе сразу, хохотали до слез, махали руками, смахнули градусник со стола и разбили. Семка расстроился, но, прожив несколько дней без градусника, увидел, что так спокойнее, и перестал заниматься своей температурой.

А так как кровохарканья все не было, то он решил, что чахотка — не такая уж страшная болезнь, чтоб из-за нее паниковать. И он стал относиться к ней наплевательски. Порошки, которые ему дали в диспансере, подмокли, лежа на подоконнике, и он их выбросил в мусорное ведро.

Огорчало его только то, что ему запретили посещать пионерские сборы.

В ноябре сыпал мокрый снег, мели мокрые метели, без передышки мело и таяло, на мостовых ледяная кофейная жижа стояла по щиколотку. Семка расхворался, доктора уложили его в постель. Ребята его проводывали, носили ему книги, и Женя Смирнова зашла, сказала, что Югай обещал выхлопотать Семке путевку в Крым. «Я его просила», — сказала она и покраснела, как девочка. Она была председателница губбюро ЮП, Семкино начальство, на шее у нее был пионерский галстук. Револьвер она уже не носила.

Пришел и старик Городницкий, каким-то образом узнав о Семкиной болезни.

Он пришел с парадного хода и спросил у отворившей ему ведьмы:

— Пардон, мадам, здесь живет молодой человек Городницкий, Семен Городницкий, мой младший сын?

На нем были гетры, пушистое пальто, кепка из той же материи, что и пальто. Пахло от него дорогими папиросами и дорогим мылом.

Ведьма глянула и побежала, указывая дорогу. Он величественно прошел по коридору в кухню и тростью постучал в облупленную дверь.

— Семка, — сказал он входя, — это же анекдот...

Семка лежал и читал, держа книгу на поднятых коленях. Колени остро торчали под одеялом.

— Ей-богу, анекдот, — повторил старик Городницкий, взяв стул и сел, отдуваясь. — Что ты хочешь доказать? Я ничего не понимаю. Комсомолу будет хорошо, если ты подохнешь от чахотки? Советской власти будет хорошо? Мировая буржуазия передохнет вместе с тобой?

Молодой человек, — повернулся он к Севастьянову, — вы, кажется, Шура, да, Шура... Объясните мне, для чего надо, чтобы он валялся в этой кошмарной комнате, — пардон, ведь кошмарная, согласитесь... Чтобы доказать, что он не принадлежит к классу эксплуататоров? А без этого вы ему не поверите, что он не принадлежит к классу эксплуататоров?

Он пригнулся к Семке:

— Я не допускаю мысли, чтобы в твоём уходе сыграла роль моя женитьба, ведь нет — нет? Софья Александровна — приличная женщина, преданная женщина, и я же нуждаюсь в заботе, я не в состоянии жить так, как живете вы. Ведь у меня никаких ресурсов! Немножко было валюты, так и ту забрали в двадцатом году! Чтоб вы знали, Шура, я тоже никогда не принадлежал к классу эксплуататоров! Никогда не имел наемной рабочей силы, кроме кухарки и горничной! Я был служащий, вам понятно? Не я нанимал, а меня нанимали, вам понятно? Брокер нанимал меня, чтобы я распространял его парфюмерию! Вы молодые идиоты. Если человек надел приличный костюм, так он уже, по-вашему, буржуй. А я, чтоб вы знали, безработный пролетарий. Да: пролетарий. И да: безработный! А что я должен, я привык, вам понятно — я всосал с молоком матери, я не могу одеваться неприлично, — так я буржуй?!

Он посмотрел на Семку, на узкую его кровать, провисшую наподобие гамака, и сказал:

— О, боже. Без пододеяльника.

И прикрыл глаза пухлой белой рукой в коричневых крапинках.

— Семка, — сказал он потом, — ну хорошо, ты ничего не хочешь слушать, ну хорошо — отрекись от меня через газету. Многие отрекаются через газету, что ж, это всех устраивает. Отрекся, а на чьи средства ты там дальше существуешь — кого это может интересовать? Дай объявление, что с такого-то числа не имеешь со мной ничего общего, и делу конец. Хочешь, я завтра отнесу твоё объявление?

— Батяка, — сказал Семка суровым басом, — ты действительно ничего не понял, сколько я тебе ни втолковывал. На кой черт мне отрекаться через газету? Для моей партийной совести необходимо, чтобы я вошел в новую жизнь свободным от всяких буржуазных пут.

— Партийной совести? — переспросил старик Городницкий, слушавший со вниманием. — Так ты уже, значит, партиец? Можно поздравить?

— Нет, я только комсомолец, — ответил Семка, — но совесть и у комсомольца партийная.

— А! — сказал старик Городницкий.

— Ты зря беспокоишься, — продолжал Семка. — В чем дело, собственно? У меня есть все, что нужно.

— Вижу, — сказал старик Городницкий, — вижу... А в чем выражались буржуазные пути?

— Мне достанут путевку. Поеду в санаторий.

— Санаторий — это тридцать дней. Для этой проклятой болезни надо, чтобы каждый день был как санаторий. Чтоб был режим, чтобы ты дышал кислородом, а не этим кошмаром... Я пришлю тебе подушки. Это ж не подушка — то, что у тебя под головой.

— Я как раз обожаю такое, как у меня под головой. Как раз подушки мне совершенно излишни.

Они не договорились ни о чем.

Конец разговору пришел, когда старик Городницкий сказал:

— Я из-за вас отказываюсь от первоклассных предложений, из-за тебя и Ильи. Я имею знаешь какие предложения!.. Организуются частные предприятия. Меня приглашают в пайщики. Но я не хочу вам вредить, не дай бог. Я хочу быть государственным служащим и получать жалованье от советской власти. Зачем я стану портить жизнь моим детям?

— Этот разговор, — сказал Семка, — я считаю беспринципным. Беспринципным и отвратительным.

Он разволновался и раскашлялся. Старик Городницкий очень испугался его кашля и заторопился уходить. Его руки дрожали, когда он застегивал пальто.

— Шура, — сказал он, — проводите меня, там где-то мои калоши... Шура, — спросил он, надевая калоши, — что, он часто так кашляет? А нельзя его пока устроить хотя бы в ночной санаторий, я читал, что открыли ночной санаторий...

— Это при фабрике Розы Люксембург, — сказал Севастьянов, — только для табачниц.

— Вы подумайте, — сказал старик Городницкий, взяв его за грудь косоворотки, — дома он спал на хорошем диване. Кругом стояли фикусы. Боже мой, я бы сию минуту привел извозчика... Слушайте, давайте так: вы ему

скажите, что он сумасшедший, а я приведу извозчика.

— Он же все равно не поедет, — сказал Севастьянов.

— Вы считаете — не поедет?

— Ни за что не поедет.

— И вы считаете — он прав?

— Да. Я считаю — прав.

— Ну хорошо, — сказал старик Городницкий, — а вам не приходит в голову, что у него же заразная болезнь, и он на вас кашляет и дышит, и вы, вы лично в опасности каждую минуту, это вам не приходит в вашу голову?!

Но Севастьянов чувствовал в себе здоровья и жизни на сто лет. Он только улыбнулся.

— Носятся с принципом! — горестно сказал старик Городницкий. — Носятся с принципом, когда речь идет о жизни и смерти. Как будто могут быть какие-то принципы, когда речь идет о жизни и смерти.

Пока они разговаривали, в передней то одна открывалась дверь, то другая, и выглядывали благодушно улыбающиеся, полные расположения лица ведьм. Расположение и улыбки относились к старику Городницкому, к его гетрам, трости и превосходному запаху.

Одна из ведьм потом сказала Семке с неожиданной любезностью:

— Какой у вас интересный папа. Вы, оказывается, из хорошей семьи...

В ту осень и зиму Севастьянов принадлежал еще себе.

Он не берег свою свободу, не замечал ее — жил: работал в редакции и в ячейке, читал, ходил бесплатно в театр по запискам Акопяна. Ухаживал за Семкой, когда тот сваливался. Играл с Колей Игумновым в шахматы.

Любовная буря надвигалась на него, — он не подозревал, ходил вольный, краснел, поймав на улице женский взгляд, несколько чопорно сторонился заигрываний толстенной машинистки Ляли.

Такой независимый был он, чуточку одинокий среди парочек, которые норовили уединиться и целоваться. Он не хотел целоваться просто так — без пламени, без мечты, без преодоления, во время киносеанса или за редакционной дверью; и потом выслушивать шуточки.

Вышло — будто он берег себя для бури, которая надвигалась.

Ну что ж. Он рад, что вошел в этот циклон чистым.

Зойка маленькая тоже выглядела немножко одинокой среди влюбленных пар.

Она поступила на педфак и держалась очень строго — будущая учительница, — Севастьянов уж не рисковал брать ее за руку, как прежде. Ей сшили темно-синее платье с круглым белым воротником и рукавами в виде баллонов, милое платье, Зойка сфотографировалась в нем и подарила карточки приятелям, на этой карточке у нее совсем детская шея и детское, нежно-поклатое плечо...

Они виделись не часто, по вечерам Зойка занималась, в редакцию они с Зоей больше не приходили. И как-то он отдалился от Первой линии.

Он ведь был занят не меньше Зойки, сотрудникам редакции случалось работать по двенадцать и четырнадцать часов в сутки, и они не жаловались, наоборот, щеголяли своей занятостью и неутомимостью... Предприятия возвращались к жизни; открывались новые; Севастьянов шел то на одно, то на другое и писал, как они работают. После разрухи — удовольствием и гордостью было опубликовать, что, скажем, на чугунолитейном отлили в ноябре столько-то кухонных плит, а швейпром сшил столько-то пальто. Дробышев требовал, кроме того, описаний трудовых процессов, он хотел поднять у читателей интерес к производству и технике.

...Вспомнить сейчас нетопленые, с выбитыми стеклами цехи, ветхие шлепающие ремни в заплатках и швах, как старая конская сбруя; тесные кочегарки, где двери отворялись прямо во двор, на холод; дворы, потонувшие в грязи и ломе...

А вот двор бывшего дома Хацкера. Он без ворот — нараспашку; каменная ограда разобрана во многих местах. Дом построили перед войной; шестиэтажный, он казался очень высоким, потому что вокруг были небольшие, приземистые дома, они как бы лепились у его подножия. В девятнадцатом году в доме Хацкера помещался белогвардейский штаб. Когда Красная Армия брала город, в дом попал снаряд, и сделался пожар, остались только наружные стены. Высокий узкий коробок без крыши, с пустыми оконными проемами верхних этажей — сквозь них было видно небо, — мертвенно маячил в конце

длинного Мариупольского проспекта над спуском к реке, над пустыней бездействующего лесопильного завода.

Севастьянов входит в этот двор. Завтра ночью Севастьянову предстоит вместе с милицией прийти сюда на облаву; он хочет при дневном свете увидеть места, которые должен будет описать. В доме Хацкера, под развалинами, под прахом, свила гнездо шпана, отсюда бандиты по ночам ходят на промысел.

Двор завален битым кирпичом, битой штукатуркой, всякой дрянью. Везде торчат — то сгнивший лоскут, то черепок, то гнутый, рваный кусок кровельного железа, проеденный ржавчиной. За четыре года, оседая под дождями, смерзаясь от морозов, мусор стал твердым, словно утрамбованным, и весь блестит, как уголь, от осколков стекла. На самой большой куче вырос куст репейника — не страшась осеннего холода, растопырил среди дряни свои колючки и цветет красно-лиловыми хищными цветами. «Я напишу и про репейник», — думает Севастьянов и чувствует мимолетную радость оттого, что он это напишет.

Он стоит у пролома в той части ограды, что обращена на реку. Здешние улицы идут уступами: город скатывается к реке. У себя под ногами Севастьянов видит крыши, трубы, сараи, дворики с развешанным тряпьем. Уступом ниже расстилается двор лесопильного завода, он будто метлой выметен — все до последней щепочки унесли люди, что могло гореть и дать тепло... Еще ниже — тяжелая и серая, как ртуть, течет под широким небом река, дальний берег — песчаный, низкий, ближний — черный от штыба, тут проходит железнодорожная ветка; паровозик тонко закричал, сверху его не видно, но кудрявые круглые облака отмечают его путь вдоль реки. А повыше где-то, между этими облаками и глядящим на них с высоты Севастьяновым, скрипнула на петлях калитка. И этот звук был чуть ли не такой же громкий, как крик паровоза. И все это были мимолетные прекрасные радости, одна за другой. Сквозь радость что-то думалось хорошее, созидательное — что завод будем пускать и дом будем отстраивать, и вообще все самое лучшее впереди, — газетная работа приучила думать созидательно...

Глубокой ночью он опять шел в эти места — с отрядом милиции. Сапоги милиционеров глухо топали по мостовой. Светила луна.

Дом Хацкера окружили с четырех сторон, главная засада находилась на лесопилке, через которую шпана обязательно будет тикать, как объяснил Севастьянову маленький разговорчивый милиционер Шечков.

С Шечковым и другими Севастьянов вошел в дом через забаррикадированный, замаскированный вход, днем он этого входа не заметил. Они спустились в подвал по расшатанным каменным плитам. Милиционеры светили себе карманными фонариками и держали пистолеты наготове.

Узким коридором двигались они в глубь разрушенного здания. По стенам разбегались глазки света от электрических фонариков, пахло аммиаком и сыростью. Коридор сворачивал в неизвестность, в неизвестности осветились косые ступеньки винтовой лестницы.

Сверху ударил выстрел; забухала перестрелка. Милиционеры впереди затоптались, кто-то сказал: «Дорогу, ну-ка», и два милиционера пронесли назад к выходу своего товарища, а другой раненый шел сам, рукой зажимая плечо. Оставшиеся поднялись по лестнице — больше оттуда не стреляли — и пошли по комнатам, обшаривая фонариками потемки и в потемках мокрый след, кровавый след на полу.

В одной из комнат было громадное роскошное зеркало, и все они, проходя, невольно посмотрели в это зеркало, в его пыльной глади их отражения прошли как в мутной воде... В другой комнате сидела на полу, раздвинув ноги, женщина, десяток светлых глазков уперся в нее, она вскинула им навстречу дерзкое молодое лицо с прикушенной губой.

— Дьявол, дура малахольная, — сказал ей Шечков. — Куда ранена?

— В ногу, — ответила она сквозь зубы.

В кружке света, у подола ее юбки, лежал браунинг, его подняли, он был еще теплый.

— Женчину подсунули вместо себя под пули, ну сволочи! — сказал Шечков с удивлением. — Ладно, жди, заберею. Сейчас некогда.

За стеной раздался стук, сильный и короткий, от него дрогнул пол. Потом над головой послышалось медленное шуршанье — течение, оползание каменных масс... Женщина засмеялась со стоном. Вдруг распахнулась, выдохнув тучу пыли, дверь в следующую комнату, оттуда посыпались, заскакали куски кирпича.

— Завалили! — крикнул Щечков. — Тикай на двор!

Преследуемые шелестом — казалось, каменный поток течет над потолком, — они поспешили назад, мимо мутного зеркала в поблескивающей искрами раме, по винтовой лестнице в подвал, узким коридором к выходу, серебряно и неподвижно озаренному луной. Выстрелы били внизу, на лесопильном заводе, Щечков исчез куда-то, и Севастьянов наугад побежал через знакомый пролом забора вниз, на звук выстрелов, к событиям. Он бежал по схваченному ночным морозцем переулку между низенькими домиками, рядом бежал догнавший его Щечков и азартно говорил на бегу:

— Вы поняли нашу стратегию, у них подземный ход аж до Пильщицкой, они нас тут отрезали, а мы их встретили с того конца!

Пока они бежали, луна ушла за тучу, стало темно. Стрельба удалялась, она была уже на невидимом берегу, у невидимой реки, справа и слева и все дальше и дальше... Час спустя на Мариупольском перед домом Хацкера построилась окруженная конвоем шпана, которую захватили при облаве. Их построили парами, и они стояли в настороженной недоброй покорности. Они закуривали; зажигалка освещала черные, как у угольщиков, лица и чудовищные космы. Только несколько человек было задержано хорошо одетых и чистых, то были главари, аристократия *малины*; их увели отдельно, среди них, кстати сказать, обнаружился знаменитый Королек, рецидивист, которого искали по всей России.

Об этом ночном деле Севастьянов написал очерк, и туда он вставил свое предложение, мысль, которая пришла ему в голову, когда он днем, перед облавой, приходил поглядеть на дом Хацкера. Он предложил устроить субботник и очистить от хлама это темное место, а затем отстроить дом заново, силами профсоюзов, на кооперативных началах. Очень дружно была подхвачена эта мысль, и уже недели через две начались работы, они продолжались много дней, выходили на них предприятиями и целыми профсоюзами. До самых глубин разобрали бандитское гнездо. Заделали подземный ход. Очистили двор. Нашли склады награбленного — одежду, меха, женские сумки, мужские бумажники, золотые вещи, в том числе золотые зубы; револьверы всевозможных систем и огромное количество часов, ручных и карманных.

Вечером того дня, когда был напечатан очерк о доме Хацкера, вдруг пришли Зои.

— Ты подумай, он цел и невредим! — сказала большая.

— Неужели цел и невредим? — спросила маленькая.

— По-моему, да, — сказала большая.

— Да не может быть! — сказала маленькая.

— Здравствуй! — сказали обе и протянули теплые руки.

Такие свежие они были и оживленные, — Севастьянов вдруг обрадовался им как сестрам.

— Почему вас удивляет, что я цел и невредим?

— Мы думали, тебя бандиты подстрелили, — сказала большая.

— Мы были уверены, что ты весь продырявлен пулями, — сказала маленькая.

— Такими ты расписал красками.

— Да уж, знаешь! У тебя там столько стреляют — просто удивительно, что кто-то оттуда ушел живым.

Глаза у Зойки маленькой сияли и смеялись.

— А где же Сема? — спросила она. — Мы, собственно, зашли его навестить.

Она положила на стол кулек с апельсинами.

— Он в клубе, наверно, — сказал Севастьянов. — Он уже на работу ходит.

Он не понял ничего. Честно поверил, что они пришли проведать больного Семку, а он, Севастьянов, лицо в данном случае второстепенное и неважное, случайно оказался дома и подвернулся под их шуточки.

«И знаешь: я не виню себя, что верил честно; таков я был тогдашний и не могу себя в этом винить. Что ты мне сказала, то я и принимал на все сто процентов; к Семке — значит к Семке, какое могло быть сомнение. Мужской самоуверенности во мне ни капли не было; и хоть жизнь с детства, случалось, била без жалости и тыкала во что угодно, но душой я был доверчив; очень! Откуда было взять мне столько самоуверенности и самодовольства, чтобы подумать, что ко мне ты бежала в женской тревоге, бежала увериться собственными глазами, что я жив-здоров, не ранен, не поцарапан? Подумать, что мною зажжено и ко мне обращено твое сияние?.. Как мне, маленькая, осудить себя за доверчи-

вость? За то, что видел в твоих словах только один смысл, а второго смысла не искал? Таким я был и, значит, иным быть не мог, не с чего было мне быть иным...»

Зоя большая улыбалась, глядя на них, сидела и улыбалась ласково и весело, она стала прямо-таки неправдоподобно красивой. Севастьянов сказал невольно:

— Ты ужасно красивая стала.

— Да, — подтвердила Зойка маленькая и посмотрела на подружку долгим взглядом, — она невозможно красивая. Ей трудно жить, до того она красивая.

— Глупости, — сказала большая Зоя. — Почему трудно, наоборот... Знаешь, Шура, я буду учиться в балетной группе.

— Ее принимают за красоту, — грустно сказала маленькая.

— Да, — беспечно сказала большая, — у меня нет способностей. Не понимаю почему, ведь вальс, например, я танцую неплохо, и походка у меня легкая, правда? А они говорят — нет способностей. Но все равно принимают. А ты говоришь — с красотой трудно жить.

Она вытянула ноги и поиграла кончиками туфель. Длинные ноги в туго натянутых черных чулках...

...Длинные голые ноги в балетных розовых туфлях. Ленты развязались на туфле. Зоя большая сидит на полу и, вытянув длинные голые руки, завязывает ленты. Она аккуратно скрещивает их на щиколотке и продевает в петельку, и по ее сосредоточенному блестящему взгляду и приоткрытым губам видно, до чего ей нравятся эти розовые туфли с лентами, как она ими восхищена и занята.

Ее темные кудри убраны в сетку, вместо платья на ней балетная пачка, накрахмаленная коротенькая пачка из белой марли. На голой нежной спине цепочкой проступают позвонки.

— Я буду танцевать характерные, — говорит она Зойке маленькой и Севастьянову, стоящим над нею.

Это происходит в клубе совторгслужащих. Пол, на котором сидит Зоя, завязывая ленты на туфельке, — не просто пол, а серый пустынный настил театральной сцены. Горит висячая лампа в колпаке из жести, конус ее света устремлен на них троих. В квадратном окошечке в глубине сцены, под потолком, мутно голубеет дневной свет. Там, под потолком, путаница деревянных перекла-

дин, канатов и блоков, внизу — плоская серая гулкая пустыня, а занавес поднят, и пустой темный зрительный зал смотрит на сцену, отсвечивая в темноте лакированными спинками стульев.

Как Севастьянов там очутился? Кажется, Зойка маленькая его привела. Кажется, большая Зоя зазвала их — покрасоваться перед ними в новых одежках и новой увлекательной обстановке. С этой сцены она собиралась показывать себя, чтобы оттуда, из зала, на нее смотрела тысяча глаз.

Зойка маленькая сказала, поеживаясь, — было знобно даже в пальто:

— Ужасно неудобно!

Даже в пальто было холодно, а Зоя большая сидела у их ног в пачке, полуобнаженная.

— Неужели тебе нравится? — строго и огорченно спросила у нее маленькая.

Большая покончила с завязками и поднялась, легкая, во весь рост. Бесшумным шагом шла она рядом с Севастьяновым и Зойкой маленькой, показывая им сцену, артистические уборные, задние комнаты клуба, закрытые для публики. С ребячьим простодушием она хвастала тем, что она тут свой человек, не посторонняя. Ее брат служил здесь завхозом, он помог ей устроиться в балетную группу, не так-то просто было туда попасть. Это был самый богатый клуб в городе, бывший театр «Буфф».

Они всходили по отвесным лесенкам, заглядывали в люки, приостанавливались перед развешанными полотнищами и реквизитом, на мгновение заинтересованные то макетом бронемашины, то декорацией, изображавшей средневековый замок, то настоящей, вышитой темным серебром церковной хоругвью, попавшей сюда из какой-нибудь закрытой церкви.

Потом большая Зоя приоткрыла перед ними дверь в комнату, где десяток белых пачек и два десятка розовых туфель под звуки рояля делали одинаковые движения и молодеватый голос считал: «... и раз и два и три и...» Потом Зоя сказала, что ей тоже надо идти заниматься. Она стояла на площадке, пока Севастьянов и Зойка маленькая спускались по белой лестнице в вестибюль. Сумерки надвинулись, окно на площадке было как синькой подсиненное. Севастьянову вспомнилось, как она стояла на другой площадке, у другого окна, черного

от грязи, какое у нее было узкое детское пальтишко и кроткие встревоженные глаза и как он поднял ее платочек...

Он вышел с Зойкой маленькой из клуба и наткнулся на Спирьку Савчука, тот стоял у самой двери, читая афишу.

— Здоров! — дружески сказал Севастьянов. Но Спирька сделал вид, будто не видит их, повернулся к ним спиной и пошел прочь.

— Не трогай его, — сказала Зойка маленькая. — Он сходит с ума от ревности.

— К кому?

— Ко всему миру и к нам с тобой в том числе.

— Почему к нам с тобой?

— Ты же знаешь, как он относится к Зое.

— Ну да; но при чем тут мы с тобой?

— Он ведь понимает, что мы идем от Зои.

— Так что ж такого?

— Ровно ничего; но он ненормальный.

Они поговорили о ревности и осудили это собственническое чувство, унижающее человека.

— Чудовище с зелеными глазами, — сказала образованная Зойка.

— Буржуазная отрывка, — сказал Севастьянов.

Впрочем, они дружно пожалели беднягу Спирьку, прикованного в сумерках к клубной афише. Их изумляло, что этот самолюбивый задиристый парень, левак и драчун, в любви оказался таким слабым и отсталым, таким — до огорчения — мещанином. Вместо того чтобы гордо отойти раз и навсегда, он отрывался от большой Зои и опять возвращался, грыз ее, ссорился с ней, мирился и умолял идти с ним в загс. Он не просто добивался взаимности, ему загс непременно понадобился, ему требовался законный брак.

Ревность ли была тому причиной или что другое, но ужасно высокомерно стал держаться Савчук с ребятами из прежней своей компании. Они теперь с ним встречались редко; но каждому в эти встречи он норовил сказать что-нибудь неприятное — с удовольствием говорил, со злобой.

Леньке Эгерштруму он сказал, что рабочие посадочной мастерской, собственно говоря, не пролетариат, а кустари, собранные под одной крышей: у них и мироощущение индивидуалистическое, и образ жизни обывательский. Ленька Эгерштром, комсомолец, у которого старший брат был коммунист, обиделся насмерть.

Семка Городницкий старательно делал свое дело, он боролся со скаутизмом. Многие пионервожатые в недавнем прошлом были скаутами, и они протаскивали скаутские методы в работу, а Семка Городницкий, как инструктор губбюро ЮП, с этим боролся. Он не знал, как *надо* работать, — пионерская организация была только что создана; вряд ли сам он сумел бы руководить отрядом, если бы ему это поручили: но как *не надо* работать — это он своей комсомольской головой понимал и, когда был здоров, не шадя себя мотался по пионерским сборам, выискивая, не пахнет ли где вредным скаутским духом. И это его рвение Савчук тоже обхамил, сказав, что Семке из самого себя еще надо вытравить классово-подозрительные вкусы и привычки, прежде чем учить других революционной линии поведения. Семка побледнел и не нашелся, что ответить, а Спирька смотрел на него с жесткой усмешкой на желтом желчном лице малярика.

С гвоздильного завода Спирька ушел и работал на плужном, где секретарем комсомольской ячейки был Ванька Яковенко. Они сблизились: раздражительный непримиримый Савчук и аккуратный, выдержанный, дисциплинированный Яковенко. Что они нашли друг в друге общего?

Раз вечером Севастьянов их обоих повстречал у Югая, в общежитии для ответственных работников. Общежитие помещалось в бывшей гостинице; там были длинные коридоры и нумерованные двери; по коридорам ходили, размахивая швабрами, уборщицы в красных платочках. Здесь жили неженатые, жили и бездетные пары. Подходя к комнате Югая, Севастьянов слышал громкий разговор, выделялся Спирькин голос. Севастьянов вошел — они замолчали, поздоровались рассеянно. Кроме Спирьки, Ваньки Яковенко и самого Югая, тут была Женя Смирнова, она сидела на кровати и курила, пол у ее ног был засыпан пеплом. Севастьянов спросил:

— Вы чего, ребята, замолчали?

— Мы о будущем говорили, — сказал Яковенко, — фантазировали. Ты Елькина слушал? — Елькин читал по

клубам лекции о бытовом раскрепощении женщины, бытовых коммунах, общественном воспитании детей и свободе любви.

— Нет, не слушал, а что? — спросил Севастьянов. Будущее живо его интересовало. И он устроился, как мог, на спинке кровати — больше сесть было некуда.

— Так, у нас насчет хрустального дворца голоса разделились, — улыбаясь ответил Яковенко. — Савчук и Женя за хрустальный дворец, а мы с Югаем за что-нибудь попрочнее.

— Иди ты с хрустальным дворцом, — проворчал Спирька.

— А почему не хрустальный? — спросила Женя. — Почему, действительно, не приучать человека к прекрасно-му с малых лет, Елькин прав.

— Я у батьки с матерью без хрусталя живу, — заметил Яковенко, — и ничего.

У него было ясное красивое лицо и серые холодноватые глаза, весь он был такой основательный.

— В семье ребенок растет собственником, — сказала Женя, стряхивая пепел с папиросы. — *Мой отец, моя мать* — с этого он начинается. Дальше — больше: *моя книга, моя коллекция*. С хрусталем, без хрусталя, все равно ему прививают эти инстинкты. В большей дозе или меньшей, но прививают. Кроме того, он вынужден приспособливаться к взрослым и врать им. Можем ли мы — даже в пионерской организации — вырастить его стопроцентным коммунистическим человеком?

Севастьянов прикинул: было ли у него когда-нибудь собственническое чувство по отношению к родственникам? Он, когда был маленький, удирал от них на улицу, там была вся его жизнь, весь интерес, а они хоть и попрекали его этим, но в глубине души были довольны, что он не путается под ногами. Врал он им, конечно, порядочно... Да, возможно, он был бы лучше, если бы его вырастили в хрустальном дворце, без участия тети Мани и дядьки Пимена.

— А сад возле дворца будет? — спросил он.

— Разумеется, — ответила Женя, — сад, площадки, лодки, все условия... Но насчет посещений Елькин перегибает. По воскресеньям надо разрешить родителям проведывать детей.

— Воскресений не будет, — сказал Севастьянов.

— Ну да, то есть по пролетарским праздникам.

— Пролетарских праздников, наверно, тоже не будет, потому что пролетариата не будет. Классов не будет.

— Ну да. Ты понимаешь, что я хочу сказать. Какие-то дни отдыха ведь останутся... Ах, ну да. Поскольку труд перестанет быть тяжелой необходимостью — может быть, не будет и дней отдыха? Поскольку не от чего будет отдыхать...

Югай и Спирька Савчук сидели хмурые по углам и молчали. Яковенко, сцепив руки на колене, осторожно поглядывал то на одного, то на другого. А между тем, подходя, Севастьянов слышал их спорящие голоса. Тут дело не в воспитании детей, подумал он; в другом чем-то. Не для того ли Женя Смирнова так словоохотливо все это говорила, чтобы разрядить конфликт, нависший в воздухе?

— Но если родители, — сказала она, — станут посещать своих детей в любое время, неорганизованно, когда кто захочет...

— Женя, — прервал Яковенко нетерпеливо и рывком расцепил руки; но тотчас подобрался и заговорил спокойно, твердо глядя Жене в глаза своими серыми глазами: — Ты можешь успокоиться. И ты, и Елькин. Никто не захочет посещать своих детей, из вашей же установки это вытекает. У вас какая установка? Что у родителей совсем не будет представления, что вот это мой ребенок, а это чужой. Значит, не будет и чувства, что ему обязательно нужно видеть своего ребенка. Он же, по вашему тезису, и знать не будет, что такое свой ребенок. Этот инстинкт у него отомрет. Для него все дети будут одинаковы.

— И что же, и очень хорошо, — сказала Женя. — И ты очень ошибаешься, что он не захочет их видеть. Он будет проводить всех детей вообще, как коллективист. Ты заметь, как взрослые любят смотреть на детей. Как они с тротуара смотрят, когда идет отряд. Или когда детский садик выводят гулять... Разница в том, что чужие дети станут каждому еще ближе, потому что он не должен будет думать, например, что у него где-то дома лежит собственный больной ребенок.

— Но большой вопрос, — возразил Яковенко, — скажет ли он тебе за это спасибо.

— Большой вопрос, — медленно сказал Югай, — что он вообще скажет, трутень, выросший под колпаком в хрустальном дворце. Он такое может сказать, что ого!

— Что вы к хрустальному дворцу привязались! — крикнул Спирька. — Я дворец не в том смысле привел! Я в том смысле, что рабочий класс за свою кровь и страданья обязан получить все самое лучшее, вот!

— Спокойней, — сказал Яковенко, — а то все общежитие сбежится.

— Это что за категории такие христианские, — спросил Югай, — это что за евангельские слова: страданья! Не отучишь вас мыслить рабскими понятиями. Еще скажи: мученический венец.

Он был по-домашнему — в рубашке, заправленной в брюки, в расстегнутом вороте рубашки виднелись жесткие смуглые ключицы.

— А что, крови не было, да? — спросил Спирька. — Девятое января не отмечаешь, да? При чем тут Евангелие?

— При том, что пролетариат России капиталистическую гидру положил на лопатки! — сказал Югай. — И это самый грандиозный факт истории, а наши пропагандисты, как попы, ноют про страданья и кровь! Сколько лет в одну дуду: кровь, кровь.... Проливалась рабочая кровь. Боролись, ну и проливалась. И еще прольется.

— Как будто может быть борьба без крови, — заметил Яковенко.

— Подумаешь, без хрустального дворца коллективиста не вырастить! — продолжал Югай. — А революцию кто делал, индивидуалисты?! Коллективисты в борьбе растут, а не во дворцах.

— Именно! — сказал Яковенко.

— Люди задыхались в атмосфере царизма и строили в мыслях хрустальные дворцы. Это символ, хрустальный дворец, ясно тебе — символ жизни при коммунизме! А мы решаем практические задачи. Нам вот нэп приходится проводить, чтоб наши завоевания прахом не пошли. Мы от капитализма в богатое наследство миллион болячек приняли. У нас хозяйственники не хотят молодежи квалификацию давать, у нас малограмотными комсомольцами пруд пруди! Прихожу в губком — сидят-ждут ребята из станицы, за помощью приехали, разваливается у них ячейка. Я еду с ними, приезжаем — их секретарь венчается в церкви с кулацкой дочкой...

Югай стоял, говоря, и Женя Смирнова смотрела на него снизу вверх, закинув румяное лицо.

— Ты говоришь — получить. — Губы Югая двигались, как замороженные. — Что значит получить? Тебе прине-

сут, а ты соблаговолишь — получишь? А кто тебе должен принести? От кого ждешь?

— Марксистская постанoвка, — одобрил Яковенко

— Ждут иждивенцы, — сказал Югай.

— Вы меня задвинули в иждивенцы, — сказал Спирька, — вы мне надавали по рукам, не знаю за что. Кому бы надо надавать, тем вы не надавали.

— Пора подковаться как следует. Все съезжаешь на какие-то, черт тебя знает, мелкобуржуазные позиции

— Югай, ну хватит тебе! — сказала Женя. — Мы говорили, будет ли семья при коммунизме.

— На мелкобуржуазные, я? — переспросил Спирька.

— Надо читать, Савчук. Полдюжины слов твердишь три года и думаешь — это политика. Ленина читать надо.

— Я стою на революционной позиции! — крикнул Спирька. — Это вы съезжаете, вы за рабочее выдвижение не болеете, вы чужаков напустили полный аппарат!

— Конкретно! — сказал Югай.

— Спокойно, — повторил Яковенко и взял Спирьку за локоть.

— А ты не знаешь! — выдернув локоть, крикнул Спирька Югаю. — Рабочая масса говорит, а ты не знаешь! Кто в деткомиссии?! Спекулянты туда напхались, дела делают! В совнархозе кто коноводит?! Спецы коноводят!

— Совнархоз и деткомиссия комсомолу не подчинены, — сказал Югай. — Нас знаешь как встречают, если мы залазим в совнархоз.

— Пролетарок в секретарши не берут, а берут инженерных жен! — кричал Спирька. — В политпросвете барыни заседают под видом педагогов!.. А, да ну вас! Пошли, Яковенко! О чем говорить!

Он вышел, швырнув дверь.

— А Елькина надо посмотреть, что за Елкин, — сказал Югай. — Морочит голову, отвлекает молодежь от текущих задач. Елькина наши руки могут достать.

— Савчук, безусловно, не прав во многом, — сказал Яковенко, твердо глядя Югаю в глаза, — ему, безусловно, надо подковаться, бросить комчанство и так далее. Но все-таки трудно объяснять ребятам, почему рабочий Савчук, комсомолец с двадцатого года, организатор и так далее, — почему он только член бюро ячейки, ну жели не выше ему цена в глазах комсомола.

— Пусть работу покажет и дисциплину, — ответил Югай. — Демагогию его мы видим с двадцатого года.

— Трудно объяснять, — повторил Яковенко, — и, откровенно говоря, это многих ребят расхолаживает.

Он попрощался тем не менее приветливо. Севастьянов вышел с ним. В конце коридора поджидал Спирька, расхаживая взад и вперед.

— Валерьянку пей, — сказал ему Яковенко. — Очень полезно для бузотеров. Ведь прав Югай: ни черта не растешь, болтаешься хуже беспартийного. Чего тебя понесло отстаивать Елькина? Нашел кого отстаивать. А главное, все можно сказать спокойно.

Спирька будто не слышал, он мрачно смотрел на Севастьянова и сказал:

— А ты теперь, значит, в интеллихэнтах ходишь. Отдыхаешь от рабочей лямки.

И насмешливо покивал чубатой головой. Но Севастьянов отбил нападение, сказав:

— Ладно, ладно. Ты эти штучки брось. — Он так был уверен в своем пути, что Спирькин выпад не задел его нисколько.

25

Железные морозы, небывалая стужа.

В оконевший январский день в типографии печатают сообщение в черной траурной раме. Оно расклеено на домах и заборах, люди подходят и в молчании прочитывают эти листки с крупными жирными буквами, стоят и читают, окутанные паром своего теплого дыхания. И газета выходит в трауре — черной рамой обведена первая полоса.

Умер Ленин.

26

Они стояли на углу, просвистываемые ледяным ветром, выбивали дробь ногами в жиденьких ботинках, зуб на зуб не попадал, — и говорили: каким он был, Ильич. Они его не видели. Югай видел его на Третьем съезде комсомола. Но так громадно много значил Ленин в их жизни. Не только в минувшие годы, но и в предстоящие, и навсегда значил он для них безмерно много. Всегда он будет с ними, что бы ни случилось. Так они чувствовали,

и это сбылось. И, соединенные с ним до конца, видя в нем высший образец, они желали знать подробности: как он выглядел, какой у него был голос, походка, что у него было в комнате, как он относился к товарищам, к семье. И все говорили, кто что знал и думал.

Один говорил: настоящий вождь, настоящий характер вождя. Это надо уметь — так прибрать оппозиционеров к рукам и предотвратить раскол. Другой рассказывал, что кто-то ему рассказывал, что однажды Ильич при таких-то обстоятельствах так-то пошутил. Третья сказала задумчиво:

— Он незадолго до смерти елку устраивал для крестьянских ребятишек там, в Горках.

— Его в семье Володей звали, — заметил кто-то, и всех удивило это обыкновенное имя мальчика — Володя, отнесенное к тому великому, который лежал за тысячу снежных верст от них в Колонном зале.

— Исключительный ум, организационный гений, верно, — сказал еще один, — но самое главное в нем, ребята, это преданность идее, он одной идее отдал жизнь, он шел к цели железно.

— Он иначе не мог, — сказал Севастьянов, подумав, — у него все чувства очень большие. Отсюда и шел железно. Он не может быть преданным немного, не в полной мере. Он уж если предан, то совсем предан.

Они ещё не привыкли говорить о нем в прошедшем времени, сбивались на настоящее.

Это они заговорились, идя с траурного собрания, прежде чем разбежаться по домам, воротниками прикрывая уши. На ветру тяжело хлопали флаги. Вечером они были совсем черными.

27

На траурном собрании, как сейчас вспоминается, за столом президиума висел маленький портрет Ленина, обвитый красной лентой и черной.

Собрание еще не началось — ребята входили и рассаживались, — как двое внесли, бережно поддерживая с двух сторон, большой портрет Ленина в широкой полированной раме, вверху на раме был герб СССР. Они сняли маленький портрет с лентами и повесили на его место новый большой портрет. Ленин был на нем госу-

дарственный, строгий, без прищуря, со взором раскрытым и вопрошающим.

В те дни вместе со многими другими рабочими, молодыми и старыми, Яковенко и Савчук вступили в партию.

В губкоме решили: Яковенко по своим способностям должен быть использован на работе крупного масштаба.

— Пора, брат, пора! — сказал Югай. И Яковенко уехал в Москву на курсы ЦК комсомола.

28

— Хочу я, — сказал Кушля, — открыть тебе одну вещь, потрясающую вещь, полный, понимаешь, кавардак в моей личной жизни.

— У тебя, по-моему, уже давно полный кавардак, — заметил Севастьянов.

— Нет! — сказал Кушля, торжественно подняв руку. — Не будем, дорогой товарищ, играть словами по такому поводу. Тут не годится играть словами. Тут начинается, понимаешь, такое, куда входить надо, скинув шапку.

И, как всегда в порыве возвышенного чувства, глаза его заблестели от слез.

— Мои отношения с Ксаней, — продолжал он, — это святое дело. Мы с ней на пару такой путь прошли, в таких переделках побывали, что ни в сказке сказать. Ты бы знал!.. Которые не воевали, что вы знаете! Таких мук Исус Христос не терпел, как мы терпели. Он за три дня отмучился... Сыпняком я, например, болел на тихорецком вокзале. Лежу с громадной температурой прямо на полу, и прямо по голове сапоги день и ночь — бух! бух! Вот этой самой шинелью укрыт был. И под эту самую шинель подлегла ко мне Ксаня — не там на вокзале, а возле Великокняжеской. Лег спать один, а проснулся в компании, она говорит: глаза, говорит, твои голубые! Да... И смотрю — уже свои манатки волокет и с моими складывает. Где ж ты денешься!

Кушля помолчал.

— С тех пор мы с ней. Куда я, туда она. У ней ни родни, никого. Родня-то есть, да сплошная контра, не нравится им, видишь, гадам, ее жизнь, тряпкой не помогут! Мои дядьки маргаритовские тоже, между прочим,

на меня зубами скрежещут, они б меня поставили приказчиком в свою кулацкую лавочку, тогда б я им как раз подошел, да!.. Но я на них плевал, я устроился на ответственную должность, а Ксаня мыкается, понимаешь, — из одной больницы уволили, из другой уволили. А считалось — она неплохая сестра, нет, неплохая! Характер, что ли, испортился, кто его знает...

Севастьянову понятно было, почему Ксаня не ужилась ни в одной больнице. «Да ты погляди на нее как следует, — сказал бы он Кушле, если б не было неловко, — какая она сестра!» В невытой гимнастерке, с блеклыми прядями невытых волос вдоль тусклого угрюмого лица, с шелухой от семечек на губах, она вызывала желание держаться подальше; а тяжелый взгляд исподлобья пугал, наводил на мысль, что она ненормальная. Двигалась еле-еле, будто спросонок. Куда такую в больницу? Да вряд ли Ксаня и хотела работать. Кушля давал ей из полочки сколько-то — ей хватало. Хватило бы и меньше. Одними бы семечками была сыта, лишь бы не отрываться от Кушли надолго. Ни хлеб ей не был нужен, ни одежда человеческая, ни люди: только Кушля. Впервые за свою небольшую жизнь наблюдал Севастьянов такое поглощение человека человеком; такое растворение, исчезновение одного человека в другом. Смотреть на это было даже страшновато. «Где же тут дружба, — думал Севастьянов, — где равноправие, это на смерть похоже. Он ее не любит и никогда не мог любить, она же больше ничего не умеет, кроме как всех вгонять в тоску».

— Такие святые отношения, — сказал Кушля, — не могут пострадать от какого-нибудь пустяка. От того, что Лиза меня полюбила, — от этого не пострадали наши с Ксаней отношения. Ведь с Лизой получилось как: она полюбила очень сильно. Но на сегодняшний день и с Лизой отношения — тоже святыня, сам догадайся почему... Вот ты молодой, а имеешь привычку судить людей, ничего не зная. Не говори: имеешь. Ты и Лизу судишь, — не говори: я вижу, что судишь. А ведь вот не знаешь, что она с двумя сестрами в одной комнате живет, а аборт делать не стала. Радуетя, понимаешь, как самому большому счастью... Это нехорошая у тебя привычка — судить не зная; ты отучайся. Тут тяжелая драма, а ты говоришь «кавардак».

— Ты сказал «кавардак».

— Тяжелая драма. И теперь скажи: как я должен выходить из этого положения?

— Не знаю! — чистосердечно ответил Севастьянов.

— Вот и я не знаю. Я спать перестал, веришь? Что-то надо решать одно, верно? Прежде я смотрел чересчур легко. Я смотрел со своей мужской колокольни. А ну их, думаю, разберутся как-нибудь! Сами ведь заварили кашу... Но когда я почитал, понимаешь, кое-что и сам стал писать кое-что, и познакомился с тобой, и с Семой Городницким, и с вашими замечательными культурными девушками, — я стал расти, ты, наверно, заметил. Я за этот год вырос исключительно и не могу смотреть с мужской колокольни. Лежу ночью и думаю — как же я Ксаню брошу, это ж я ее убью? А с другой стороны — как сына оттолкнуть, представляешь?! Кручусь, как рыбешка на сковороде, пока трамваи не пойдут, тогда высыпаю немного.

Он прошелся, чтобы унять свое волнение.

— Я на ваших девушек смотрю и думаю: что ж такое значит, что на меня за всю мою молодость не пришлось нисколько чистоты этой и нежности... Ведь чистота — это хорошо, над этим только сволочи смеются, верно?

— Верно.

— Что ж такое, думаю, что, например, Лиза, не спросившись, ко мне подошла, под руку взяла и повела куда хотела, а, например, Зойка маленькая в жизнь не подойдет?.. Да, дорогой товарищ, уже — все; уже никогда не будет мне этой любви воздушной, про которую читаем в хороших книгах.

— Ну почему, — сказал Севастьянов, — может, будет еще.

— Нет! — сказал Кушля. — Чего не будет, того не будет! Это — судьба мимо меня пронесла. Журналистом стану безусловно, будь уверен, а насчет любви — нет! Тут при распределении не учли меня, что ли. И возражать особенно не приходится, поскольку жизнь далеко еще не достигла своей высоты. Поскольку дерьма еще горы кругом невывезенного. Но мы его вывезем, дорогой товарищ, с помощью нашей прессы! Мы нашу жизнь подыдем на должную высоту!

— Слушай, — сказал Кушля, — я тебе эту картину описал, как я в Тихорецкой на вокзале, на каменном полу. Открою глаза — надо мной сапоги шагают — туда, сюда! Дверь не закрывалась ни на одну минуту. Холодом меня

охлестывало на полу, как ледяной водой, январь это был. Скажи: как я жив остался? Уж не говорю о ранениях. Сколько крови моей утекло в землю. Я умирал несчетно раз. Я все, понимаешь, про это знаю — как умирает человек; что у него делается с руками, с печенкой, селезенкой, сердцем... И все ж таки жив, ты подумай. И теперь...

В глазах у него ярко заблестели слезы.

— Теперь будет сын. Мой сын, понимаешь? Глаза мои, волосики... А может, на Лизу будет похож, тоже ничего, она ведь ничего, верно? Симпатичная, верно? Не в том дело, на кого будет похож, а в том, понимаешь, — ты подумай, какая жизнь у него будет, что я, отец, ему завоевал. Он же родится — где? — в Советской республике, а не в рабстве, как я был рожден. Уж у него — будь покоен! — все будет, чего у нас с тобой не было. Уж он все получит, чего мы, отцы, в нашей молодости и не слышали, только сейчас и узнаем, как дикари. Ему не придется в сыпняке на вокзале, — да и болезней, думается мне, не будет, когда он подрастет. Уничтожим и болезни — ничего, я считаю, не будет на его светлом пути, ни сучка ни задоринки...

Окно комнаты, в которой жили Севастьянов и Городницкий, смотрело во двор. С четырех сторон двор был обставлен домами — заключен в кирпичную коробку.

Опять наступила весна. Севастьянов и Городницкий отворили свое окошко и больше не затворяли, и жизнь двора перла к ним в комнату.

Во дворе, лепясь к стенам, дыбились зигзагообразные железные лестницы, одна — прямо напротив окошка. Почти непрерывно раздавался металлический перестук, по железным ступенькам сбегали ноги, потом появлялась фигура, потом голова, или наоборот: вслед за грохотом ступенек показывалась голова, затем плечи, постепенно вырастал человек в полный рост.

Все было преувеличенно громко. Каблуки по булыжнику цокали, как копыта. Собака лаяла внизу — будто здесь, в комнате. Удар детского мяча был как выстрел из револьвера.

Когда въезжал во двор фургон с молоком или выезжала телега с пустыми бутылками — лошади фыркали,

бутылки дребезжали и возчики ругались прямо в ухо Севастьянову и Городничкому.

Фургоны, бутылки, возчики — это относилось к кафе «РенOME инвалида».

Хотя Севастьянов и Городничкий уже не столовались в кафе, но инвалиды сохранили к ним добрые чувства. Инвалиды были люди и все прекрасно поняли. Встречаясь со своими бывшими клиентами, они здоровались по-родственному. Они то и дело проходили по двору в своих белых курточках.

Направо внизу была дверь: две створки, выкрашенные в мутно-коричневую краску, исцарапанные; дверь без крыльца — выходила прямо на булыжник. Почти всегда она была открыта, за нею виднелась темнота: как в пещеру вход. Красавица овчарка лежала на пороге, царственно вытянув шелковистую сильную лапу, и янтарными глазами следила за проходящими по двору.

За этой дверью помещалась кладовая кафе «РенOME инвалида», и там же где-то в пещерном этом мраке обитал Кучерявый, кладовщик.

Он тоже носил белую куртку. Чаше других инвалидов хромал он через двор — то к черному ходу кафе, то к погребу, и всякий раз большим ключом отмыкал замок на погребе, и всякий раз тщательно этот замок навешивал. Даже с третьего этажа было видно, что у него спина (в белой куртке) как подушка, а волосы — как матрацные пружины.

Под торчащими вверх пружинами — пухлое белое лицо, похожее на ком теста, со вздутиями и вмятинами, как на сыром тесте, с узким бледным ртом и неожиданными глазами — маленькими, темными, живыми, небрежно-рассеянными, словно Кучерявый что-то очень важное соображал и прикидывал в уме, и нимало этот занятой и отвлеченный ум не участвовал в кладовщицких манипуляциях с мукой, маслом и прочими продуктами, а участвовало в этих манипуляциях только пухлое, мятое, нездоровое тело Кучерявого, напрашивающееся на некрасивые сравнения с тестом и подушкой.

У входа в свою пещеру он кормил собаку. С заботливостью старой хлопотуньи-хозяйки гнул, ставя перед ней миску с едой. Собака весело лакала похлебку и грызла кости, всеми движениями и игрой мускулов выражая наслаждение. Он давал ей сахар. Поднимал руку, и она

взлетала над ним в ликующем прыжке, длинная спина ее взвивалась серебряным огнем. И на третьем этаже было слышно, как хрустел сахар у нее на зубах. Диана, звали эту собаку.

Семка Городницкий привык к своей болезни. Всю весну его донимал кашель и слабость, — он эти явления игнорировал. Он не отвечал на вопрос: «Как ты себя чувствуешь?», справедливо считая его бесплодным и размагничивающим. Пионерская организация готовилась к лагерям, первым своим лагерям. Семка заседал и суетился вместе с вожатыми — физкультурными ногастыми парнями и полногрудыми стыдливими девчатами в красных галстуках. Суетился, и ему представлялось, что он такой же здоровенный, ловкий и проворный, как они...

Югай, обещавший выхлопотать ему путевку в Крым, ушел с комсомольской работы, был теперь секретарем Пролетарского райкома партии. Его место в губкоме комсомола занял Яковенко. Сдавая Яковенке дела, Югай не забыл сказать: «Городницкого отправить надо подлечиться, в подходящее какое-нибудь место, в Ялту, Алупку», — Яковенко сам рассказал об этом Семке; но раз за разом оказывалось, что путевка была, подходящая, в Ялту, в Алупку, но отдана другому товарищу, у которого больше прав на лечение и отдых, а Семке надо еще подождать.

Так у него обстояли дела, когда приехал Илья Городницкий.

Он свалился как снег на голову. Воскресенье, утро. Севастьянов и Семка по случаю выходного дня проснулись поздно и нежатся на своих койках, покуривая. В дверь стучат.

— Кто там? Да-а! — зевая откликается Севастьянов. В комнату просовывается по-утреннему нечесаная голова ведьмы. Слышен приближающийся смех, говор, шаги.

— Там пришел ваш папа! — говорит ведьма торопливо-испуганно и восхищенно. — И с ним какие-то... товарищи! — Она исчезает, на ее месте Илья Городницкий, он весело спрашивает:

— Можно?

Он стоит на пороге, высокий, тонкий, темнобородый — странна и красива темная борода на молодом лице, — за ним теснятся незнакомые люди, а он смотрит на Семку, поднявшегося в постели, и добродушно улыбается.

— Это Семка? — спрашивает он быстро. — Это в самом деле Семка? — Он приближается к кровати. — Это ты, Семка?

— Здоров. Илья! — отвечает Семка, больше всего озабоченный тем, чтобы его мужественный голос не дрогнул от волнения.

Илья обнимает брата.

— Какими судьбами? Надолго?

— Ты слышишь, Марианна, какой бас?

С Ильей пришло много людей. Они не входят в комнату, остаются в кухне, курят там и громко разговаривают. Только старик Городницкий тут как тут, вьется вокруг Ильи и сияет.

— Борода! Нет, борода! — восклицает он как пьяный. — Нет, Семка, ты посмотри — борода, ха-ха, борода!

— Марианна! — зовет Илья.

Женщина входит на его зов. На ней что-то серое и лиловое, она красива — белая нежная кожа, карие глаза, бледно-золотые волосы, низко на затылке уложенные узлом. Она тоже улыбается и тоже здороваётся, сначала с Семкой, потом с Севастьяновым. Здорово-таки неудобно сидеть перед ней в постели, с ногами, вытянутыми под одеялом; черт знает до чего неудобно. А у Семки к тому же на рукаве рубашки дырка, он страдает невыносимо.

— Он будет жить с нами. — говорит Илья своим мягким голосом.

— Конечно, — отвечает Марианна, — он будет жить с нами.

— Ты будешь хорошо с ним обращаться? — спрашивает Илья.

— Я буду хорошо с ним обращаться, — отвечает Марианна, улыбаясь.

— Она будет хорошо с тобой обращаться, — говорит Илья, обнимает Марианну за плечи и притягивает к себе. Она вспыхивает, она стоит как заря в этой комнате, полной разбросанных штанов, табачного тумана и солнца, светящего сквозь табачный туман.

— Борода, ха-ха! — кричит старик Городницкий. — Илья, ты молодец, прямо берешь бычка за рога! Бери его за рога, забирай его отсюда, — посмотри, что я тебе говорил, у него же щек совсем не осталось!.. Но, однако, дорогие, поторопимся. Софья Александровна ждет. Ты бы одевался, Семка. Я приведу извозчика...

— Фима! — зовет Илья. — Фима! — И так как в кухне не слышат, он идет туда и возвращается, ведя за пуговицу какого-то толстяка. — Фима, вот это мой брат Семен, его надо лечить, надо его в хороший санаторий.

— А что такое? — спрашивает у Семки толстяк Фима (после оказалось — заведующий губздравом). — Что у вас?.. Ничего, отправим, вылечим, Илья, Илюшка, слышишь, пусть он ко мне зайдет на прием!

Илья не отвечает, рассказывает, добродушно смеясь, как шел, приехав, по Старопочтовой и как соседи его узнали, несмотря на бороду... Он рассказывает весело, товарищи смотрят на него с любовью. Они ходят за ним толпой — куда он, туда и они, — потому что любят его, подумал Севастьянов. Каких-нибудь два часа назад он приехал, а они уже слетелись, уже они вокруг него. А женщина повторяет как эхо каждое его слово.

— Софья Александровна ждет, — втискивается в разговор старик Городницкий, — завтрак остынет, поторопимся, господа.

Он пугается, что сказал «господа». Но те, к кому он обращается, заняты друг другом, он не в счет в их компании, они не слушают, что он там говорит. Но он-то хочет быть в их компании! Он хочет говорить! Он не хочет молча стоять в стороне, как незваный! Ведь Илья приехал к нему! И он с отцовской строгостью обрушивается на Семку:

— Будешь ты одеваться или нет! В конце концов из-за тебя все остынет! Одевайся сию минуту!

Совершенно спятил старик: как бы Семка одевался при Марианне? Выцветшие глаза старика выкачены стеклянно и беспомощно. Губы дрожат. Илья приехал к нему с вокзала с чемоданом, тем самым признал своего отца, свою кровь, свой кров. Но это было на мгновение — вот Илья уже не с ним, вот он уже принадлежит своим товарищам, товарищам по подполью, по юности, по общей цели, общей склонности к шутке и смеху, а старику уж померещилось было, что его первенец, добившийся в жизни успеха, будет принадлежать ему, что люди уви-

дят — они рядом, отец и сын, в согласии и дружбе, они друг другу радуются, друг друга хлопают по плечам! Терзаясь от ревности, старик хлопочет, чтоб поскорей увести их к себе, в комнаты, где он хозяин, и усадить за стол — может быть, дело еще повернется в желательную сторону, ему дадут слово за его собственным столом, он поднимет рюмку за Илью, Илья предложит тост за отца, который его родил и-и, так сказать, воспитал — ведь как-никак до седьмого класса Илья жил в отчем доме... Скорей, скорей, хлопочет старик; задержка за Семкой. Сжимаемая в кулаки пухлые руки с коричневыми крапинками, старик наступает на Семку:

— Долго ты еще будешь сидеть!...

— Завтракать! Завтракать! — раздаются голоса. — Ефим, чур, накормить как следует, Рита ничего не умеет! — Товарищи, копчушки и редиска — этим даже Рита сумеет накормить. Пирогов, извините, не будет. — Копчушки, восхитительно, обожаю копчушки (это восклицает Илья), пошли, товарищи, — Семка, одевайся! — Марианна догадывается наконец, что ей следует выйти, и Семка вскакивает как встрепанный.

— Значит, ты тут жил аскетом, — мягко говорит ему Илья, — и наживал чахотку. А что случилось бы с революцией, если бы ты позволил этому старому буржую подкармливать тебя? Для тебя была бы польза, для старого буржуйя удовольствие, а революции наплевать, она, мой дорогой, не этим занята.

— Илюша, как же можно, — ужасным шепотом шипит старый буржуй, — как это можно?! Куда вы собираетесь, я слышать не хочу! Дома все готово, Софья Александровна...

— Ну что ты! — говорит Илья. — Товарищи условились, мы собираемся у Фимы. Там еще придут, куда ж к тебе.

— Пусть пятьдесят человек! — шепчет старик Городницкий, задыхаясь. — Пусть сто человек!

— Я, может быть, у тебя переночую. Завтра-послезавтра у меня будет квартира, а эту ночь я, возможно, переночую у тебя. Слушай — тебя надо привести в человеческий вид, что это за гадость, эта вывеска, меретка и зигзаг? Тебе надо работу, надо в профсоюз, надо, надо выводить тебя из этого состояния!

— Я надену твою новую косоворотку, — бормочет тем временем Семка Севастьянову.

— Валяй, — соглашается Севастьянов, сидя с вытянутыми ногами под одеялом.

Так он сидит, пока все не уходят. Старик Городницкий тащится за ними. Севастьянов одевается. Вот, значит, этот Илья Городницкий...

Что-то очень в нем привлекательное: в улыбке, в мягком голосе, в быстрой живой манере.

Зазнайства — ни капли. Как он закричал хорошо: «Копчушки, копчушки!» — невольно улыбнешься.

«Что это за гадость?» — без злобы спросил, с веселым любопытством.

Но, думает Севастьянов, должен же человек соответствовать своей биографии. Должен или не должен? Должен! А про Илью, если не знать, ни за что не скажешь, что у него такое прошлое: подполье, работа в ревтрибунале... Такая серьезная биография, а он так несерьезно себя держит. Все движется, не постоит на месте. Вертится на каблуках, словно танцует; тербит бороду. Зачем-то бороду отрастил, чудак... При всех обнимает свою Марианну. Говорит легковесно...

Революция, разумеется, не пострадала бы, если бы некий старый буржуй прикармливал некоего Семку Городницкого, хорошего комсомольца с туберкулезным процессом в легких. Но что случилось бы с революцией, думает Севастьянов, шнуруя ботинок, если бы все комсомольцы стали прикармливаться из буржуйского кармана, вот ведь в чем дело. Разве один Семка нуждается в прикорме?.. Человек с такой биографией не может ставить интересы личности выше принципа; это обмолвка.

Вечером Семка сообщает известия. Илья назначен к нам губернским прокурором. После своей книги он ожидал большого назначения в Наркомюст; но где-то что-то разладилось, разладилось настолько, что в Москве Илья не получил работы, его послали на периферию. Впрочем, он, по его словам, не собирается здесь засиживаться.

— «Мережки и зигзага» уже нет.

— Уже сняли?

— Сняли. Он велел. Этот его длинный приятель, — ты не видел, — Балясников из исполкома, — он обещал устроить батьку товароведом в ТЭЖЭ.

— Вот как, — говорит Севастьянов, и они умолкают. Обо всем этом надо подумать. Эта молниеносность в устройстве дел их как-то угнетает.

Через несколько дней Семка перебирается к брату. Провожают его Севастьянов, Электрофикация, Баррикада и несколько ребят в пионерских галстуках. Они связывают книги, за год книг у Семки стало вдвое больше, и дорожит он ими ужасно. Осторожно и ласково берет он их своими худыми пальцами. Его беспокоит, что ребята обращаются с его сокровищами недостаточно бережно, что веревка врезается в переплеты... Вдруг приходит Марианна.

— Вот хорошо, — говорит она, — я не опоздала, вы как раз собираетесь, Сема... Сема, я пришла сказать, пожалуйста, ни матраца, ни подушки, ничего этого брать не надо, там все есть, — и чем я могу вам помочь?

Помогать не нужно, и так в комнатушке не вернуться от книг и людей. Особенно много места занимают, дурачась и хохоча, Баррикада и Электрофикация. Марианну уговаривают посидеть в уголку, она сидит, подобрав под стул ноги, и смотрит с понимающей добродушной улыбкой, которую переняла у Ильи.

Она непременно хочет что-нибудь нести, и ей тоже дают маленькую стопку книг, чтобы она успокоилась.

Ватагой идут они по улице.

— До чего тепло, — говорит Марианна с радостным удивлением, — до чего волшебно тепло! Из Москвы я в теплом пальто уезжала. Там у нас по дворам еще лед не весь растаял. А у вас цветут акации.

Да, опять зацветает акация, перышки листьев на ней опять ярко-зеленые, бутоны как огуречные семечки, и уже раскрылись кое-где зеленовато-белые хрупкие цветы.

Идти недалеко, Илью и Марианну поселили в том самом общежитии отработчиков, где живут Югай и Женя Смирнова. На третьем этаже, в конце длинного коридора, Марианна отпирает дверь.

— Вот ваша комната, Сема.

Ну и комната, Севастьянов не видел в этом довольно-таки спартанском общежитии так великолепно обставленных комнат. Мало того, что на полу ковер, а на окнах и двери длинные синие занавеси, — здесь еще стоит мягкая мебель светлого дерева, обитая темно-синим сукном: диван и два кресла, а перед диваном круглый стол. И письменный стол, и на нем лампа в молочно-белом стеклянном абажуре. А за ширмой, нарочно отодвину-

той, чтоб можно было увидеть сразу, — кровать и мраморный умывальник.

— Ой! — иронически-почтительно говорит Электрофикация.

— Вам тут будет хорошо, правда, Сема! — восклицает Марианна. — К вам будут приходиться ваши товарищи, и всем хватит места!

Положим, когда приходили ребята, места хватало и в той их комнатухе, та комнатуха была прямо-таки резиновая.

Семка недоверчиво поворачивает вправо и влево свое горбоносое острое лицо. Он опускает связку книг на ковер, и все они следуют его примеру. Марианна взволнованно ждет, что он скажет. Она приготовила ему сюрприз, брату своего мужа, — пусть же почувствует ее родственную заботу, пусть восхитится, пусть ему будет прекрасно, как прекрасно ей! Все эти желания выражены в ее тревожной улыбке. Семка взглядывает на нее и говорит вежливо:

— Еще бы не хватило места. Спасибо.

По его голосу Севастьянов понимает (девчата, Баррикада и Электрофикация, понимают тоже), что Семка ошарашен роскошью нового жилища и колеблется — заявить протест немедленно или дожидаться Ильи. Но Марианна видит Семку второй или третий раз в жизни и не разбирается в оттенках его баса; ответ ее удовлетворил. Она с жаром обращается к ребятам:

— Пожалуйста, прошу вас, приходите чаще!

Это уж лишнее: это дело ребят и Семки, а вовсе не ее. Все немножко смущены этим взрывом любезности. У Электрофикации и Баррикады вытягиваются лица. Со времен политкурсов толстушки относились к Семке преданно: он был для них вершиной эрудиции и духовности, доступной индивидууму их возраста. Они считали за честь бывать в его обществе и радовались, если их дурачества и хохот заставляли его улыбнуться. Теперь, выходит, над ним будет хозяйкой Марианна: захочет — пригласит их к нему, не захочет — не пригласит... Толстушки отчужденно молчат, сжав румяные губы.

Марианна не замечает прохладного ветерка, пробежавшего между нею и остальными. Она занимает их как гостей, как своих гостей: ведет, показывает две соседние комнаты, где со вчерашнего дня живут они с Ильей. Отлично их устроили, правда? В Москве у них была одна

комната, и теперь Марианна не нарадуется простору. Вся мебель — казенная, они с Ильей ведь цыгане, у них нет ничего...

Она предлагает курить, приносит пепельницу.

Ей хочется дружеских, братских отношений с ними — она не притворяется, ей в самом деле хочется. Но она не знает, как этого достичь. Бедняжка.

В открытых окнах — вид на реку. Половодье почти спало. Два сонных паруса царят над ним, белый и черный. Белый — яхта из яхт-клуба; черный — рыбацья лодчонка. Баркасы шмыгают, шевеля веслами, во всех направлениях. Дальше, за береговыми вербами, еще стоящими в воде, — кремовая полоса песков. За песками, до горизонта — солнечно-зеленая вешняя гладь, усеянная рыжими и черными точками, — бессчетные стада на безбрежном пастбище.

— Почему нет музыки? — спрашивает Марианна, заглядывая ребятам в глаза (а они молчат). — У вас же катаются на лодках с гармонью, катаются и играют на гармонии, мне рассказывал Илья.

— Это по большей части в воскресенье, — объясняет Севастьянов. — На гармонии играют, а то наймут шарманщика и возят с собой, чтоб играл им целый день.

— Хорошо на том берегу, должно быть, — говорит Марианна, глядя не на тот берег, а на ребят.

— Да, — подтверждает Севастьянов. — На том берегу очень хорошо.

В заключение она их угощает конфетами из большой коробки, которые подарил ей Илья по случаю новоселья. И они уходят, оставляя Семку в новой блистательной жизни, с красивой женщиной, женой его старшего брата. В комнатку за кухней Севастьянов возвращается один.

На том берегу, на песках, рос кустарник, непышный, в рост человека, с долгенькими белесоватыми листьями, отливающими на солнце паутинной сединой; с неказистыми серо-сиреневыми мелкими цветочками, похожими на цветы картофеля.

Песок был раскаленный, сыпучий.

Они шли в волнах солнца, не глядя друг на друга.

Ему было страшно взглянуть на нее. Может быть, и ей было все-таки страшно.

Иногда на ходу, нечаянно, соприкасались их руки; но сейчас же он отстранялся, чувствуя ожог и холод вдоль позвоночника.

В спину им, уходящим, смотрели ребята.

А может быть, не смотрели, там у воды такой шумный поднялся разговор, когда они ушли вдвоем, — неестественно шумный.

Позади была река, усыпанная блеском, сотни лодок разгуливали по ней, гармошки и шарманки играли на лодках, как полагалось в воскресенье.

Они уходили все дальше, музыка играла тише, кустарник становился гуще.

32

Накануне вечером проводили Семку в Ялту.

А утром Севастьянов спал — один в комнате, как царь, — ребята ввалились и потащили кататься на лодке. Среди них была большая Зоя. Севастьянов спросил:

— А Зойка маленькая?

— У нее отец заболел, — ответила большая.

На набережной, у сходней, килем вверх лежали лодки. На них были написаны женские и мужские имена: «Нина», «Шура», «Муся», «Вова». Ребята взяли лодку и поплыли по сверкающей реке. Потом причалили к тому берегу, в нелюдном месте, чтобы привольней было купаться. И там она сказала, смеясь:

— Почему ты никогда не объяснишься мне в любви? Объяснись мне в любви!

Он спросил:

— Разве все обязаны объясняться тебе в любви?

— Все объясняются, кроме тебя. Ну правда! Ты один не объясняешься. А мы уже столько лет знакомы!

Балуясь, она настаивала:

— Ну, пожалуйста! Ну, какой!..

Он лежал на песке, а она приподнялась и стала на колени. Подняв руки, она ловила кудрявые пряди своих волос, разлетавшихся на ветерке, и пыталась упрятать их под косыночку. Прямо перед лицом Севастьянова были взвиты ее тонкие руки, розово-смуглые, длинные, прелестные девичьи руки. Севастьянов увидел маленькую

дышащую грудь под белым полотняным платьем и хрупкие выступы ключиц. Он увидел смеющиеся губы, лучики-морщинки на губах, каждый лучик был высвечен солнцем. И вдруг жаром хлынуло в него все это. Он вздрогнул оттого, что она рядом, теплая, с длинными розовыми руками. Разве прежде он не замечал ее красоты? Замечал сто раз. Но все равно — в первый раз за столько лет он увидел Зою.

И будто круг раздался: будто все отодвинулись, и в кругу они остались вдвоем.

Расхотелось разговаривать. И с ней тоже. О чем они говорят? Чепуха, трёп. Кому это нужно.

Она была тут — это было нужно. Что она подняла руки, стоя на коленях, и ловит свои волосы, — исключительно нужно и важно. На это, оказывается, можно смотреть, и смотреть, и смотреть.

Все поняли. Словно им подшепнул кто. Все, замолчав, оставили их вдвоем в кругу.

Она сказала, неизвестно к кому обращаясь, рассеянно, перестав смеяться:

— Пошли погулять.

Промолчали все. Вроде не слышали.

— Пошли, Шура? — сказала она и встала.

Все молчали. Гармошки на лодках, надрываясь, играли вперехлест. Севастьянов встал и пошел с ней рядом.

Потом было возвращение в город. В лодке, со всеми. Севастьянов греб, она сидела напротив, опустив руку за борт в журчащую воду, оранжевую на закате.

Оранжевая вода вскипала вокруг ее пальцев.

Севастьянов смотрел на нее и греб неторопливыми сильными ударами. Кругом говорили, они двое по-прежнему пребывали в кольце молчания и отъединения.

Над озаренной рекой темнел синий город, придвигаясь. И лицо ее было зажжено живым светом, раскинутым во всю ширь реки и неба.

Он сидел в зале клуба совторгслужащих, а на сцене происходило балетное представление. Мелькали красные шарфы и загримированные лица, но только одно лицо он видел, зажженное, озаренное, и следил за каждым его движением. Что танцевали — не разобрал. Хлопал, когда

все хлопали. Не понял: почему, когда представление кончилось, одна из танцевавших вышла вперед и ей хлопали отдельно, — почему не Зоя вышла, а какая-то другая, которую нельзя даже сравнить с Зоей. Он похлопал из приличия. Но то явное было недоразумение. Кто-то чего-то недопонял.

Объявили антракт, в зале зажегся свет. Севастьянов встал и двинулся вдоль ряда к проходу. Ему наперерез, в профиль, деревянно держа голову, глядя неподвижно вперед, прошел Спирька Савчук. Желтые борозды лежали на его щеках, он улыбался горькой вымученной улыбкой. «Знает», — подумал Севастьянов. Он больше не осуждал Спирьку за его неразумную страсть. Спирькино горе заслуживало уважения — кого ж и любить, если не Зою.

Он не стал навязываться Спирьке с неуместными «здравствуй» и «как поживаешь» и со своей сияющей рожей, — тихо пошел следом, соблюдая деликатную дистанцию.

На улице, у выхода из клуба, у афиши, освещенной лампочками, ждал он Зою после представления. На этом самом месте как-то зимой ждал ее Савчук... Севастьянов подумал: вполне возможно, сейчас он подойдет, Спирька, тронет за локоть, скажет: «Слушай, ну-ка иди сюда, ты что же», — и надо ответить выдержанно, честно, по-мужски, с сознанием своего права и Зоиною.

Но Спирька не появился. Напрасно Севастьянов, похаживая перед афишей, ждал его и мысленно репетировал объяснение. Спирька тоже был мужчина и не нуждался в никчемных вопросах и ответах.

34

— Одного я не понимаю.

— Чего ты не понимаешь?

— Где я раньше был? Ты же существовала, ты, ты, ты! Существовала!

— Ты дружил с Зойкой.

— При чем тут Зойка? Дружба с Зойкой — это совсем другое... Слушай, помнишь — ты платок уронила, а я поднял. На площадке, неужели не помнишь? Я сам не додумался, ты мне велела поднять. Я поднял и пошел, и в голове не было, что ты для меня такое... А помнишь,

как мы познакомились? Я сидел, оглядываюсь, вижу — ты. А потом ты спросила...

— Это Зойка спросила.

— Верно. Это Зойка спросила. Но все-таки что-то у меня к тебе было с самого начала. Сразу тебя увидел. Как будто нарочно оглянулся, чтобы увидеть. Как будто кто меня толкнул оглянуться. Я тебя люблю. Ты никуда не уйдешь. Ты останешься тут.

— Сумасшедший.

— Останешься, и все.

— Сумасшедший.

— Глупости. Зачем я останусь?

— Любить меня.

— Разве так я тебя не люблю?

— Так не получается. Я ни о чем не могу думать. Ничего не могу делать, когда ты не со мной.

— Наоборот, по-моему: ты ни о чем не можешь думать, когда я с тобой!

— Ты ничего не понимаешь!

— Ты уйдешь в редакцию, а я что буду делать?

— Ждать меня. Будешь заниматься своими делами. Но когда я буду приходить, чтоб ты обязательно была дома. Иначе я не могу.

— Мне и так достанется, что поздно вернулась.

— Я войду с тобой!

— Ну какие глупости, и думать не смей. Такой скандал получится, ты не представляешь. И вообще не вздумай приходить.

— Почему?

— Я не хочу!

— Почему не хочешь?

— Так!

— Нет, ответь: почему!

— Вы все мещане, вот что. Когда любовь красивая, вы не понимаете. Непременно тебе запереть меня от всех. От всего. Вот твое отношение.

— Слушай!..

— Я хочу быть счастливой. А ты требуешь, чтобы я как пришитая сидела целый день. С этими бабками,

очень интересно. Сидела, тебя ждала, пока ты придешь, вот твоё отношение.

— Ну не плачь. Ну не плачь. Я ничего же не требую, ну не плачь!

35

Но когда своей сильной мальчишеской рукой он обнимал её, теплую, льнущую, — такими пустяками оказывались все несогласия! Её теплота, её дыхание, её закрытые глаза — тут была сладость и тайна жизни, дары и очарования жизни; она ему эти очарования указала; приобщила, приковала к ним, заставила вращаться вокруг них на привязи. Каруселить, как было сказано в одной смешной хартии. Я каруселю вокруг тебя по орбите. Дивно прекрасное занятие — каруселить. На короткой приструнке. Вечно чувствовать эту приструнку, где бы ни был. Где бы ты ни была. Вечно ждать, даже находясь вместе. Ждать — вот откроются ещё неразведанные миры; они открываются, и опять ждешь, и это бесконечно — как вселенная.

Меры времени спутались: секунда приносила потрясения, от которых взрослела душа, а часы то тянулись как годы, то уходили как вода в песок.

Сутки стали величиной огромной — по числу впечатлений, которые в них вмещались.

Зоя приходила вечером. Он мчался домой, чтобы не упустить ни минуты свидания и чтобы оградить её от ведьм, — они её так и кусали своими взглядами и усмешками, когда она проходила через их Лысую гору, через кухню.

Забежав в магазин, он покупал колбасы или ветчины и немного пикулей — она любила пикули.

Стал франтом: купил новые парусиновые брюки, хотя старые были ещё хоть куда, чуть-чуть только сели в стирке.

Зарботки его увеличились, он получал фикс, и гонорар стали платить аккуратнее, можно было позволить себе кое-что — например, кожаный портфель, вещь нужнейшую, которая сразу придавала человеку вид ответственного работника.

Ходил с портфелем, прибранный, подстриженный, торжественно-задумчивый, надушенный тройным одеколоном.

Однажды у них отняли вечер. Дробышев отправлялся с губернским начальством на Машстрой и взял Севастьянова. Севастьянов первый раз отроду ехал в автомобиле. Его посадили с шофером. В прежние дни он бы сполна насладился этим удовольствием, теперь одно думал: когда же мы вернемся в город... Степь цвела и дышала. По склонам длинной балки, как ковры, лежали огороды богатой коммуны «Заря». Синий четырехугольник, синий платок, расстеленный среди зелени, — поле медуницы, детская колония посеяла медуницу для своих пчел. За группой деревьев блестел купол с флагом — монастырская церковь, с которой сняли крест, — детская колония помещалась в бывшем монастыре... Подводы, запряженные волами, влачили в ленивой пыли. Бабы ехали, свесив ноги. Мужики спали за бабьими спинами, укрыв голову от солнца. В прежние дни Севастьянов вбирал бы в себя эти картины, не пропуская ничего. Теперь надо всем стояла, все затмевая, Зоя. Майская степь, дорога с людьми и волами, синее поле, ковры огородов, флаг на куполе — это было ее подножье. Груды белых облаков в небе тоже были ее подножием. Выше всего стояла она, все затмеваящая, с лучиками на розовых губах, — и вдруг мы не вернемся до вечера, вдруг не успеем! — думал Севастьянов.

Машстрой был только что заложен. Ему предстояло неторопливо расти от сезона к сезону, с приостановкой работ на осень и зиму, неторопливо расти до первой пятилетки, когда все изменится — темпы и масштабы; когда страна зашумит стройками, потоки людей хлынут по стране во все концы и опустеют биржи труда. К тому времени Машстрой, укрупняясь на ходу, двинется вперед семимильными шагами — один из первенцев, гигантов пятилетки. В двадцать четвертом году это были длинные мазаные бараки, штук десять барачков. Грабари, съехавшиеся из разных мест, лопатами копали котлован для первого цеха. Под навесами на печках, сложенных из кирпича, багроволицые кухарки варили еду в артельных котлах. Распластанные на траве, сушились заслуженные рубахи и штаны — выгоревшие, в заплатках.

В маленькой конторе два человека, один средних лет, в косоворотке, лохматый, в доску свой, другой — старик с острой белой бородкой, молчаливый и надменный, — разворачивали перед губернским начальством трубки синек. Смотрело начальство, смотрел Дробышев, потом

синьку передавали Севастьянову. Это длилось без конца. Солнце спускалось. Уехать, уйти, убежать не было никакой возможности.

Началось собрание. Губернское начальство сделало доклад. Дробышев сделал доклад о стенной печати. Выбрали редколлегию. Дробышев объявил, что товарищ Севастьянов, сотрудник «Серпа и молота», поможет редколлегии выпустить первый номер стенгазеты. Объявив, сел в автомобиль с начальством и укатил в пылающий закат.

Севастьянов посмотрел им вслед. Он даже записки не успел ей оставить... Закат пылал. Но это же еще не вечер, подумал Севастьянов. И ему вдруг показалось, что если проявить оперативность, если очень, очень постараться, не разбрасываясь, не отвлекаясь...

Надо полагать, члены редколлегии навсегда запомнили урок оперативности, который он им преподал. Они хотели сперва поужинать и его покормить; но он тиранически загнал их в красный уголок и засадил за работу. Неискушенные в газетном деле, они подумали, что это так и надо — такая лихорадка, и повиновались ему. Усердие их было велико и чистосердечно; но они ничего не умели. Изнемогая от их медлительности, он бросался помогать каждому и в результате сам написал почти все заметки, передовую и отдел «Кому что снится». И собственноручно переписал газету начисто. И нарисовал две залихватские карикатуры, подражая рисункам Коли Игумнова (до этого никогда не рисовал карикатур). И с отчаянной щедростью раскрасил заголовок красной тушью и золотом. В тот вечер он понял, что значит выражение «работа кипит в руках». Каждое слово ему удавалось и каждый штрих. В жизни потом с ним не было ничего подобного.

Неистовствуя, думал: «Она пришла и ждет. Она ждет». Позже, когда окна стали глухо-черными, ночными: «Она беспокоится. Не знает, что думать. Но она еще ждет». Часов ни у кого не было. Время скакало громадными скачками. «Может быть, она еще ждет». Железная дорога была недалеко, поезда останавливались на разъезде «Машстрой», он рассчитывал уехать, как только кончит свое дело.

Члены редколлегии выбывали из строя по очереди. Один ушел, второй уснул тут же на лавке. Дольше всех держался председатель, чернобровый и черноусый дядька

в вышитой рубашке. Он сидел возле Севастьянова и с уважением следил за его действиями. Потом и он заснул, положив голову на измазанный красками стол.

Стенгазета получилась на славу. Севастьянов распрямил спину, — окна были голубые, ясные, электрическая лампочка растаяла как льдинка, ночь прошла, он опоздал на свидание.

Председатель и член редколлегии крепко спали. Севастьянов аккуратно прикрепил свое творение кнопками к стене. Вот. Теперь домой. Вдруг — бывают же случаи — вдруг все-таки, несмотря ни на что, вдруг она еще ждет!

Он вышел из красного уголка. Холодноватое, чистое рождалось утро. За бараком он услышал женские голоса и пошел на них.

Две кухарки перебранивались, растапливая печь. Степь была их кухней, небо — крышей. Они бранились вполголоса из-за плохо вымытого котла. Горечь тлеющего кизяка сочилась в рассветную свежесть. Севастьянов спросил:

— К железной дороге как идти?

Они оглядели его с головы до ног и, прекратив перебранку, показали кратчайший путь — напрямик через степь. Одна, вытирая руки о фартук, проводила его немного; даже зашла вслед за ним в густую траву, переви-тую повиликой. Он сказал «пока» и зашагал по высокой траве.

Солнце только что встало и лежало, блистая, на краю степи. И вся степь блистала, переливаясь, каждая травинка держала свой сияющий дрожащий алмаз. Севастьянов промок по колено... Довольно скоро он увидел желтую будку разезда, увидел дымок приближающегося поезда — комочек ваты в голубизне, — пустился бегом, выдирая ноги из травяных пут.

Сердце весело колотилось. Он выскочил на полотно. Рельсы струились в раннем солнце как светлые ручьи. Поезд приближался, он шел в сторону города. Мимо Севастьянова, громыхая, поплыли платформы, цистерны, маленькне красно-коричневые вагончики, исписанные цифрами и словами, — это был товарный поезд, и он не собирался здесь останавливаться. Севастьянов высмотрел подножку с поручнями, нацелился и вскочил.

Сразу его резко обдуло ветром. Он устроился на узкой площадке, подложив портфель под голову. Богатыр-

ский сон сразил его мгновенно. Что-то снилось сквозь грохот колес, гремевших в ухо... Проснулся в городе, на товарной станции, — железнодорожник разбудил, спасибо ему.

«Моя невероятная», «немыслимая», — писал он.

Каждый день писал: в невыносимо огромный промежуток от вечера до вечера, от встречи до встречи. Придвигал листок, и слова срывались с пера водопадом, казалось — их сотни тысяч. На самом деле их было, должно быть, штук полтора. Среди одних и тех же слов он топтался, задыхаясь, захлебываясь этими словами.

«Ничего не делаю, только думаю о тебе. Не хочу о тебе больше думать и думаю. Не хочу писать это письмо, не нужно писать его, совестно...

...Пришел в редакцию спозаранок, еще полы мыли. Разложил свои заметки и сел писать очерк. Писал-писал, а к двенадцати оказалось, что не написал даже заголовка, а писал письмо тебе. Был этим ужасно возмущен. Решил попробовать работать дома. Сейчас пишу дома. И опять то же самое. Сидел над пустым листом, делал вид, что занят делом. Но больше не могу ломать себя и обманывать. Ведь все это время я только и делал, что вспоминал тебя.

Ругаю себя и уговариваю, что я тряпка, кисель несчастный. Но не могу тебя прогнать из себя».

Он был сдержан. Чтобы наизнанку себя выворачивать, напоказ, — никогда: кому это интересно, ни людям, ни ему самому... Откуда взялась необходимость все, все, все и сию же минуту ей рассказать, без малейшей утайки, без пощады к себе, — такая необходимость, как воду пить, когда жажда:

«Ты пойми меня правильно. Мне надо не только целовать тебя, но и видеть, как ты сидишь, стоишь, ходишь, слышать, как ты говоришь и смеешься, рассматривать, какие у тебя пальцы, локти, зрачки. Я тебя жду, как никого и ничего не ждал...

Ты права, что я сошел с ума. Беру папиросу — это ты, это я тебя беру в руки. Надеваю майку — это ты, это ты ко мне прикасаешься. Черт знает что. Только с тобой

мне спокойно более или менее. Но когда я без тебя, я не могу.

Я хочу, чтобы ты была со мной сейчас и всегда.

Ты согласишься жить вместе. Ведь ты уже не можешь взять свою любовь обратно. Ты должна согласиться.

Как мне сделать, чтобы ты тоже без меня не могла? Ничего не могла, чтобы ты без меня не жила...»

Писал, и вдруг стукнули в дверь. Он крикнул «Да!» — и откинулся на спинку стула в жгучей уверенности, что это она, — угадала, что он дома в этот дневной неположенный час, через крыши и шумы услышала зов и пришла. Он и не оглянулся, так был уверен. Сидел, закрыв глаза, ожидая ее прикосновения.

— Здравствуйте, Шура, — сказал робкий голос.

Анна Алексеевна, мать Зойки маленькой.

— Что случилось?! — вскрикнул он и поднялся.

Все происходившее в те дни с ним и вокруг него имело отношение к Зое. Пришла Зойкина мать — она скажет что что-то случилось с Зоей, *его* Зоей.

Худенькая женщина в сером платье, в чувячках, с кошелкой, вошла, прикрыла рукой лицо, плечи ее затряслись.

— Что?!.. — повторил Севастьянов в страхе.

Поглощенная своей бедой, она не заметила его наэлектризованности. И нечаянное его восклицание отнесла к собственным горестям, оно оказалось вполне уместным.

— Еще ничего, слава богу, не случилось, — еще надемся, — ответила она, совладав с собой, — еще только во вторник операция будет

Ах да, у Зойки маленькой болен отец, его положили в клинику... Вот как — значит, дело серьезное... Пробормотав что-то, Севастьянов придвинул Анне Алексеевне стул. Она поставила на стул свою полную, с раздутыми боками кошелку, прикрытую чистейшим суровым полотенцем, и сама уместилась на краешке, держась за кошелку, — то ли чтобы та не упала, то ли чтоб самой не упасть.

— Зюечка говорила с профессором, — сказала она, — профессор сам операцию сделает. Тяжело, конечно. Такая операция, а организм, доктора говорят, неважный, переработанный организм

Она стала рассказывать подробности, робко и вместе деловито.

— И хоть бы что-нибудь кушал, — тихо и рассудительно говорила она, — а то ничего ведь не кушает, как же болезнь побороть? Чего только не готовим, чего не носим. Все по строгой диете, как велют. Зюечка ему говорит: скушай ты, папа, ради меня, хоть ложечку, говорит, скушай... — Простенькое, увядшее, бесцветное лицо ее опять задрожало; но опять она пересилила себя, кончиком головного платка промокнула слезинку в уголке глаза. — И не спит. Ему всякие средства для спанья — нет, не спит. Не от боли, боли-то нет, когда в лежачем положении. О нас думает, вот и не помогают средства... Шура, я к вам в редакцию ездила, не застала, адрес мне ваш там дали. Василий Иванович вас просит, у него дело к вам, чтоб вы зашли до операции.

И так как Севастьянов, туманно задумавшийся о том, как счастье и несчастье соседствуют в мире, ответил не сразу, — она добавила:

— Он вас очень убедительно просит.

— Обязательно! — отозвался он с горячей неловкой готовностью. — Обязательно! Когда можно?

«Но зачем же было в редакции брать адрес, — мелькнуло в голове, — Зюйка маленькая ведь отлично знает, где я живу».

— Вообще-то пускают по четвергам и воскресеньям, с четырех до шести, — добросовестно разъяснила Анна Алексеевна, — но мы с Зюечкой бываем ежедневно, по очереди, и в отношении вас я договорилась. Василий Иванович велел договориться, чтобы вас приблизительно вот в это время пропустили. Почему я вас и разыскивала. Сейчас как раз операции идут и врачей в палатах нет, можно пройти. — Севастьянов не мог понять выражения, с каким она смотрела на него, и боязнь была в ее взгляде, и осуждение, и грусть. — Если, может, у вас занятие несрочное... Может, прошли бы с вами, здесь недалеко?..

Пока он убирал неоконченное письмо, она осматривала его жилище, поджав губы, с тем же осуждающим и скорбным выражением. Зорко, он заметил, осмотрела все — потолок и окошко, постель и старые ботинки, выглядывавшие из-под кровати. И при этом безотрадно и укоризненно покачивала головой.

В саду клинического городка гуляли по дорожкам, сидели на скамейках больные в серых халатах и шлепанцах. Сад был большой, зеленый, но в нем попахивало аптекой. Некоторые гуляли на костылях... В раздевалке

хирургической клиники Севастьянову дали халат, а Анна Алексеевна надела свой, белоснежный, принесенный из дому. По этому принесенному с собой халату, по тому как она его быстро и ловко надела и как спросила: «Дочка моя не была?» — Севастьянов понял, что они с Зойкой маленькой днюют и ночуют в клинике, и все уж их здесь знают. Стараясь ступать потише, он шагал за Анной Алексеевной через голизну широких светлых коридоров и безлюдных лестниц. Она шла впереди проворно и бесшумно в своих мягких чувячках, несла увязанные в салфетку мисочки и кастрюлечки, которые вынула из кошелки. Пришли в большую палату, дошли до угловой койки у окна.

— Вася, — сказала Анна Алексеевна, наклонясь к седой голове, лежавшей, глубоко вдавившись, на подушках, — Шура пришел.

Седая голова медленно повернулась. «Ох, какой!..» — внутренне вздрогнул Севастьянов. Такое он представлял себе, когда читал о мумиях: иссохшее, узкое, темное — только с закрытыми глазами; а на этом лице двигались и светились живые человеческие глаза. Седина волос подчеркивала изжелта-коричневый цвет кожи. Громадные иссохшие коричневые руки были сложены на груди поверх одеяла.

«Что это! Разве можно так измениться! Сколько я его не видел? Полгода? Разве может человек так измениться за полгода!» — думал Севастьянов. Но надо было поздороваться. Он сказал:

— Здравствуйте, Василий Иванович.

Они, ребята, всегда чувствовали перед старым проводником стеснительность: он был суров, не улыбочив; скажет тебе слово — будто милость оказал. Бывало, они расшумятся в Зойкиной комнате, он пройдет мимо открытой двери, глянет — они начинают говорить тише. А он никому ни разу не сделал замечания.

И в облике мумии он не был жалок, по-прежнему чинный и строгий, опрятно побритый: кругом щетинистые физиономии, а он побрит.

— Здравствуйте, — ответил он и подал руку. — Присьядьте.

Анна Алексеевна поспешила пододвинуть табуретку. «Раньше он говорил мне ты», — вспомнил Севастьянов.

— Видите, какие дела, — сказал Василий Иванович, — скрутило меня как, не ждал и не гадал. Плохие мои дела.

Будь Севастьянов старше и искушенной, он бы ответил принятой в таких случаях ложью: «Ну что вы, Василий Иванович. Вы превосходно выглядите». Но он еще не умел так лгать, даже не подозревал, что надо солгать. Он молча потупился, склонив голову.

— Я вас пригласил для серьезного разговора, — сказал, подождав немного, Василий Иванович. После этой фразы он стал задыхаться и шептать. Задыхался на протяжении всего разговора — пошепчет свистящим сильным шепотом и остановится набрать воздуха. На шепот перешел, чтобы не слышали лежавшие рядом. И на протяжении всего разговора жена, безмолвно стоя в изножье кровати, смотрела ему в лицо, лишь изредка и на мгновение переводя на Севастьянова полный муки взгляд.

— Придвиньтесь. Еще. Наклонитесь. Ближе, — шептал Василий Иванович. — Вы порядочный человек? Порядочности кругом вижу мало. Но про вас хочу думать, что вы человек порядочный. Сужу по тому, как моя дочь к вам относится. Порядочный вы?

— Не знаю, — ответил Севастьянов, беспомощно покраснев. — Думаю, что порядочный...

— Ну так обещайте, что про наш разговор не узнают ваши дружки-товарищи. Вообще никто не узнает, что бы мы ни решили.

— Хорошо, — сказал Севастьянов, удивляясь. — Я никому не скажу.

— Чтобы дочь не узнала, главное. Зочка чтоб не узнала. Ясно вам?

— Ясно, Василий Иванович.

— Никогда не узнала. Ни теперь. ни когда-нибудь... после. На чем бы мы ни кончили.

— Хорошо. Я и ей не скажу.

— Чтоб до нее и не дошло, что я вас звал и разговор имел. Видите: она у нас с Анной Алексеевной одна, и мне первой всего — ее счастье. Ясно вам?! — выдохнул он со свистом и потряс коричневыми руками. — Зочкино счастье!

Севастьянов смотрел в окно. Зеленые ветки двигались за промытыми стеклами. («Почему не откроют окна? Такая духота».) Он тоже хочет счастья Зойке маленькой. От всего сердца ей желает, чтобы она, такая требовательная и достойная была очень счастлива, очень. Но это уж от человека зависит — найти свое счастье. Помочь никто не

может, и Севастьянов не может. Да Зойка и не нуждается в помощи. Найдет сама.

— Моя дочь, — шептал старый проводник, — не такая, как эти все девицы. Ничего не оставлял безо внимания. Что мог — все... Учил... воспитывал... все предоставлял для развития. Не думайте, — если мы мало-развитые, то не понимаем развития: понимаем! Вырастил...

«Положим, — подумал Севастьянов, — Зойку воспитала советская власть и мы, комсомол».

— Умница. Умница-разумница. Золотая душа. Вот сейчас конец года, важные лекции у ней на педфаке. А был хоть один день, чтоб она ко мне не пришла? Дня не было! Как после операций обход пройдет, я уже на дверь смотрю: и вот она. Приходит заранее и внизу дожидается. Знает, что я лежу и на дверь смотрю. И до вечера со мной. Мне уж все тут говорят — какую, говорят, вы дочь вырастили...

Темное лицо просияло гордыней.

— Покамест не заболел, мы с ней мало бывали. Профессия моя такая: разъезжал. Но когда свободен, всегда около ней. Будучи маленькой, гулять ее водил. — Простерши руку, он показал, какая она была маленькая. — В Александровский сад мы ходили. Сяду на лавочке и смотрю, как она с детишками на песочке играет. Или с горки бегаёт. Или красных жучков на дорожке собирает. Ходили с ней в цирк, в игрушечный магазин. В гимназию поступила — вместе пошли в магазин Иосифа Покорного. Купили учебники, ранец, весь набор ученический для подготовительного класса. Каждое перышко, что она писать училась, через мои руки прошло. Ну, когда подросла, тогда, конечно, какой ей интерес со мной гулять. Молоденькой девочке молодая требуется компания. Как будто я не понимаю... Но заболел я — она со мной. И прогонять бы стал, так не уйдет. Да. Напоследок насмотрюсь. Наговорюсь...

Он шептал иступленно. Видно, за всю жизнь это самая большая была его любовь — может быть, единственная.

— Слушайте, Шура! Мне ее горя не надо, чтоб она на моей могиле неутешенная плакала! Не надо, не надо! Наклонитесь! Слушайте! Я ее утешенную оставить хочу! Не думайте, что я вообще боюсь ее одну оставить. Не, не боюсь! У ней характер самостоятельный! Она моя

умница! Ее ни в какое болото не потянет, и никакой прохвост ее разума не лишит!

— Верно! — энергично кивнул Севастьянов.

— Но хочу, покамест я тут... Слушайте, Шура! Если — возможная вещь — так нам с Анной Алексеевной кажется — по душе ей один человек...

— Василий Иванович!

— Вы ее знаете, вы обязаны понимать, что ей по душе прийтись — это надо в сорочке родиться.

— Василий Иванович!..

— Да.

— Вы... напрасно боитесь, что Зойка будет одинокой. Вы не бойтесь.

— Да?

— Я уверен. Всегда возле нее будут люди. И всегда ее будут уважать.

— Это-то, — я тоже уверен. Слушайте, Шура. Уважения сердцу мало. Молодому — тем более. Молодые вы, конечно, совсем молодые. Но теперешняя молодежь рано женится, прежние наши порядки им не указ. Поженились бы сейчас, я б на операцию лег спокойный...

Зеленые ветки, все в солнце, играли листиками за прозрачным стеклом. «Вечно эти старики, — думал Севастьянов, — вечно они, ей-богу... Им с Анной Алексеевной кажется! Бедная Зойка, если б она услышала, вот бы возмутилась, что ее сватают. На Первой линии разве понимают дружбу. Для них все молодые — женихи и невесты».

Он решил не отвечать. «Как я объясню?... Вам, Василий Иванович, показалось, она меня не любит, я ее?... Язык не повернется, не могу я рассуждать с ним об этих вещах. Все без слов понятно».

Склонив голову, он слушал, что шепчет старик. Тот шептал, шептал — шепот стал слабеть. Анна Алексеевна все стояла в ногах кровати, губы ее были сложены горько и неприязненно.

— ...Понимаю, — шептал Василий Иванович, — что жить вы будете не так, как мы. Что мы нажили своим старанием — вы раскидаете и не пожалеете. Но я понимаю, что по-нашему вам не жить. Я тоже развитый стал. Не только я ее воспитывал: и она меня воспитывала. Я все понимаю. Живите по-своему...

— ...Дурака озолоти, — шептал он, — дураку ни к чему. Дураку хоть царский престол предложь...

— ...Я не могу эту картину видеть, как она на могиле плачет и некому ей слезы утереть! — неожиданно громко в лицо Севастьянову, так что тот откинулся, крикнул он. Его стало корчить и швырять на постели в судорогах тошноты. Анна Алексеевна к нему бросилась. Он замахал на Севастьянова рукой — уйди! Севастьянов встал и вышел в коридор. Закурил...

Ему было жалко, жутко. Он закрывал глаза перед видением смерти. Но в то же время чувствовал протест против посягательства на свое тайное, не подлежащее огласке, — свое, Зойкино, чье бы то ни было. Против старости, которая умирающими руками трогает их, молодых. Давайте так: это наши дела, и мы уж сами в них разберемся.

Санитарка несла по коридору судно. Брел, запахиваясь, больной в сером халате, из-под халата болтались завязки кальсон. Анна Алексеевна выпшла и сказала с тихой ненавистью:

— Василий Иванович вас просит, чтоб вы уходили. Скоро Зочка может прийти. Чтоб вы не встретились.

Севастьянов спросил: можно ли зайти на минутку к Василию Ивановичу — сказать до свиданья.

— Лучше не надо, Василий Иванович себя плохо чувствует.

— Передайте привет ему, — пробормотал Севастьянов.

Он еще кое-что хотел высказать. Пожелания насчет вторника. Чтобы операция прошла благополучно. Но Анна Алексеевна так на него смотрела — только что не говорила: ох, да уходи ты.

Он вышел в зеленый сад, и воздух показался ему упоительно свежим.

Вышел из сада на улицу и обрадовался, что она полна здоровых людей.

Домой возвращаться не хотелось. Потянуло в редакцию, в привычную атмосферу деловитости, бодрости, разнообразных интересов, новостей, острот. Подошел трамвай, он сел.

И увидел Зойку маленькую. Она шла по направлению к клиникам. Нахмурясь, сосредоточенно обходила лужу — тротуар поливали, — чтобы не замочить чувячки, такие же на ней были коричневые чувячки, как на Анне Алексеевне, — это они чтоб по клинике тихо ходить, по-

думал Севастьянов. В голубой майке, со стопкой книг в руке, она была совсем подросток, школьница.

Она его не видела. Только мелькнула, — трамвай рванул, голубая майка осталась позади.

Коля Игумнов окликнул Севастьянова, когда тот, приехав в редакцию, проходил мимо его двери:

— Тебя искала женщина.

— Знаю. Она меня нашла.

— Уже? — спросил Коля. — Это твой роман?

— Давай не трепаться, — остановил Севастьянов. — Это моей знакомой мать.

— Это ты брось трепаться. Грубовата немножко, но знаешь, эти скулы, и разрез глаз, и вот здесь на переносице, у бровей, что-то пикантное, — познакомь, ладно?

Заглянула уборщица Ивановна:

— Ты здесь, Шура? Тебя к телефону.

То была Нелька, Нелькин жеманный, ненатуральный, балобановский голосок, по балобановским понятиям так полагалось говорить приличной барышне.

— Шура? Здравствуй, Шура. Шура, я была у тебя в редакции, но не застала. Я тебя приглашаю — догадайся, на что. Да, ты угадал, Шура. За одного молодого человека. Ты его знаешь. Да, балобановский. Догадайся. Такой шатен. Не можешь, ну скажу. За Жору. Разве это обязательно? Что ты говоришь. По-моему, несколько даже. По-моему, только лишь в книгах. А в жизни бывает лишь симпатия. Ну конечно, симпатия есть. Свадьба во вторник, а в четверг мы уезжаем, так что ты смотри приходи, Шура. Кто его знает, увидимся еще или же нет. В Горловку; там Жорин крестный, обещает устроить Жору на завод. Что ты говоришь, Шура, какому молодому человеку? Что-то я не обратила внимания. У вас там много молодых людей. Глаза? Да что ты. Переносица? Какая переносица? Я не понимаю, Шура, как может нравиться переносица. Художник? Что ты говоришь. Интересный? А звать? Коля? Ну что же, приводи его. Скажи, что мы приглашаем. У нас, между прочим, будет довольно шикарно. Справляем у Жоры, у них собственный дом

Нельзя было нанести Нельке такую обиду — не прийти на ее свадьбу, — добродушной Нельке, с которой рос-

ли вместе, которая латала ему бельишко и поверяла свои секреты. И опять предстоял потерянный вечер — без Зои, но зато почти весь вторник Севастьянов провел с ней вдвоем, возмещая предстоящую потерю. Они взяли лодку и поплыли на свой берег, в те заветные, горячо-песчаные, медово залитые солнцем места. В будний день там было как на необитаемом острове. Только их голоса звучали под синим небом, когда кому-нибудь приходило в голову что-нибудь сказать. Прожив в тишине и счастье этот необыкновенный, синий, бездонный день своей жизни, к вечеру Севастьянов с Колей Игумновым, с подарками и букетами, на извозчике — Коля не захотел идти пешком — ехал в Балобановку.

Собственный дом, в котором справлялась свадьба, был таким, как большинство балобановских собственных домов: «зала», спальня, кухня. В этих трех коробочках ухитрилась поместиться сотня человек, и не только пить и закусывать, но и танцевать. Две гармони играли в очередь без передышки. Танцоры на расчищенном посреди «залы» пяточке как заведенные выбивали чечетку, припадочно тряся плечами: цыганочка входила в моду, парень в Балобановке не считался парнем, если не умел плясать цыганочку; на свадьбе лучшие танцоры показывали свою квалификацию. Они были в наутюженных брюках, сужающихся к щиколотке, в желтых франтовских туфлях с широким рантом, волосы у всех зализаны назад, и на всех длинные, до колен, белые кавказские рубашки мягкого шелка, с высоким воротом и застежкой из мелких пуговиц — до самого подбородка; талии перетянуты узкими поясами с серебряным набором. (Здесьние ребята вырабатывали свои моды. Когда при белых Васька Егоров, сын извозчика, стал носить черное кольцо с фальшивым брильянтом, то многие парни кинулись раздобывать себе такие же кольца.) «Приоделась Балобановка, — подумал Севастьянов, видя кругом добротню одетых людей, — дела в гору пошли». Впрочем, те, у кого не было хорошей одежды, на свадьбы не ходили: народ в поселке жил самолюбивый.

За столами, оттиснутыми к стенам, сидели тесно, обливаясь потом от духоты. Самогона, браги, пива, вина было разлитое море. Закуска тоже щедрая. Горячие пироги подавались со двора через окна, открытые в багровую закатную пыль. Дядька Пимен, сидевший в почетном углу с тетей Маней и жениховой родней, пел пес-

ню, сляясь всех перекричать, а тетя Маня кричала на него, угрожая разводом. Все громче и неразборчивей становился гомон. В говоре и выкриках тонул, пропадал дробно-бедовый перебор гармонии. Нелька, гордая, довольная, скуластенькая, причесанная у парикмахера, в белом платье и фате с восковыми цветочками, сидела между Севастьяновым и Колей Игумновым и рассказывала им, что можно купить обстановку в кредит, с рассрочкой, и что если Жора, бог даст, поступит на завод, то у нее будет зеркальный шифоньер. Коля, красивый, ослабевший от выпивки, с взмокшими и перепутанными над лбом белокурыми волосами, брал Нельку за руку и говорил задушевно:

— Не надо, Нелли. Не надо про шифоньер. Вы лучше скажите, когда я вас буду рисовать. Почему мы не встретились раньше?

А перед ними, задумчиво на них глядя, выбивал четку и тряс плечами Нелькин муж. С руками, повисшими как плети, с тощей вытянутой шеей, в кавказской рубашке, застегнутой до самого его маленького круглого смуглого ребячьего личика, плясал он и трясся, неутомимый, прямой, как деревянная кукла. Когда кричали «горько», Нелька вставала, целовала его и возвращалась, цепляясь фатой за стулья.

— Нелли, — говорил Коля, — я тебя не понимаю, как ты можешь его целовать.

— Коля, что вы говорите, — отвечала Нелька. — Вы не должны говорить, Коля.

Севастьянов пил нехотя и думал о Зое. Она отказалась пойти с ним на свадьбу. Отнекивалась шуточно, придумывая всякие отговорки, и вдруг сказала резко, со слезами в голосе: «Да ты что, слепой, не видишь — мне же не в чем идти! Что мне за удовольствие быть хуже всех!» Он поразился, он никогда не думал, что она может считать себя хуже всех и страдать от этого, она, беспечная и лучезарная, избалованная любовью и знающая себе цену. У него открылись глаза. Мужской стыд обжег лицо. Сидел, писал письма... Нет чтоб подумать о ней по-настоящему, как о близком человеке, — что у нее есть и чего нет и что ей нужно.

— Не сердись на меня! — сказал он. — Я дурак! Мы сошьем платья! Ах, я дурак! Ты же так все это любишь. Всякую чепушинку любишь. Бусы из ракушек... Скажи, — спросил он, становясь все более зрячим и с этой новой

зрячестью уверенно вступая в мир, где обитала она со своими желаниями, со своей женской, детской, странной и важной сущностью, — ты в балетный кружок не для того ли записалась, чтобы надевать разные наряды и шарфы, правильно я сейчас подумал? Скажи.

— Да-а, — прошептала она. — Только не говори никому.

— Я вспомнил одну вещь. Это прошлым летом. Ты хотела лакированные туфельки. Так у тебя и не было лакированных туфелек.

— Не было...

— Купим туфельки. Я как зверь буду работать. Я сколько хочешь могу работать. Это я сейчас развинулся, пишу не то, что надо, пишу тебе письма.

Она прижалась к нему.

— Пиши мне письма. Я люблю твои письма.

— Хватит. Больше не буду писать письма. Буду дело писать. — Он быстро соображал, как заработать побольше. — Как раз начались отпуска, за всех отпускников буду работать. А сам в отпуск не пойду, возьму компенсацию — сразу мы с тобой разбогатеем.

И — губами трогая шелковистые волосы на ее затылке:

— Только во вторник еще погуляем, хорошо?..

Он сильно устал в этот вторник, проведенный на необитаемом острове. Попав с необитаемого острова в гам, звон и мельканье свадебной пирушки, с трудом заставлял себя проделывать что требуется: разговаривать, чокаться, улыбаться. Пить он не привык, а тут все время подливали в рюмку и провозглашали тосты, и как он ни крепился — «зала» пошла ходуном, туман заволок глаза... Туман разошелся: была ночь, горели керосиновые лампы, много жарких слепящих ламп, за столом поредело. Севастьянов поднялся и, раздвинув чечеточников, пошел к выходу. В кухне танцевали падеспань; на сундуке спал Коля Игумнов, подтянув к подбородку длинные ноги. Посреди двора, в падающем из окошек свете, одиноко стояла Нелька, белея венчальным нарядом.

— Будь здорова, — сказал Севастьянов. — Желаю тебе всего.

— Если б ты родной был брат, — сказала она, — ты б меня познакомил раньше. Ты бы не допустил, чтоб я за Жорку вышла мимо своей судьбы.

— Ты выпила, — сказал он. — Это же все трепотня. Он

утром не вспомнит, что́ молот. Уезжай, Нелечка, в Горловку.

И, погладив ее по голове, направился знакомой дорогой.

В черноте, набитой звездами, шел и думал бодрые думы. Скоро начнет светать. Наступит день, трезвый, рабочий. Да здравствуют трезвые рабочие дни! Приду к Акопяну, нагрузите меня, скажу, хорошенько, мне очень надо. Ввиду особых обстоятельств. «Особых» или «семейных»? «Особых». И ты увидишь, Зоя! Этого разложения, чтобы в рабочее время уплывать на необитаемые острова и писать малахольные письма... С этим кончено. Увидишь! Они все зарабатывают своим женам на платья и всякое там барахло, — а я, неужели не работаю? Это же счастье — заработать для тебя... Сколько все мы тратим времени на гулянье, дуракавалянье, разговорчики, пение песен, — ужас сколько времени. Разболтанность. Безответственность. А еще о вузе мечтаю. При таком образе жизни и рабфака не одолеть. Бесхарактерность: зовут гулять — идешь, наливают тебе самогона — пьешь эту отраву... Чего пил? Ну, чего пил? Ведь от души воротило... В девятнадцать лет — что я сделал? Ни черта. Тот же Илья Городницкий сколько уже успел, а на много ли он старше?

Чернота светлела, звезды меркли. Вошел в город, — уже только одна звезда легко и алмазно висела на востоке над крышами окраинных хибарок, все было серого цвета и неподвижно. Акации стояли погруженные в сон. Трубы не дымили. Спал сидя сторож на лавочке возле маслобойного завода. Два-три прохожих, должно быть загулявшие, как и он, за весь путь повстречались Севастьянову. Он сделал крюк, свернул на Первую линию. Отсвечивали камни пустых крылец. Мимо подворья, где жила Зоя, прошел он, мимо ворот с низенькой калиткой. «Я тут, я снюсь тебе?..» Хотел войти во двор, но не решился: собаки забрешут по всей Первой линии. Рядом, у Зойки маленькой, жалюзи были опущены наглухо. Севастьянову вспомнилось, что в этот вторник, который только что минул, Зойкиному отцу, Василию Ивановичу, должны были делать операцию. «Ну, если спят, верно все благополучно», — подумал Севастьянов, проходя, — ему не хотелось думать о печальном.

Чуточку зарозовело небо и по деревьям пробежал шелест пробуждения, когда он добрался домой, предвку-

шая, как сладко сейчас уснет. Во дворе, как и всюду, — ни души, безмолвье. Грохот его шагов по наружной железной лестнице должен был, казалось, разбудить весь квартал. Он достиг последнего лестничного марша и увидел, что кто-то сидит на ступеньках пониже площадки, на которую выходила его дверь. Этот кто-то спал, закутавшись в серый платок и прислонясь к перилам, — Зоя! Зоя у его двери! Как мог тише — чтоб не испугать — поднялся он к ней. Лицо ее было закинута к розовеющему небу; губы приоткрыты. Он осторожно сел рядом. Осторожно обнял. Она открыла непонимающие глаза и закрыла снова.

— Зоя! — прошептал он.

Она устроилась удобней у него на груди и сонно задышала.

— Проснись! Пойдем! — будил он шепотом и покачивал ее в руках. — Проснись! Как же ты?.. Могла сорваться... убиться...

— Это ты! — сказала она, проснувшись. — Я к тебе пришла.

— А я был на Первой линии. Разговаривал с тобой, а ты тут!

— Ты был у нас? У моих?

— Да нет. Я прошел мимо. Знал бы я — вот балда! Ты давно тут?

— Не знаю. Наверно, не очень. Не знаю. Я ходила по улице...

— Какая ты умница, какая удивительная, что ты тут!

— Он выгнал меня. Он сказал, чтоб я... чтоб я девалась куда хочу.

Она залилась слезами в его руках.

Он смотрел на нее, покачивая. Все было как сон. Розовое небо и сквозная железная лестница, повисшая над пустым двором. И они двое на вершине лестницы.

— Но он же замечательно сделал, что выгнал тебя. Он просто ничего гениальнее не придумает за всю свою жизнь. Я его обожаю за то, что он тебя выгнал! Я не знаю, как его благодарить! Давно бы ему догадаться это проделать — выгнать тебя, чтоб ты пришла ко мне, где же быть тебе, если не со мной, а? Скажи.

Он говорил ей в ухо и прикладывал губы к этому маленькому уху, расплававшемуся от слез, и старался расшевелить ее и успокоить, и ни о чем не спрашивал, чтобы не растревлять ее обиду, — никогда ни о чем он не спра-

шивал, она была свободный человек, ее любовь была — прекрасный дар.

— Мы еще долго тут будем сидеть, как ты думаешь? — только это спросил он под конец, и она засмеялась. До чего становилось весело, когда она смеялась и смеялись ее глаза, еще полные дрожащих слез, в мокрых ресницах и уже ликующие, ее глаза — черные зрачки в золотисто-карем ободочке, голубой белок и по маленькому Севастьянову в каждом зрачке.

Он открыл своим ключом дверь черного хода. Остерегаясь разбудить ведьм, тихо прошли они через кухню в свою комнату.

Часа два он проспал глубоким сном и проснулся разом, словно его встряхнули. Встряхнула мысль: «Еды ни крошки; когда она ела вчера? Она проснется голодная». С гордостью и нежностью, которых раньше не знал, поглядывал на нее, одеваясь. Обшарил карманы, собрал все свои деньги, мятые бумажки, сосчитал... Она спала. Ее старый серый вязаный платок, порванный во многих местах, висел на спинке кровати. Перед тем как уйти, он взял этот платок и укутал ей ноги поверх одеяла. Не потому, что она могла озябнуть; она не могла озябнуть в это теплое утро; а потому, что ему теперь необходимо стало укрывать ее, кутать, заботиться о ней.

Брат и мать считают ее своей собственностью. Так понял Севастьянов из ее объяснений. Многое он предпочел бы не знать. Упоминание о Щипакине было как обухом по темени, но Зоя хотела объяснить, какие отношения у нее сложились в семье, почему она вынуждена была уйти. Когда она собой ради них пожертвовала, они решили, что так всегда будет; что они будут распоряжаться ею как своим имуществом.

До революции они жили под Петроградом, в деревне Пудость. Отец держал маленькую, совсем маленькую, крохотную гостиницу; без вывески даже, но ее знали; в нее приезжали парочки на одну ночь — из шикарных мест вроде Царского, Павловска, — «иной раз такие офицеры приезжали и с такими дамами, ты даже не представляешь, как эти дамы были одеты и какими от них пахло духами!» Отец умер. От войны и голода они уехали на

юг к бабушке. Зое было тогда двенадцать лет. Бабушка тоже умерла. У нее тоже все пропало.

— Мы ужас до чего нуждались. Меня кормили у Зойки, а его и маму никто ведь не кормил. И его не хотели принимать никуда, считали, если горбатый — значит, слабый, вечно будет на бюллетене. Мы бы просто пропали, если бы он не устроился на работу.

Мать жалеет горбуна и слушается, Зою она не любит и ругает. А горбун Зою ненавидит. Он всех здоровых ненавидит за свое уродство.

— Правда, он думал — Толя женится. — Она мерзавца Щипакниа называла Толей.

— Перестань!

— А вчера я сказала, что не выйду за этого... за которого они хотят, чтоб я вышла. У него фруктовый магазин на Садовой. Он...

— Перестань! Больше ты к ним не пойдешь. Все кончено, не думай, забудь.

— Как же я не пойду, там все мои вещи, надо забрать.

— Какие у тебя вещи.

— Ну все-таки. Я же совсем без ничего. Выбежала — платок схватила...

— Хорошо, я заберу. Тебе туда не для чего ходить.

— Нет, тебя я не пущу. Ты ненормальный.

— Не бойся, я его не прихлопну. Я не хочу сидеть в исправдоме. Слишком много у меня есть, чтоб я от всего отказался и сел в исправдом.

Он пришел к ним, когда горбун был на работе. Зоина мать месила тесто, босая, с волосами, кое-как сколотыми на затылке гребнем, руки выше локтя в муке.

— Я за Зоиними вещами, — сказал Севастьянов.

— Она где же? — отрывисто спросила женщина.

— У меня, — ответил он.

Она вытерла руки тряпкой и пошла собирать одежды, валявшиеся здесь и там. Убого, грязно! Вокруг плиты просыпан штыб. Возле кровати лежал среди щепок топор. Женщина обходила его так, словно это было его постоянное место, словно так и следовало топору лежать возле кровати. В кривое оконце, расположенное низко над полом, видна была земля, залитая мыльными помоями.

«За этот стол она садилась, — думал Севастьянов, — здесь по утрам открывала, проснувшись, глаза... И хоть

бы что-нибудь, кроме помоев, было видно в оконце, я всегда считал, что у них, наверно, еще хуже, чем в Балобановке, там по крайней мере небо кругом, простор, а здесь все стиснуто... Выходила отсюда за стихами, за танцами, за радостью, а возвращалась-то обратно в этот куток, к братцу и к мамаше...» В жилье пахло какой-то гнилью, как из старой бочки. Головой Севастьянов почти касался потолка.

— Пользуешься! — сказала Зоина мать и швырнула ему узелок. У нее были отекавшие щеки и мешки под глазами, но глаза красивые карие, брови длинные, и Зоя и проклятый горбун были похожи на нее. — Пользуешься, сволочь, что человек обиженный, что силы у него нет добраться до твоей ряшки!

Севастьянов взял узелок и вышел. С многочисленных крылечек, из окошек с геранями жители подворья смотрели, как он идет по обставленному лачугами дворику, шагая через мыльные лужи.

На улице под акациями мальчишки играли в айданы, они кричали, как воробьи. Жалюзи на доме Зойки маленькой были опущены по-ночному — наглухо. «Надо справиться о Василии Иваныче. Совестно не зайти, рядом был и не зашел. Зойки и Анны Алексеевны, должно быть, дома нет, ну у бабушки узнаю». Севастьянов поднялся по горячим от солнца камням и нажал белую пуговку звонка. Звонok отчетливо прозвучал за дверью; но никто не вышел, и раз, и другой. «Может, они во дворе». Калитка была заперта. Севастьянов постучал.

Мальчишки, игравшие в айданы, обратили на него внимание и, отвлекшись от своего дела, сказали ему:

— Эй ты! Чего ломишься! Они в больнице все! У них хозяин помирает!

Еще раз он побывал на Первой линии — уже после смерти Василия Ивановича.

О смерти узнал не сразу и на похоронах не был.

Шел и боялся, думал: будет плач, рыдания. Увидят его и заплачут в голос. Станут рассказывать, как мучился, что говорил. И какими словами утешать, разве их можно утешить?

В эгоизме своего счастья он не желал печали, не желал боли, причиняемой жалостью, желал нераздельно принадлежать своему счастью. Шел потому, что как же не пойти — не по-людски, не по-товарищески...

Зеленые жалюзи были подняты, сквозь них белели занавески.

Отворила Зойкина бабушка: глянула через цепочку — кто там — и впустила. На робкое «здравствуйте» Севастьянова ответила густым голосом, ободряюще:

— Здравствуй, зайди, — и важно покивала головой, как бы говоря: «Да, такие у нас обстоятельства, что же делать, тут уж ничего не поделаешь».

Она сказала, что Зочка занимается во дворе. Он прошел через комнаты и кухню, — все было на прежнем месте, аквариум, пианино, цветы, полки с сияющими кастрюлями. Тот же пол, как свежим лаком покрытый, и дорожки от двери к двери — без единой морщинки. Будто никто не ушел из дома навеки. «Как странно», — думал Севастьянов. Он бы счел более закономерным, если бы нашел в доме упадок и хаос, и среди хаоса они бы лежали замертво.

У Зойки оказалась целая компания — два парня и две дивчины, все незнакомые. Они сидели под черешнями на разостланном рядне. кругом были разложены книги, тетради, листочки. Зойка сразу увидела Севастьянова, выходящего из дома. и смотрела на него пристально, не вставая, — по ее лицу двигалась пестрая сетка теней и солнца, и он не мог разобрать выражения этого маленького похудевшего лица, неподвижно обращенного к нему... Это длилось несколько секунд, не больше. Отложив книгу, она встала ему навстречу. Судорога прошла по ее горлу, точно она что-то проглотила с трудом; но она не заплакала.

— Здравствуй, Шура.

— Здравствуй, Зочка. Как живешь?

Он готов был убить себя, уничтожить на месте за этот вопрос! Но честное слово, это сорвалось с языка от растерянности и беспомощности перед ее горем.

И она это поняла, как понимала все с ним происходящее всегда, всегда. Ей, кажется, даже понравилось, принесло ей облегчение, что он приступает к разговору так обыкновенно, буднично, — словно никто не ушел навеки.

— Вот, немецким занимаемся, — ответила она. — У нас у всех с немецким так плохо, что хуже некуда. Зна-

комья. — Она назвала какие-то имена. — А это Шура, мой товарищ детства.

Ребята недовольно посмотрели снизу на Севастьянова. Он сказал:

— Я помешал вам.

— Немножко, — согласилась Зойка.

Она стояла, сложив на груди руки и держа себя за локотки. Губы у нее были бледненькие, голубоватые от бледности. И вообще выглядела как после тяжелой болезни.

— Пойдем, пусть они занимаются, — сказала она и пошла впереди, все так же крепко ухватив себя за локти.

— Я тебя еще не поздравляла, — сказала она не оборачиваясь.

— Спасибо, Зойка.

Он ждал, что Зойка спросит: «Почему она не пришла?» Но Зойка не спросила.

Зоя не захотела с ним пойти, сказала: «Ну, на Первую линию мне теперь дороги закрыты», — Севастьянов понял это так, что ей там невозможно показаться после того как родные ее прогнали. Но по Зойкиному молчанию он догадался, что есть и другая причина. Рассорились, что ли? Или то, что одна счастлива, когда другую постигло несчастье, стало стеной между ними?

— Поздравьте Шуру! — сказала Зойка, вводя Севастьянова в комнату, где ее мать и бабушка сидели друг против друга: бабушка торжественно держала перед собой поднятые руки с распяленным на них мотком шерсти, а Анна Алексеевна сматывала шерсть в клубок быстрыми ловкими движениями.

— Они с Зоей поженились, поздравьте его.

Анна Алексеевна обернулась и уколола его острым взглядом. Бабушка с воздетыми руками многозначительно покивала головой, как бы говоря: «Да, да, такие обстоятельства, тут уж ничего не поделаешь». Они продолжали свое занятие. Стоя возле них, Зойка сказала:

— А я поступаю на работу.

Он знал, что после смерти отца она станет во главе семьи — работница и заботница, ответственная за себя и за этих двух старых женщин.

— Иду учить детей. Меня принимают в железнодорожную школу, в первую ступень.

— А педфак?

— Думаю — окончу. У нас большинство и учится, и работает.

— Нелегко! — посочувствовал Севастьянов и покраснел — до того неуклюже прозвучало слово сочувствия. Что ни скажешь — все не то и не так.

— Что же Зоя не приходит? — тихо спросила Анна Алексеевна. — Ходила, ходила...

— Мама! — сказала Зойка и положила ей руку на плечо. Но Анна Алексеевна продолжала, голос у нее срывался от ненависти:

— Пять лет ходила. Что ж перестала? Когда нам хорошо — она здесь, а когда...

Быстрыми движениями она мотала шерсть и светлым, яростно разгорающимся взором вонзалась в лицо Севастьянова, подавшись вперед, — он даже отступил на шаг перед этой ненавистью, которую так неприкрыто выражала ему тихая женщина, прежде спокойная и приветливая. Ясно, — ее ненависть вытекает из заблуждения насчет Зойкиных чувств ко мне, подумал Севастьянов. Ему стало тяжело от этого заблуждения, тяжело за ничего не подозревающую Зойку и за Анну Алексеевну, что она мучается, что она придумала себе еще это горе... Все же он тогда не мог угадать подлинных размеров ее ненависти. До конца своих дней ненавидела его Анна Алексеевна; до гроба не простила ему того разговора в клинике, у постели умирающего; и Зои ему не простила. Беды, постигавшие его впоследствии, она воспринимала как расплату; и все ей было мало, все, казалось ей, он недоплатил. И любовь к дочери никогда не могла заставить ее, исступленную мать, говорить с Севастьяновым по-доброму и смотреть на него иначе, как этим пронзительно светлым колющим взглядом.

— ...а когда плохо нам — ее нет, — выговаривала она с болью.

— Мама! Мамочка! — укоризненно повторила Зойка, а Севастьянову сделала властный знак — молчи, не отвечай.

— Зойка! — заорали во дворе. — Зойка!

Зойка выглянула в открытое окно, крикнула: «Сейчас приду!» — и вернулась.

— А через несколько дней, — сказала она, глядя мать по спине, — мы с мамой уезжаем в Ейск. Договорюсь окончательно насчет работы, и сейчас же мы уедем. На все лето.

Это прозвучало предупреждением: не трудись придти, меня здесь не будет.

«Такие обстоятельства», — подтвердила бабушка, покачивая головой.

«Я им ни к чему; уходить надо». Трудно было стоять столбом посреди комнаты — «сядь» никто не сказал. Он виноват, конечно, он тоже, как Зоя, не был с ними в их черные дни, Зойка маленькая разочаровалась в его дружбе и хочет, чтоб он ушел. Раньше она этого не хотела. Но мало ли что было раньше, отношения разладились, у каждого теперь своя жизнь, они не находят, что сказать друг другу... Зойка умолкла, у нее усталый вид. Она от него устала, от его немоты, неуклюжести, ненужности. Ей хочется к тем под черешнями, она им крикнула: «Сейчас приду».

— Значит, так.

— Значит, так.

— Помочь чего-нибудь не надо? С поездкой. Упаковать, проводить...

— Спасибо, ничего не надо.

— Ну, до свиданья. Будьте здоровы. Хорошо съездить вам.

— Будь здоров, — покровительственно сказала бабушка.

Через тихие чистые комнатки, полные зеленоватого — от жалюзи — аквариумного света, Зойка проводила его до парадной двери. Он шел, радуясь, что уходит из дома, где не знаешь что говорить, где одни тебя ненавидят, а другие к тебе равнодушны... Но когда прощались в передней — вдруг ощущение утраты охватило его, такое тревожное, что он не сразу выпустил ее руку, хотя она и глядела на него далекими глазами.

— Зойка! Слушай! Я страшно хочу, чтоб ты скорей успокоилась. Чтоб тебе было хорошо. Ты знаешь, правда же — я по-настоящему хочу, чтоб тебе было очень хорошо! Слушай, пожелай и ты мне... Ты даже не сказала, что ты об этом думаешь.

— Да, я хотела сказать, — торопливо произнесла она, — я забыла сказать — я рада, что Зоя ушла наконец из семьи, сколько раз я говорила — уходи. Мы звали ее жить к нам, но они не позволили... Я рада. Она веселая?

— Да.

— Ты ее любишь.

— Да.

— Она прекрасная.

— Правда?! Правда?! — переспросил Севастьянов в восторге от ее одобрения.

Бледные губы бледно улынулись его восторгу.

— Ты так счастлив, — сказала Зойка маленькая, — что тебе прибавят мои пожелания? Будь счастлив всегда, как ты счастлив сейчас.

И он переступил этот порог и захлопнул за собой дверь. И зеленые жалюзи, сощурясь, смотрели искоса, как он уходит по солнечной улице.

40

Ведьмы стали очень прилично обращаться с Севастьяновым после того, как Семка Городничий переселился к брату. «Кто же его брат?» — спросили они; ответ подействовал волнующе. Каким-то образом ведьмы узнали и о квартире с казенной обстановкой, и о Семкиной поездке на курорт (не иначе — подслушивали под севастьяновской дверью); и, кажется, им вообразилось, что Севастьянов тоже этаким заколдованный принц, что ли, — живет-живет в полупустой комнатушке, умывается над кухонной раковиной, а потом и за ним вдруг явятся короли и королевы и уведут в шикарную квартиру с казенной обстановкой... Они даже стали говорить Севастьянову «здравствуйте», и он им отвечал благодушно, он был парень уживчивый.

Но стала приходиться Зоя, и они опять выпустили свои когти. Севастьянов терпел. Когда же Зоя совсем к нему переселилась, он вышел в их бушующий курятник и произнес небольшую речь:

— Это моя жена. Прошу нам выделить место, чтобы мы могли поставить наш столик и примус. Нападки прошу прекратить, чтоб мы их больше не слышали.

Его ведь не было дома почти целый день, он должен был обеспечить Зое спокойное существование.

И ведьмы присмирели, они поняли, что он уже не мальчик, но муж, на них произвела впечатление его уверенность. Окончательно же приручила их Зоя. Кого угодно умела она очаровать. Не прошло и недели, как ведьмы ей уже улыбались и угощали пирожками.

— Вот черт. Как ты добилась?

— Я не добивалась. Я не понимаю, что вы нашли в них страшного. У нас на Первой линии куда скандаль-

ней были тетки. Эти мне расказывают свою жизнь...

— Может быть, дело в том, что мы с Семкой их не просили рассказать нам свою жизнь?

— Очень может быть, — ответила она убежденно. — Им же надо кому-то рассказывать. А друг другу они давно рассказали и спели.

— Спели?

— Да. Эта, которая носит валик на голове, Ольга Кирилловна, — она мне поет романсы, которые пела в молодости.

— А инвалиды тебе тоже поют? — спросил он смеясь.

Она и с инвалидами подружилась, и они с ней раскланивались и заговаривали приятельски, и играла и бегала по двору с Дианой, собакой Кучерявого.

Собака прижималась к ее ногам и заглядывала ей в лицо.

Люди и собаки льнули к ней.

Севастьянов был здорово загружен. Акопян отнесся к его просьбе чутко — завалил его работой выше головы; в ячейке приходилось замещать секретаря, молодого печатника, ушедшего в отпуск. Но, несмотря ни на что, раз-другой в день Севастьянов забегал домой проведать — как там Зоя; увидеть ее, услышать, увериться, что все обстоит так же, как три часа назад... Все обстояло так же и даже еще лучше. И полно событий было начало лета.

Он вел ее на базар, чтобы накормить. Вел за руку, как ребенка. Над степью пролетала в это время гроза, краем зацепила город; докатывались ее раскаты, дождь шел, а солнце продолжало сиять. Они не спеша беззаботно шли под теплым дождем. Ее темные кудри намокли и стали почти черными. Платье облепило плечи. И на губах была влага дождя, когда он поцеловал эти губы. Навстречу шли с базара молочницы, гремя пустыми бидонами, и смотрели на них с негодованием, которое их смешило.

Пришли на базар, он ее кормил своими любимыми кушаньями. После всего купили клубники и ели ее на ходу, такое было удовольствие — выбирать для Зои самые крупные ягоды. Почему-то им необходимо было наточить нож. Лакомясь клубникой, промокшие до нитки, они искали точильщика. Тот стоял под навесом рыбного ларька, где гирляндой висели на веревке копченые рыбы такого цвета, как начищенный самовар. Точильщик то-

чил нож, бенгальскими звездами слетали с точила искры. В соседнем ряду торговали свежей рыбой: длинным валом было навалено животрепещущее мокрое серебро. Серебро дождя поливало эти груды сулы, чебака и сазанов, перламутровые глаза и дышащие жабры на малиновой подкладке...

В другой раз их настигла настоящая гроза, они пережидали ее, вместе с другими прохожими, в чем-то темном парадном. Когда грохот ливня и грома утих, вышли на добела умытую улицу. По мостовой, в гребнях пены, скакал поток. Пришлось разуться. Севастьянов засучил брюки. Босиком перешли они бурный поток, неся обувь в руках. И смеялись, все им было смешно.

Тем ножом она порезала палец. Как он испугался! — до холода в спине — при виде крови. От испуга накричал на Зою: голова садовая, надо же помнить, что нож наточен! Он видел кулачные бои, сам, пацаном, в кровь бился с пацанами; но здесь была *ее* кровь, бегущая стружкой из *ее* пальца, из продолговатой, как виноградина, подушечки *ее* пальца...

Покупали материю на платье. Она вошла в магазин с благоговейным выражением. Тихим взволнованным голосом сказала продавцу: «Покажите, пожалуйста, маркизет», — старик продавец понял, что случай чрезвычайный, огромный, и отнесся к ней так внимательно... Осторожно щупала, перебирала, поглаживала ткань ласковыми руками, — один палец был перевязан белой тряпочкой...

Ходили в кино (тогда оно называлось «биограф»); смотрели «На крыльях ввысь» и «Банду батьки Кныша», и американские картины с ковбоями и погонями, и старые картины с Верой Холодной — неправдоподобная жизнь в особняках и виллах, любовные измены, адская ревность с смертельным исходом. Что бы они ни смотрели, они ежеминутно целовались, словно им больше нигде было целоваться, кроме как в биографе, в сумраке сеанса. И руку *ее* он крепко держал в своей, кто бы там на экране за кем ни гнался и кто бы ни травился.

Бывали в театре и на концертах, она все это любила еще больше, чем он. «А куда мы пойдем сегодня? — спрашивала. — А куда пойдем завтра?» В молодежный летний клуб пошли два раза и перестали ходить: там мелькало желтое больное лицо Спирьки Савчука и на всех аллеях, куда ни сверни, болтал, резвился, вертелся перед девчатами нарядный, пропахший кожаным за-

пахом, розовый и миловидный, как девочка, Ленька Эгерштром. Савчук отворачивался, а Ленька позволял себе как-то очень странно посматривать на Севастьянова, очень обидно, с сожалением, — этот пижон! И что еще странней и обидней: Севастьянов не отваживался подойти и спросить — «ты почему так смотришь?» Его щеки тяжко горячели от Ленькиных взглядов, он слышал, как Зоя, идя рядом, начинает хохотать без причины нервным хохотом, который ему не нравился и был непохож на ее настоящий смех, — и он говорил: «Уйдем». Зоя, видя его настроение, сказала, что в молодежном клубе скучно и что ей надоели мальчишки.

И без молодежного клуба можно было хорошо провести вечер. В гостеприимный теплый город приезжали из Москвы на гастроли театры, певцы, музыканты. Контрамарки всегда удавалось достать через редакцию.

Был один концерт... По глупости и серости Севастьянов не поинтересовался фамилией певицы. Когда объявляли, не слушал, а после не догадался заглянуть в программку — узнать, как звали человека, который, явившись ему однажды и мимолетно, запомнился на всю жизнь. Немолодая, сухая, высокая, острые локти, большие руки. Большой рот становился удивительно красивым, когда она пела. А пела она о любви Севастьянова, только о любви Севастьянова, ни о чем другом; и пристально, казалось ему, глядела на него близко посаженными темными глазами, и он ей улыбался смущенно-благодарно, тронутый ее сочувствием, ее совершенным пониманием того, что в нем делается. «Мой голос для тебя и ласковый и томный... — торжествующе пела она, это было молодое, первое торжество Севастьянова, — во тьме твои глаза блистают предо мною»... «Я чего-то так робко, так трепетно жду», — пела она потом иначе, медленно, пригашенно, как сквозь дымку, это Севастьянов рассказывал о нынешнем своем постоянном ожидании нового и нового потрясения счастьем. Темные, близко посаженные глаза глядели на него умно и задумчиво. «Она знает! — думал он, полный ответного понимания. — У нее это было тоже!» И хотя, например, слова романса «Редет облаков летучая гряда» не подходили к его состоянию, но дело ведь не обязательно в словах, дело в том, как спеть, в музыке, усиливающей тревогу, порыв ожидания. И, словно подытоживая то, что носил в себе Севастьянов, женщина пропела негромко: «Откры-

лася душа, как цветок на заре», — и началась ария Далилы, ария, которую с тех пор и навсегда не может услышать Севастьянов без того, чтоб не дрогнуло в нем что-то и не увиделся зал, рояль высоко на эстраде и белое платье певицы, и сам он, напряженно слушающий повесть своей любви. «От счастья замираю! От счастья замираю!» — пел, заполняя зал, распахнутый ликующий голос, — Севастьянов замер и закрыл глаза.

Потом думал: что за контакт с незнакомым человеком, что за нитка вдруг натянулась между ними.

Конечно, она не на него смотрела, у нее глаза такие, немного скошенные, кажется, что смотрят на тебя. А нитка все-таки натянулась.

До чего хорошо, что есть на свете музыка, стихи, рояли, залы, человеческое тяготение друг к другу, человеческое бескорыстное взаимопонимание.

Много добра накопили люди, думал Севастьянов. Зданиями, словами, чувствами обстроили и заселили землю. И как прекрасно — к тому, что накоплено, приложить свою часть, думал он.

Не просто быть и исчезнуть, а оставить после себя что-нибудь достойное быть сбереженным. Достойное быть унесенным в перспективу веков! Какая высокая судьба!..

...А пения такого он больше уже не слышал, хоть и переслушал за свой век несчетное число певцов и певиц.

Севастьянов писал в редакции. Вошел Кушля. С порога уважительно оглянув пишущих репортеров, прошел к севастьяновскому столу, сел и развернул газету.

— Я сейчас! — сказал Севастьянов. — Заканчиваю!

Они по телефону уговорились, что Кушля зайдет за ним в редакцию и поведет показать сына.

Кушля сидел, важно хмурясь, и делал вид, что читает. Но он не мог скрыть свое праздничное настроение, оно разглаживало складки между его бровями, расправляло все его мятое лицо и разливалось вокруг него сиянием. Он был побрит и густо присыпан пудрой, — парикмахер Иван Яковлевич пудры не жалел.

— Замечательная вещь! — сказал он мечтательно, когда они шли по улице. — Ты не поверишь: ручки, ножки, —

дорогой товарищ: копия моих! Ну, не поверишь: ногти моего фасона! — Он любовно посмотрел на свои ногти и показал их Севастьянову. — Такой ноготок, что его почти и не видно, а отлит по этой самой форме, в точности. Глазки голубые: тоже мои; у Лизы серые. Одним словом: мы с ним как две капли воды. Смотрю на него и — веришь: реву. Я, как ты знаешь, крепкой породы, а тут реву и реву. Самому смешно. Ей-богу. Вообще, скажу я тебе: жизнь — хорошая штука!

— Спрашиваешь.

— Хорошая штука. Она тебе, конечно, иной раз такую пакость преподнесет, что даже удивляешься — откуда столько на твою голову... но и награждать умеет. Умеет! И я заметил — уж когда она возьмется награждать, то награждает щедро, надо ей отдать справедливость, — на тебе одно, на другое, на тебе третья!.. Я сына хотел: родился сын. Десять фунтов с четвертью — не каждый, учти, ребенок имеет при рождении такой вес... Теперь — ты послушай — предстоит мне наконец желательная перемена, ну ты знаешь.

— Да что ты! Поздравляю!

— Да. Мне эта петрушка, понимаешь, надоела, что я пишу, они читают, а дело ни с места. Я пошел к Дробышеву. Говорю ему — товарищ Дробышев, у меня желание работать в прессе. Вот, говорю, я тебе почитаю. Он говорит — оставьте, я сам прочту. Нет, говорю, читай тогда при мне. Немножко с ним поспорили. Но потом я оставил, и вот сейчас был у него за ответом. Я тебе скажу — он партиец настоящий. Акопяну что главное? Ему главное — как написано. Каждое слово перебирает и придирается. Можно лучше написать, можно хуже. У одного большой талант, он, ясно, лучше напишет, у другого талант немножко меньше — он напишет немножко хуже. А Дробышев смотрит в самую суть, он смотрит: кто писал.

— И что он сказал тебе?

— Он привел мудрую поговорку: терпенье, говорит, и труд все перетрут. В данный, говорит, момент не могу вам ничего предложить, но вот с осени будет у нас сельская газета, по типу центральной «Крестьянской газеты», мы вас туда устроим. Я, говорю, хочу такую должность, чтоб меня печатали. Ну что ж, говорит, будете разъездным корреспондентом, селькоровское движение будете организовывать, это одно с другим связано. Поскольку, гово-

рит, вижу я, вы знаете деревню. А то мне не знать деревню!.. «Советский хлебороб» будет называться газета.

— По-моему, Андрей, это очень тебе подойдет!

— Что значит подойдет, — можно сказать, превосходит самые смелые фантазии. Разъездной корреспондент!

— А насчет жилплощади не говорил с ним?

— Говорил. Обещает. Не сразу, но до зимы обещал устроить что-нибудь. Уж это точно, заметь: если начнет получаться, то подряд все получается. Как по щучьему веленью... Обязательно, сказал, что-нибудь вам с семьей устроим. С семьей! Слышишь? — сияя, спросил Кушля и ткнул Севастьянова локтем. И вдруг глубоко помрачнел. — Да, а с Ксаней-то не решена проблема. И покамест я эту проблему не решу, будь уверен, пусть мне Дробышев хоть всю редакцию, понимаешь, под жилье дает, я из своего угла не выйду и с семьей не объединюсь, потому что это будет с моей стороны очень и очень нехорошо!

Он утер глаза.

— Жалко ее — не можешь себе представить, до чего. Как вспомню о ней — сердце кровью обливается. Так вот идешь человеку навстречу в его чувствах и не думаешь, каково обоим это будет расхлебывать! А голова, между прочим, дана, чтоб думать, верно?

— И что же ты теперь думаешь?

— Мы вместе думали, — ответил Кушля, сморкаясь, — ей тоже ясно, что как-то надо же выходить из положения. Поскольку Андриюшка налицо. Прежде не было, понимаешь, определенности. Она вполне имела право надеяться, что, возможно, в ее пользу обернется дело. Обе они надеялись и такое, ты знаешь, кругом меня развели... Мы с ней беседовали откровенно. Ты, говорю, пойми, что такое сын. Он меня своими ручками и глазками вот так взял и уже никогда не отпустит. Она говорит — я понимаю. Я ее спрашиваю: можешь ты перестать страдать? Можешь ты переключиться на какую-либо деятельность? Она говорит: ничего я не могу. Ты, говорит, меня куда-нибудь девай. Обсудили мы вопрос всесторонне, и написал я, знаешь ли, на родину, в Маргаритовку.

— Хочешь отправить ее в Маргаритовку?

— Да, хочу ее туда отправить.

— Считаешь, что это выход?

— Единственный выход, дорогой товарищ, и неплохой выход! — убежденно ответил Кушля. — Либо нам уезжать с Андриюшкой и Лизой, либо ей. А то она возле отделения как нанятая ходит и отчаивается, и может кончиться тем, что она со своим упадочным настроением под трамвай ляжет: тогда что?.. Не зря, нет, не зря она просит: девай меня куда-нибудь. Ей и самой уж хочется просвет найти и жизнь свою нескладную переменить, да не знает как. Теперь: что мы имеем в Маргаритовке? В Маргаритовке, считай, половина жителей носит фамилию Кушля. И наряду с кулаками Кушлями и сволочами Кушлями есть и пролетарский элемент под той же фамилией. Двоюродный брат мой, например, Кушля Роман — председатель сельсовета, бедняк по социальной сущности. И тетка есть беднячка, — слушай, незамужняя, хвора, живет одна. Лежит который год летом на лавке, зимой на печи, напиться подать некому, а хлеб пекут ей обществом, в очередь, чтоб с голоду не померла. А хата у тетки своя, и ничего еще хата, жить можно. Я как вспомнил про эту тетку — да вот же оно спасение, думаю! Написал брату Роману: мол, болеет у меня супруга — «супруга» написал, нельзя иначе, а то как на уличную будут смотреть, хотя какое бы их дело, а?.. Болеет, написал, супруга сердечной болезнью — насчет болезни истинная правда, — и прошу, чтоб она у тети Ефросиньи Михайловны пожила на лоне природы. Деньги буду высылать сколько могу, а она за тетей Ефросиньей Михайловной присмотрит по правилам, имея медицинское образование; и хозяйство будет вести своей женской рукой.

— И Ксаня согласилась?

— Согласилась. Поплакала сильно, но согласилась. Куда-то деваться надо же. А куда, кроме Маргаритовки?.. Не говори! — попросил Кушля, видя, что Севастьянов что-то хочет возразить. — Вот посмотришь: если это дело выгорит — замечательно будет! Ксаня успокоится, это одно: места новые, воздух великолепный. Сейчас там жердёл полно, скоро вишня поспеет. Море... Море, правда, такое, что на версту от берега уйдешь и все по шиколотку, — а все ж таки море. Она и здоровье свое поправит, и меня забудет, чего и ей желаю, и себе. Второе. И главное. Надеюсь я от всей души, чтоб она воскресла как активная личность. Я Роману описал, какую она имеет квалификацию. Ведь она и перевязки, и банки,

и нарыв разрезать, все умела как нельзя лучше. Как нельзя лучше! И вот я думаю. Больница там за шестьдесят верст. Да захоти только Ксания — к ней валом народ повалит! У нас знаешь как любят лечиться? Спасу нет до чего любят! Валом повалят и всё ей понесут, первым человеком она может стать, если захочет. И мужа найдет, и дети будут, и с меня эта ошибка снимется. Дорогой товарищ, я разобрался и признаю: моя это ошибка, нечего на бабью дурную голову валить. Личная моя ошибка, и чувствую я ее — не поверишь, как больно!

Но он уже опять сиял, так утешила его картина Ксаниной будущности. Лучезарная эта картина позволяла ему с чистой совестью упиваться собственными радостями, сегодняшними и предстоящими. Обычно степенный, внимательно выслушивающий собеседника, он был в этот раз возбужден, взмахивал руками, говорил без передышки, не давая Севастьянову вставить слово.

— Еще одну вещь хочу тебе сообщить очень важную. Не знаю, ты помнишь ли нашу беседу насчет твоих знакомых девчат, не помнишь? Я высказывался, как меня обделила судьба, что за всю мою жизнь я не знал, что оно такое — дорогая и чистая женская дружба! Вспомнил? Ну так вот: она ко мне заходила.

— Кто?

— Зойка маленькая. Лично ко мне. Сижу, понимаешь, вечером один, Гришка домой ушел (Гришка был новый помощник, взятый на место Севастьянова). Отворяется дверь, — она. Здравствуйте, говорит, мимо шла и зашла, давно вас не видала, как поживаете? И здороваемся за руку. Мне неудобно выкладывать мои мужские новости, что, мол, Лиза в родильном доме, рожает и так далее, — я спрашиваю уклончиво, как вы-то живете-можете? У меня, она отвечает, большое несчастье: умер мой папа. Смотрю — она худенькая, бледненькая, я поначалу так очумел, что не заметил. И всегда она была не шумная, а сейчас вовсе тихая стала, и шагов не слышать, будто по воздуху ходит. Говорю — боже мой; я и не знал; когда же, спрашиваю, от какой причины? И ты не поверишь: сели мы с ней на подоконнике рядышком! Рассказала, как отец болел, как она у него в больнице бывала каждый день, а последние дни они с матерью от него не отступали, разрешили им, — и как отец с ней разговаривал и беспокоился, чтоб она не горевала и на могилу к нему чтоб поменьше ходила, — нечего тебе, сказал, на

кладбище делать, делай свое дело молодое! Видать, любил ее. Сказала, что в железнодорожной школе будет работать с осени. Все, в общем, свои новости изложила мне как другу. Как другу! — повторил Кушля, блестя глазами.

«Это я, — думал Севастьянов, — должен бы сидеть с ней рядом, и мне она должна была все это рассказать. А я пришел бесчувственный как деревянный чурбан, боясь, как бы не опечалиться ее печалью, она мою боязнь моментально увидела и выставила меня в два счета, — правильно сделала...»

— И понимаешь, — продолжал Кушля, — так мы с ней дружески рядом сидели, так она хорошо на свои колени облокотилась и голову ко мне повернула, что я сам не заметил, с чего начал, но слышу — уже делюсь с ней напропалую: и про Ксаню, понимаешь, и про Лизу, и что Лиза рождает в данный момент, и всей своей автобиографии коснулся слегка, чтобы пояснить ей мою драму. Спросил: что вы мне посоветуете. Она поддержала, что моя мысль правильная: ребенок — главное. Взрослый, говорит, может перенести разочарование и крушение... что-то в этом духе сказала... А ребенку, говорит, нужен отец, чтоб воспитывать и защищать. Именно! Именно защищать, понимаешь, я обязан Андрюшку, я так же само понимаю! Защищать его от империалистов и ихних пособников, от всей мировой гидры! И воспитывать как борца за всемирную революцию!.. Великолепно, дорогой товарищ, побеседовали, культурно и душевно! Говорю тебе: уж если повезет, то везет во всем!

Неиссякаемо юно было это сердце. Неудачи не ложились на него грубыми рубцами, оно оставалось открытым для высоких и нежных впечатлений, и ярко-голубые глаза лучились.

— Ну, музыка недолго играла: пришла Ксаня. Села напротив нас, семечки лускает и смотрит — представляешь, как смотрит!.. Зойка встала и говорит: я попрощаться, собственно, зашла, мы с мамой завтра уезжаем на лето к знакомым в Ейск. Оглядела помещение, — а у вас, говорит, ничего не изменилось, те же столы и стулья, даже паутина на потолке, пошутила, та же самая... Попрощалась и ушла, как сон!

Они приближались к цели своего похода. Севастьянов завидел стоящую у ворот толстуху Лизу в розовой блузке, с белым свертком на руках. Притопывая каблучком,

проворно двигая пышными плечами, она качала сверток и улыбалась навстречу Кушле.

— А мы папочку встречаем, встречаем! — тонким голосом не то пропела, не то прокричала она, когда Кушля и Севастьянов подошли поближе. — А мы за папочкой соскучились, соскучились!

Кушля сделал строгое лицо и осторожно раздвинул кружевца на свертке. Среди кружевной белизны показалось крохотное темно-красное спящее личико.

— Спит Андрей Андреич, — сказал Кушля, сверху важно глядя на ребенка. — Двенадцать суток исполнилось Андрею Андреичу.

— Двенадцать суток с половиной! — живо уточнила Лиза и, качая, поднесла ребенка Севастьянову. — Похожи мы на папочку?

— Страшно похож! — ответил Севастьянов. — Изумительно!

Кушля не принял шутки.

— То-то, брат! — сказал он с достоинством.

В присутствии Лизы к нему вернулась его степенность. Словно не он, размахивая руками, ребячески восторженно изливал сейчас Севастьянову свои планы и новости. При Лизе и Ксане он всегда держался внушительно, слегка загадочно.

— Дай-ка его сюда, — сказал он и, взяв сына из Лизиних рук, понес в дом. Лиза мелким бегом побежала за ним на каблучках.

Она жила с двумя сестрами и Андрюшкой в маленькой комнате, заставленной вещами. Первым делом бросался в глаза высокий черный манекен; он стоял против двери, воинственно выкатив грудь. Была тут ножная швейная машина, за нею сидела и шила одна из Лизиних сестер. Была гладильная доска; другая сестра на ней что-то гладила паровым утюгом. Две кровати с множеством подушек в кружевных и вышитых наволочках, комод с множеством флаконов, коробочек и фотографических карточек и стол, на одной половине которого было накрыто к обеду, а на другой лежали куски раскроенной ткани. На стене висело какое-то рукоделье, изображавшее Пьеро в черной бархатной шапочке и тюлевом воротничке, а рядом — детская цинковая ванночка. Пол засыпан был обрезками материи.

Как Севастьянов ни отказывался, его заставили пообедать, пристали: «Уж покушайте с Андреем Никити-

чем!» Прежде чем усадить их, Лиза сняла со спинок стульев развешанные пеленки и смахнула с сидений лоскутки. Обедали Севастьянов и Кушля вдвоем. Одна из сестер не переставая шила, то на машине, то иглой, и иногда, подняв голову, взглядывала на обедающих мужчин, и по лицу ее разливалось удовольствие. Другая сестра подавала и принимала со стола. А Лиза то пеленала ребенка, то нянчила его, крутясь на свободном от мебели и людей местечке между Кушлей и манекеном, пристукивая каблучком и приговаривая:

— А теперь наш папочка селедочки скушает! Скушай селедочки, папочка! А теперь нашему папочке пивка принесут! Выпей, папочка, пивка!

— А вы пиво остудили? — спросила, поднимая голову, та, что шила. — Андрей Никитич не любит, когда теплое.

— Остудили, остудили! — в два голоса ответили Лиза и другая сестра. — Конечно, как можно теплое!

Обед был сытный, обильный. К пиву были поданы раки. Кушля сидел за столом как глава семейства, окруженный почтением и заботой. Видно было, что так его здесь приучили. Он принимал это как должное, но поглядывал на Севастьянова, спрашивая без слов: «Замечаешь, как меня ценят? Замечаешь, какая у меня уважительная и дружная семья?» И, вспомнив его рассказы о Тихорецкой и Великокняжеской, Севастьянов порадовался, что ему хорошо.

После обеда Севастьянова пригласили подойти к кровати и полюбоваться Андрюшкой, которого специально развернули для обозрения. Вид невыносимо беспомощного маленького тельца с дрожащими ручками и ножками скорее ужаснул Севастьянова, чем умилил; но чтобы не расстраивать родителей, он почмокал над дрожащим тельцем губами, пощелкал пальцами и подтвердил, что ребенок первый сорт, что глазки у него Кушлины, ногти Кушлины и носик тоже Кушлин. Ему казалось, что он врет без стыда и совести. Но через шесть лет, приехав из Москвы в командировку, он видел маленького Андрюшу — вылитый был Кушля, только шестилетний, беленький и свеженький, в трикотажном костюмчике; со свеженького детского лица два ярко-голубых глаза невинно и лучисто посмотрели на Севастьянова — глаза отца, старшего Андрея Кушли.

Зоя не захотела ребенка.

— Ну что ты, — сказала она, — куда нам. С ума сойти.

Он смущенно промолчал. «Действительно, — подумал, — как она управлялась бы, такая молодая и ничего не умеет, самой еще хочется побегать и побаловаться на воле, и бабушки у нас нет присмотреть за маленьким, как у людей присматривают». Женщина с злым лицом и мешками под глазами, что швырнула ему Зоин узелок, в счет не шла — бабушки такие не бывают, и у Зои там все кончено.

Он взял аванс — тридцать рублей, заплатить доктору, и проводил Зою, вернее она его проводила, потому что она знала адрес, а он не знал. В темной передней они простились, неловко и наспех, шепотом, как заговорщики. Зою доктор увел в комнаты, а Севастьянову велел прийти за ней вечером. Севастьянов медленно шел прочь от дома, где она осталась, и думал — не оговорился ли доктор: не может быть, чтоб вечером она была уже настолько здорова, чтобы идти домой. Он слышал, что это дело опасное и кровавое; и она была бледна, когда, уходя в докторские комнаты, закрытые для Севастьянова, оглянулась и принудила себя улыбнуться. Ему эта обреченная улыбка причинила прямо-таки физическую боль. Причиняло боль и то, что доктор, видимо, раньше был знаком с Зоей и обращался с ней přátельски и небрежно...

Эту мысль Севастьянов отгонял, как привык отгонять все мысли, оскорбительные для Зои. Но что ей больно, что она лежит с этой болью одна в какой-то неизвестной ему страшной комнате, — этим не мог не мучиться весь бесконечный день... Сбегал домой, прибрал немножко, положил на стол плитку шоколада — она любила. Потом застал себя на той улице, перед тем домом. Докторская квартира была на втором этаже. Задрав голову, Севастьянов разглядывал окна второго этажа. Вышел на середину мостовой, чтобы лучше видеть. Окон было много, на одних висели тюлевые гардины, на других полотнояные, невозможно было определить, за которой из гардин ее прячут, что с ней делается...

Вечером звонил у отвратительной этой двери на втором этаже. На этот раз его и в переднюю не пустили, велели ждать на площадке. Но при этом сказали: «Сей-

час она выйдет»; гора с плеч... Она вышла очень бледная, ступая осторожно, не спеша. Волосы ее зачесаны были гладко, и это вместе с бледностью делало ее лицо по-новому трогательным, страдальческим. В руках у нее был маленький сверток в газетной бумаге — ее одежды. «Возьми», — ласково-покровительственно, как взрослая мальчику, сказала она и отдала сверток Севастьянову. Дверь за ней захлопнулась. Молча, тихо, чуть-чуть приоткрылся он губами к ее прохладному лбу; взял за руку и повел вниз по лестнице...

Дома она легла в постель и ела шоколад, отдыхая от пережитого, и он поил ее чаем. И стерег, сидя возле кровати, пока она не уснула. В бережной тишине кончился вечер. Смуглел прямоугольник окна; света Севастьянов не зажигал. Как там во дворе разговаривали, свистели, ходили, — их не касалось и потому не существовало. В их комнатке темнело и стемнело, в темноте царило молчание покоя, глубокого мира после тревоги. Позвякивание ложечки в стакане, нечаянный скрип-стула — и безмолвие снова, и в безмолвии очертания ее головы на отсвечивающей белизне подушки, ее рука, покоящаяся под его рукой...

Дня через два она бегала с Дианой как ни в чем не бывало. Жизнь пошла по-прежнему. Но Зоя стала жаловаться на скуку:

— Я без тебя просто умираю!

Клуб, где она танцевала, на лето закрылся, да она уж и охладела к танцам, к тому же в этом клубе служил ее брат, ей не хотелось встречаться с ним. Она читала книги, которые брала в библиотеке и у ведьм, — читала быстро, глотая книгу за книгой, но без особенного интереса, будто даже свысока, не придавая значения тому, что там написано, — прошло время, когда она благоговела перед пишущими и их творениями... Она играла в мяч с детьми, болтала с инвалидами, с Кучерявым, но это не могло заполнить ее день.

— Скуча-а-ла! Умира-а-ла! — наивно подняв брови, жаловалась она, когда он спрашивал, что она без него делала.

Он понимал: кому угодно в конце концов осточертеет праздность. Очень приятно заставить ее дома, когда ни забежишь; но это — собственнические, буржуазные инстинкты; человек должен трудиться. Стал советоваться с товарищами в редакции и в типографии, как бы при-

строить ее на работу. Но ничего еще не успел придумать и ни от кого получить совета, как она ему сказала с воодушевлением:

— Знаешь, я устроилась!

Ее пригласили к себе инвалиды — буфетчицей. Как буфетчицей, у них и буфета нет? Ну, ради нее, Зои, организуют. Ну, не ради нее, конечно; просто жизнь им подсказывает. Ведь не все посетители хотят непременно пить за столиком кофе или есть мороженое, некоторым желательно просто купить пару пирожков, или даже один пирожок, и унести с собой, для ребенка или чтобы съесть в обеденный перерыв. И таких посетителей гораздо больше даже. Вот для них-то и организуется буфет, и Зоя будет буфетчицей. Она кружилась и веселилась, сообщая все это.

— Ты подумай, какая работа: чистенькая! Прелесть! Я стою в шелковом фартучке! Вся в ароматах! С маникюром!.. Теперь мне обязательно придется сделать маникюр!

— Ты, значит, будешь занята днем и вечером, — сказал Севастьянов, — мы никуда не сможем пойти вместе.

«У инвалидов дела обстоят неважно, — подумал он, — они берут ее за красоту, как та балетная группа».

Зоя не дала ему говорить:

— Ты подумай! Ни на трамвае не нужно! Ни пешком! Перебежать двор, и я на работе! Никакая погода не страшна! И ты представляешь, как мне пойдет маникюр! Ты представляешь: ногти — как розовые миндалины!

Что он мог ей предложить вместо этих радостей? Ровным счетом ничего. Разве — и то предположительно — что-то вроде памятной ему работы на картонажной фабрике... Зоя кружилась перед ним, раздувая свое светлое новое платье. Он перестал возражать.

Главный инвалид, сине-черный, усатый, с очень толстыми бровями, остановил его во дворе.

— Товарищ Севастьянов, ваша супруга любезно согласилась поработать у нас в кафе. Если вы, может быть, имеете насчет этого какие-нибудь мысли, то я вам вот что скажу: я сам отец, имею дочь, и ни я, никто в «Реноме» не допустят даже тени чего-нибудь! Даже тени, товарищ Севастьянов!

— Она согласилась, — сказал Севастьянов, — значит, она тоже так считает. — Он поспешил уйти, этот разговор его смущал.

А после главного инвалида поймал его Кучерявый. Он вышел из своей пещеры — темных больших сеней, где смутно виднелись куда-то ведущие двери, — и захромал к Севастьянову, окликая невнятно:

— Эгей! Эй! А ну!

В белой куртке нараспашку, карандаш за ухом, блокнот в нагрудном кармане. Волосы — матрацные пружины. Белое лицо — ком сырого теста, и на нем маленькие, темные, подвижные, рассеянные, соображающие глаза. В первый раз (и последний) стоял он так близко от Севастьянова.

— Вы что же, — негромко и как-то пренебрежительно спросил Кучерявый и, склонив голову, устремил свой подвижной взгляд на севастьяновские сандалии, — вы, значит, ничего не имеете против, чтобы Зоя поступила в кафе?

«Это уж безобразие, — подумал Севастьянов, — еще и этот будет вмешиваться? Ему-то что?»

— Почему я должен быть против? — спросил он.

Кучерявый раздумчиво вскинул голову и смотрел ему на лоб с выражением отвлеченного интереса, словно решал в уме задачу, — казалось, сейчас вынет из-за уха карандаш, из кармана блокнот и запишет решение.

— Так ведь с улицы придет кто хочешь, — сказал он все так же пренебрежительно-безразлично.

— Ну придет, — нетерпеливо сказал Севастьянов, соскучась ждать, когда он решит свою задачу, — и что из этого следует?

— Придет и будет ходить, ему не воспретишь.

— Не понимаю.

— Наговорит сорок бочек арестантов, — уронил Кучерявый.

— Не понимаю! — повторил Севастьянов, хотя уже понимал и начинал пылать гневным пламенем.

— И уведет, только ты ее и видел, — вздохнул Кучерявый, от вздоха колыхнулись его бабьи покатые плечи.

— Иди ты знаешь куда! — сказал Севастьянов.

— Постой! — негромко вскрикнул Кучерявый вслед. — Эгей! Да ну! Погоди!..

Севастьянов не оглянулся. Он не сказал об этом разговоре Зое. (Первый и последний его разговор с Кучерявым.) Эти пересуды за ее спиной — черт знает что.

Инвалиды сшили Зое шелковый фартучек и наколку. Зоя побывала в парикмахерской и сделала маникюр.

С ногтями как розовые миндалины, с белой наколкой на темных волосах, встала она за прилавком в «Ренеме», забавляясь так же беззаботно, как забавлялась полгода назад клубной сценой и пачками из марли.

Дни и недели, которые за этим следовали, Севастьянов никак не может восстановить подробно и стройно. За далью, за тогдашним смятением, слишком многое сместилось в памяти, одни события распались на куски, на не связанные между собой сцены, лица, голоса, а другие события выросли несоразмерно своему значению...

Когда на страницах «Серпа и молота» стало мелькать имя Марии Петриченко?.. Это была селькорка, писала о работе делегаток женотдела, о рыбацкой артели, еще о чем-то. Заметки были подписаны: хутор Погорелый, Маргаритовского сельсовета.

Севастьянов как-то спросил Кушлю — что за хутор и не знает ли он, Кушля, Марию Петриченко, поскольку сам он тамошний. Никаких Петриченко Кушля не знал.

— Приезжая, — сказал он, — либо какая-нибудь наша дивчина взяла приезжего в приймаки...

Про хутор же Погорелый выразился, что, невзирая на его такое сиротское название, это есть самое вредное контрреволюционное гнездо на всем земном шаре.

О Петриченко упоминал однажды Дробышев на раб-коровском собрании — хвалил за то, что пишет серьезно и принципиально.

Деревне «Серп и молот» уделял не много места, больше занимался городом. Для деревни предназначалась газета «Советский хлебороб», в которой Дробышев обещал Кушле должность разъездного корреспондента; она должна была выходить с нового хозяйственного года¹. Петриченко писала часто, но большая часть ее заметок оставалась в серых папках отдела «Сельская жизнь».

В одно утро Севастьянов пришел в редакцию — там все говорили о Петриченко, об ее письме. Оно было получено, оказывается, еще вчера, а эти моржи в «Сельской жизни» вскрыли только сегодня... Севастьянову дали

¹ Хозяйственный год начинался 1 октября.

прочсть. Начиналось письмо обыкновенно: «Здравствуйте, дорогая редакция! Пишет вам Петриченко Мария с хутора Погорелого». А дальше на нескольких листах, вырванных из старой бухгалтерской книги, с голубыми и красными линейками и жирно напечатанными словами «Дебет» и «Кредит», Петриченко в прозе и в стихах прощалась «со всеми уважаемыми сотрудниками», желала им дождаться полного коммунистического счастья и жалобилась горько, что в молодых годах, имея малых детей, «ничего не успевши повидать на нашем красном свете», должна она расстаться с жизнью и общественной работой через врагов советской власти. В конце — просьба устроить детей после ее смерти «куда хотите, абы не пришлось им на моих же убийц батрачить». Письмо было литературное и в то же время искреннее. Писал человек тщательно, но в расстройстве, в предвидении беды. Некоторые усомнились, говорили: «Нервы, кто-то ее пугнул, она и запсиховала». Но большинство поняло смысл письма правильно: покуда здесь в редакции заметки Петриченко регистрировали, почитывали, похваливали, кое-что печатали, кое-что мариновали, сдавали в набор, пускали в котел, — на хуторе Погорелом, в степных кукурузных, подсолнечных джунглях, у Марии Петриченко с разоблаченными ею врагами дошло до черты, вопрос стал ребром: кто кого.

Акопян, узнав, что письмо пустили по рукам и таскают из комнаты в комнату, забрал его и запер. По его распоряжению из папок срочно выбирали неопубликованные заметки Петриченко и несли к нему, и он их читал. Всегда выдержанный и вежливый, он при всех сказал заведующему «Сельской жизнью», акцентируя от волнения и сверкая черными глазами:

— Чем бы эта история ни кончилась, тебя в редакции не будет, или я не Акопян!

Почему-то после этих слов даже легкодумам, даже сомневающимся стала до конца ясной трагедийная правда письма. В редакции стихло, каждый уткнулся в свою работу. Совсем замерла, невидимой и неслышимой стала «Сельская жизнь», грубый толстый губастый парень с маленьким пенсне на большом красном лице; Коля Игумнов про него говорил, что Харлампиев врет, будто он сын сельского учителя, на самом деле он сын лавочника, Коля Игумнов это чувствует как художник.

Пришел Дробышев, они заперлись с Акопяном и Харлампиевым. Потом вдруг вызвали Севастьянова. Едва он переступил порог, Дробышев спросил:

— Вы работали с Кушлей, вы хорошо его знаете?

— Хорошо, — ответил Севастьянов.

— Толковый товарищ? Если послать его на этот самый хутор Погорелый — сумеет выяснить обстановку?

— Безусловно. Тем более что он оттуда родом.

— Вот-вот, из Маргаритовки, — сказал Дробышев, глянув в лежащий перед ним листок. — У нас впечатление — боевой товарищ, вы как считаете?

— Боевой, — подтвердил Севастьянов.

Харлампиева в кабинете уже не было. Сидел Акопян, Дробышев стоял за своим столом, держа руку на вилке телефонного аппарата.

— Осветить не сможет как следует, — сказал Акопян. — Пишет плохо.

— А вы помогите, напишите хорошо, — возразил Дробышев. — Главное, должен быть человек, чтоб быстро разобрался в отношениях и мобилизовал местные силы. С классовым чутьем должен быть человек, — заключил он и снял трубку с вилки...

... — Уж везет, так везет! — сказал Кушля Севастьянову. — Дорогой товарищ, я, как тебе известно, ни в бога, ни в черта, ни, понимаешь, в святых угодников... Но что ты скажешь в данном конкретном случае? Скажешь — судьба. Не скажешь, нет? И ведь верно: нам, марксистам, не подобает это говорить. Верно: стечение обстоятельств. А я Ксане сказал по-простецки: судьба! Ехать, сказал, тебе в Маргаритовку, и никаких гвоздей, видишь же — помимо нас с тобой так сложилось, что я имею возможность лично отвезть тебя и устроить. От двоюродного брата Романа до сих пор ответа нет. У нас там по два года чешутся, пока соберутся письмо написать. Ладно. Нехай они чешутся, а мы вот они с Ксаней.

Он был совершенно удовлетворен: его признали, позвали, поручили ему важное дело.

— Конечно, такого материала никто не соберет, как я. Во будет материал! Дробышев спрашивает: как вы думаете, она не преувеличивает, Петриченко?.. Будь уверен, говорю, ничего она не преувеличивает. Я письма ее прочитал — так и вижу эту картину кулацкого засилья и в кооперации, и в сельсовете, через слабость характера двоюродного брата Романа, и на всех, понимаешь, клю-

чевых позициях; у всех истоков, понимаешь, откуда только проистекают барыши и власть! Это истинная картина, я все фамилии знаю, что она указывает. И в морды многих сукиных сынов помню. Они так же и мной мечтали пользоваться, как братом Романом. Моей непорочной автобиографией мечтали обгородиться, как проволочным ограждением! Я все там, говорю, уточню и доведу до революционной законности, будь уверен! И он мне протягивает руку и говорит — дадим вам, говорит, если потребуется, вплоть до двух подвалов... Двух подвалов!

— Ты напишешь здорово, — сказал Севастьянов, — я по тому сужу, как ты рассказываешь.

— Я тоже полагаю, что здорово, — сказал Кушля. — А если, возможно, произойдет заминка в литературном отношении — подлежащие-сказуемые, — пособишь оформить, ладно?.. Удостоверение выдали (он показал) и письмо в уком. И, в общем, через два часа отбываем. Для Ксани, конечно, гораздо легче, что так получилось: то бы, понимаешь, сборы, да прощанья, да отклады-ванья, — оба мы измучились бы. А тут — раз-два, недолго думая, сели вместе и поехали, я ее с родней знакомлю, местность показываю, где я родился и рос, все по-хорошему и не так ей, бедной, обидно... Черт, хотел забежать, купить Андрею Андреичу какую-нибудь погребушку... Замотался и не поспел, магазины уже закрыты. Ну, бегу с ним проститься! Будь здоров, всего тебе!

— И тебе! — от души пожелал Севастьянов.

... — Игумнов поедет с тобой, — сказал Севастьянову Акоюн, — сделает зарисовки. Место не ограничиваем. Ехать надо вечером, завтра будете в Т., оттуда лошаадьми.

Акоюн говорил, глядя в стол, ровным голосом, в правой руке перо, в левой папираса... Севастьянов слушал и не понимал, как он может курить и говорить так спокойно.

В горле у Севастьянова перехватило, и он поскорей достал папирасы, чувствуя, что должен закурить немедленно. Акоюн поднял суровые глаза и протянул ему зажатую спичку.

... Телеграмма была получена утром. Дробышев со следователем ГПУ сейчас же выехал на дрезине в Т., приказав Акоюну направить туда Севастьянова и Игумнова ближайшим поездом. Будь Железный в городе, по-

ехал бы он, а не Севастьянов. Но Железный был в отпуску, и печальная эта честь выпала на долю Севастьянова.

День был заполнен звонками, толчеей, разговорами. Приходили из типографии, из районных отделений «Серпа и молота», из редакции «Юного пролетария». Всем сразу стал интересен Кушля, и все расспрашивали Севастьянова, потому что он ближе всех был к Кушле. До отъезда Севастьянов должен был сдать хронике, собранную в последние дни, и дописать очерк о макаронной фабрике. Надо было, кроме того, получить командировочные, а в кассе не было ни копейки, кассир ушел в банк, и неизвестно было, с деньгами он вернется или без денег. Севастьянов дописывал очерк, подсчитывал строчки в хронике, чтоб было ровно восемьдесят и ни строчки больше, в очередь с Колей Игумновым бегал в бухгалтерию узнавать, не пришел ли кассир, отвечал на расспросы о Кушле, объяснял месткомовцам, где живет Лиза, чтобы они могли пойти к ней известить. Одно дело кончалось — начиналось другое, и хотя отвлечься от события было невозможно, оно еще стояло комом в горле, — но к нему привыкал, его резкая острота проходила, и больше не казалось, что это не может быть.

Коля Игумнов сказал:

— Жаль, конечно, что такой грустный повод... Но, говоря откровенно, — я рад проехаться! Куда-то мы с тобой перенесемся, что-то увидим новое... Что может быть лучше? Вам хорошо, репортерам, вы гоняете по городу, а я сижу взаперти и мажу серые фотографии тушью и белилами...

Уже кончался день, когда Севастьянов прибежал к Зое. В кафе «Реноме инвалида» начиналась вечерняя жизнь, почти все столики были заняты. Зоя стояла за прилавком. Севастьянов сказал ей:

— Кушлю убили.

Она вздрогнула и вскрикнула: «Ой!»

— Как, сегодня едешь?! — переспросила она, пораженная, и взялась за лоб, Севастьянов подумал: «Она боится, что меня тоже убьют». — А вернешься когда же?

— Акопян считает, мы пробудем дня три. И дорога...

Они разговаривали, разделенные прилавком. Посетители оглядывались на красавицу буфетчицу, взволнованно шептавшуюся с парнем. Инвалиды улыбались отечески... Севастьянов сказал:

— Но ты меня проводишь!

— Да, — сказала она, — конечно!

И, отпросившись у инвалидов, сняла свой фартук и наколку и ушла с Севастьяновым в их комнатушку. Они укладывали в дорогу его портфель и нежно прощались. Кирпичная стена напротив была как печь, накаленная докрасна, огненный день уходил по кирпичам, выбираясь со двора на крышу. Бухал мяч. Кричали, играя, дети.

Вышли из дому, держась за руки. Темнело, много было людей на улице. Где-то была смерть, а здесь в саду играла музыка. Под музыку шли навстречу мужчины и женщины, и все они смотрели на Зою. Мужчины приковывались к ней долгими взглядами, женщины взглядывали бегло, а потом и те и другие переводили взор на Севастьянова. По-особенному смотрели подростки. Изумленные глаза мальчиков, напряженно-испытующие глаза девочек спрашивали: «Значит, вот как это бывает?» А Зоя улыбалась в ответ. Ее страх прошел, излился в коротеньком вскрике «ой», снова она упоена была своими чарами и успехом... Смерть существовала, отвратительная, несправедливая и жестокая, но она была далеко, далеко, а здесь шла Зоя, играла музыка и у входа в сад продавали розы.

Она сказала:

— Купи мне розочку.

Они остановились, чтобы купить роз. Казалось, вся улица приняла участие в этом происшествии — столько народа следило за ним и с таким сочувствием. Цветочницы наперебой протягивали Севастьянову лучшие розы, лучшие из лучших. И кому же полагались эти розы, если не Зое, кому бы еще они были так к лицу?

Пришли в редакцию. По заброшенной бумажками и окурками лестнице спускался Залесский. Даже этот старик, все перевидавший, даже он споткнулся и остолбенел на секунду, когда из-за лестничного поворота появилась перед ним Зоя с розами... В своем кабинете, под зеленой лампой, Акопян читал полосу. Севастьянов зашел за пакетом для Дробышева, он не мог не показать Зою Акопяну.

— Это Зоя, — сказал он неловко.

Акопян поднял голову, его лицо выразило удивление, сердечность и интерес.

— Очень рад, — ответил он. — Акопян.

И, встав, поздоровался.

— Вы очень хорошо влияете на Шуру, — сказал он добродушно. — Благодаря вам он достиг небывалой работоспособности, последнее время он трудился за четверых...

С Колей Игумновым они встретились, как было условлено, на вокзале под часами. При виде Зои Коля сказал:

— Боже!

Он держал ее руку, наклонялся и спрашивал:

— Что же это? Почему я этого раньше не видел? Когда я буду это рисовать?

Они пошли искать свой поезд. Коля вел Зою под руку, не переставая наклоняться и говорить. Зоя смеялась. Севастьянов сперва — по инерции — гордился, потом почувствовал против Коли возмущение. Коля осмелился поцеловать Зою в локоть, в ее точеный смуглый локоть, над которым узенькая оборка и перехват широкого пышного рукава. Коля не должен был так поступать: она ведь ничем не дала ему права думать, что ей это будет приятно. Особенно же было возмутительно, что, когда Коля наклонялся, его длинные волосы падали Зое чуть ли не на лицо, и он их отмахивал залихватским жестом — дескать, сам черт ему не брат! Но вдруг в темноте, на путях, пронзительно и горестно закричал паровоз, другой отозвался вдали так же тревожно и горько, и Севастьянов вспомнил, что сейчас они с Колей поедут туда, где смерть, что смерть чудовищна и непоправима, что навеки закрылись Кушлины ярко-голубые глаза... «С ней забываешь обо всем! — подумал он. — Нельзя быть с ней и думать о смерти, с ней думаешь только о ней... И что для нее значат пустяковые Колины маневры по сравнению с той нежностью и преданностью, какую она знает!» И он шел за ними, не ревнуя больше, мудро снисходительный, очень взрослый по сравнению с ними.

Полазав под составами, они нашли свой поезд. Он стоял у дальней платформы, перед черными строениями, впотьмах. Его открытые окна еле светились, выдыхая на платформу запах мешковины, кислого теста, поездной уборной. Посадка уже прошла, последние пассажиры впихивали в вагоны свои мешки.

— Как, уже расставаться? — спросил Коля. — Это выше моих сил, поехали с нами, мадонна.

А Севастьянов обнял Зою и поцеловал и потом оцунул лицо в ее букет, в последний раз вдохнув его чистую

свежесть перед тем как войти в набитый людьми и мешками вагон. Зоя подняла руки, розы упали. Обеими руками она обняла Севастьянова за шею, ее поцелуй был бесконечен. Это было жаркой черной ночью, вокзальной, железной, угольной, единственный фонарь не мигая светил на это из-под навеса.

— Ах, так? — сказал Коля. — Значит, никакой надежды? Но почему же мне не сказали сразу? Это жестоко.

44

Много езжено по родной стране, много хожено. Среди бесчисленных человеческих поселений, больших и малых, память хранит и Маргаритовку. Сотня беленых хат, насыпанных на берегу лимана; низенькие фруктовые садики, красные точки вишен на деревьях — последние вишни, их пора кончалась; на плетнях развешаны рыболовные сети, натканы горшки и кувшины...

В полуверсте от слободы находилось бывшее помещичье имение: неогороженный разросшийся сад и в нем большой старый дом. В доме разместились сельсовет, школа, изба-читальня, квартира учителя. Вход в дом был через обширную открытую террасу. Ее доски и столбы от старости стали пепельно-серыми. Под знойным солнцем иссохшее дерево, разомлев, источало слабый запах не то смолы, не то краски, хотя и та и другая давно из него выветрились. Такою же серой, обветшалой была входная дверь: когда ее отворяли или затворяли, с нее осыпался какой-то порошок и дребезжали остатки цветных стекол вверху... Убийца сходил по ступеням как бы задумавшись, глядя на свои сапоги и надвинув картуз на брови. Желтая щетина росла на его щеках; в каменных складках сапог лежала пыль. «Что он должен сейчас чувствовать?» — подумал Севастьянов и отвернулся от угрюмого мрака, представившегося ему... За убийцей шел милиционер. Подвода ждала их, они сели и уехали. Мужики и бабы, стоя поодаль, молча глядели вслед.

Лужайка перед террасой вся поросла травой, называемой у нас калачиками. Местами земля под травой вздувалась: там, верно, были когда-то клумбы. Эту запущенную лужайку со всех сторон обступал густой зеленый сад. В его сплошной стене светло и серебристо обозначалась

лось начало тополевой аллеи. Аллея сужалась как бесконечный коридор, полный света и сверканья; в конце ее бледно голубел лиман. Обильная серебряная листва, не умолкая, не угомоняясь, легко и радостно лепетала под ветерком, вся устремленная ввысь, и каждый лист был как маленькое зеркальце, отражающее солнце. Этой аллеей ходили купаться. У берега — правду говорил покойный Кушля — было по щиколотку, приходилось идти далеко, чтобы окунуться и поплавать.

...Марию Петриченко Севастьянов увидел первый раз на собрании. Она стояла и говорила, когда Севастьянов с Игумновым, только что приехавшие, в дорожной пыли, вошли в полную людей комнату. Услышав горячий, убежденный, молодой женский голос, Севастьянов подумал: «Это она!» — было что-то общее между этим голосом и письмами Петриченко в редакцию... Две девочки, крошечные, трех-четырёхлетние, держались за ее подол; мальчик постарше стоял рядом. «Мария Петриченко и ее дети». Возле председателя сидел человек с странно знакомым лицом, ярко-голубыми глазами посмотрел он на вошедших. — Кушлин двоюродный брат Роман.

— И где ж те люди? — спрашивала Петриченко. — Где они тех людей подевали, что имели дух защищать бедняцкий интерес? Того споили, того купили. Кушля Роман — от он перед вами сидит как стенка белый, еще бы: с злодеями, душегубами дружбу водил... Кушля Игнат в город подался через ихнюю ненависть.

— Игната выдвинули, — небрежно сказал чисто одетый человек, нестарый и красивый, хотя почти совсем лысый, с оборочкой мягких темных волос на голом черепе. — Выдвинули Игната, зачем зря говорить.

— Меня довели, что я детей без своего присмотра и на одну минуточку покинуть боюсь, — продолжала Петриченко (лысый усмехнулся и снисходительно повел плечом...). — А теперь пускай ответят: кто получил ту ссуду, что на безлошадных была отпущена? Покажите ведомость. Покажите расписки. Всем покажите, а не только друг дружке, — у вас рука руку моет... Еще такой вопрос: как у нас подобрано правление кооперации?

— Товарищ председатель, — яростно закричал кто-то, — другие граждане получают слово, или одна Петриченко будет говорить до скончания веков?!

Поднялся шум... Мария озиралась, прижав к себе детей. Она была плечистая, чернобровая. На загорелом до

каштанового цвета лице уже прорезались морщинки: резко-белые, они расходились жаркими лучами на висках и скулах; казалось, лучи эти исходят из зеленовато-карих, глубоко посаженных глаз...

Когда Коля Игумнов ее рисовал, она сидела деревянно и озабоченно, положив на колени загорелые сильные руки.

...Она вела Севастьянова и Игумнова на хутор и рассказывала про лысого:

— Больше всех нажился, родичи на него батрачат, и ни договоров, ни соцстраха, и не подступиться к нему. А послушать его — самый сознательный, все новые слова знает... Ох, — сказала Мария, — до того ж хитрая порода, проклятые куркули!

Они шли, разговаривая, и детишки проворно семенили рядом, взбивая пыль маленькими босыми ногами.

Солнце спускалось у них за спиной. По обе стороны неширокой дороги были поля подсолнуха. Подсолнечники стояли обернувшись все в одну сторону: сомкнутые ряды, полки, полчища огромных темных ликов, окруженных желтыми нимбами... Первой с краю была на хуторе хата убийцы, они зашли на нее взглянуть.

Калитка была настежь, и дверь настежь, и хозяйка сидела на крыльце, свесив руки меж колен. На цепи рвалась, бесновалась собака, но женщина слегка только повернула к вошедшим голову, не спросила — чего им надо, не пошла за ними. Севастьянов взошел мимо нее на крыльцо вслед за Марией, вдвоем они прошли по комнатам; Коля войти не захотел. Комнаты были обставлены как в городе: зеркальный шкаф, хорошие стулья, кровати с блестящими шарами. «В голодуху за пшено да постное масло у городских повыменяли!» — объяснила Мария. Хата была под железом, во дворе крепкие постройки.

А Мариина хата крыта была соломой, и была в ней одна комната — почти пустая — да сени. Во весь двор — огород, наполовину уже оголенный, закиданный увядшей картофельной ботвой. Так и дохнула навстречу жизнь нищая, немилосердная, едва ступили на порог.

Коля Игумнов огляделся и спросил сочувственно:

— Такая молодая, и что же, одна живете, без никого?

— Как без никого? От, дети есть, — строго усмехнулась Мария. — Полная хата народу, как же без никого?

— А муж?..

— Муж? Пришел и ушел, и нет его, — сказала она жестко. — В семнадцатом пришел калеккой с фронта, мы поженились. Три пальца у него отрезали, но работать мог. Хату мы с ним построили. — Подняв голову, она оглядела беленый низкий потолок, и глаза ее налились слезами. — В долг вошли, отработывали... а потом надоела ему эта бедность, он и уехал, — ничего о нем не знаю. Нюська — последняя — без него уж родилась.

Она вытерла глаза воротничком кофточки и закончила неожиданно нежным, воркующим голосом:

— Очень от бедности мучился. Он сильно грамотный был, ему совсем другая требовалась жизнь. Он, например, таракана видеть не мог.

— Как будто другая жизнь сама собой построится, — заметил Севастьянов.

— От именно! — горячо подхватила Мария, и слез ее как не бывало. — И я ему говорила: если не сами мы, то кто же, правда? Не бог, не царь и не герой, правда?.. Но, конечно, трудно одной.

— У вас еще все впереди! — сказал Коля.

— Так видите, — сказала Мария, — жениться на мне никто не женится, с таким-то приданым? — Она кивнула на детей. — А другое что-нибудь я не могу себе позволить. Я если себе позволю, так будет крик и лай на всю Маргаритовку и с хуторами. Другой — простят, а мне не простят от столько. И про меня будет лай, и про бедняцкий наш класс, и про всю советскую власть, — сказала она гордо. Ясно было, что в ее сознании советская власть, бедняцкий класс и она сама, Мария Петриченко, — неразделимое целое, и этим диктуются все ее поступки.

Она кормила детей, укладывала их и рассказывала, как хитростями, взятками, угрозами зажиточные пытаются все прибрать к рукам, а она против этого борется. Они и ее хотели подкупить, кашемиру на платье набрали, как же; так она и взяла ихний кашемир! Детям сдобные коржики пхали: она запретила детям у них брать! — Некрашенный стол был в хате, лавка, две табуретки; между печью и стеной настланы нары для спанья. Кормила детей Мария деревянной ложкой из чугунка с отбитым краем. Неровно оструганные, побеленные мелом столбы — дерево просвечивало сквозь мел — подпирали потолок. Сухо пахло глиной от земляного мазаного пола.

— Я знаю одно, — сказала Мария, — или им на свете быть, или мне с моими детьми на свете быть. Я с ними никогда не помирюсь!

Стало темно. Младшие дети спали. Старший мальчик, лет шести, вылез к краю нар, лежал на животе среди тряпья, — подперев кулачками щеки, слушал, как разговаривают взрослые. Мария зажгла лампу и сказала:

— Я вам мои стихи почитаю.

Легко вскочив на нары, достала с лежанки аккуратно сложенные листы (вырванные из бухгалтерской книги с печатными словами «Дебет» и «Кредит») и развернула под лампой.

— От послушайте, — сказала она доверчиво.

Она читала, сжимая руки, вздыхая глубокими вздохами. Маленькая лампа дымно светила сквозь закопченное стекло. Лицо Марии в этом свете было коричневым, белыми черточками выделялись морщинки на висках, угольной чернотой — брови и ресницы. Другого конца комнаты свет лампы едва достигал. Оттуда блестели внимательные, разумные глаза слушающего мальчика.

Стихи, которые читала Мария, были отчасти знакомы Севастьянову. От сильно грамотного мужа ли, бросившего ее с детьми на эту нужду и борьбу, или из книг и песен, но она нахваталась стихов и, беря чужие строчки, приписывала к ним свои; и от чистого сердца, радуясь и любясь, признавала то, что получалось, за собственное свое сочинение. Севастьянов и Коля ее не разубеждали... «Тучки небесные, вечные странники», — читала она с чувством:

Огненной молнией,
Громом грохочете.
Что же вы ищете?
Что же вы хотите?..

Когда Севастьянов с Игумновым уходили, ночь уже совсем накрыла степь и хутор. Лаяли собаки на ближних и на дальних дворах.

— Изо дня в день, — сказал Коля, оглянувшись, — представляешь, изо дня в день она так живет.

Севастьянов тоже оглянулся, — за черным переплетом дырявого тына дымно-коричнево краснелось Мариино окошко. Тьма кругом шуршала, беспокоилась... «Вот так шуршало вокруг ее дома, — подумал Севастьянов, — когда она сидела и писала то письмо, прощаясь с нами

и поручая нам детей. И так же краснелось ее окно, и уже был заряжен обрез той пулей, которую готовили ей, а всадили в Кушлю...» Они молча шли мягкой пыльной дорогой, и шорох и мрак сопутствовал им до самой Маргаритовки.

Позже поднимается белая спокойная луна. Она стоит за крышей сельсоветского дома, ее не видно, но от нее светло на небе и на земле, и тень дома ложится на лужайку, заросшую калачиками.

На расшатанных ступенях террасы сидят люди, курят: хлеборобы и рыбаки, их одежда пахнет рыбой, — и среди них школьный учитель, щуплый человечек с коротко остриженной седой головой, в тени она белеет, как громадный пушистый одуванчик. Тревога, раздражение вечных неудач в голосе и движениях учителя. Тонкий лягушечий рот в разговоре брызжет слюной и сжимается трагически. Учитель спорит с Дробышевым, который ходит перед крыльцом, иногда останавливаясь (Дробышев и в редакции редко сидит — ходит, разговаривая, по кабинету или стоит у стола, опершись на стул коленом).

— Вы здесь три дня, — говорит учитель, — а я четыре года, кому из нас видней?

— Вы за четыре года ничего не увидели! — отвечает Дробышев своей начальственной скороговоркой. — За четыре года вы ничего не поняли!

Дробышев — деловитый, с быстрым взглядом, с повелительной посадкой головы. И речь у него быстрая и повелительная. В деревне, в командировке, он несравненно доступней, чем в редакции, где к нему нельзя войти, не спросив разрешения, где он вечно спешит и где только покойный Кушля обращался с ним запросто, чуть ли не похлопывал его по плечу.

— Вы мне не докажете, — строптиво твердит учитель, — что это политическое убийство. Старая семейная ссора. Еще до революции чего-то не поделили.

«Неужели не понимает, — думает Севастьянов, — не может быть, чтоб не понимал, он же дядька образованный; притворяется из упрямства».

— Выпили, — небрежно замечает чисто одетый человек с темной оборочкой волос вокруг лысины, тот, о ко-

тором рассказывала Петриченко, что на него батрачат родичи, — выпили, поспорили, ну и — под горячую руку, спьяна...

— Андрей выпивши не был! — сурово поправляет кто-то из тени. — Вскрытие показало — не был он выпивши!

— Спорили-то о чем, — говорит Дробышев, — спор шел, как выяснилось, о советской власти.

— Человек убил человека, — возбужденно говорит учитель. — Со времен Авеля и Каина человек убивает человека и придумывает разные причины убийства. — Он встает, уходит по лунной лужайке, маленький тщедушный упрямец из тех закоренелых упрямцев, что готовы лучше умереть, чем отказаться от своего заблуждения и признать истину; голова его уплывает в ясную ночь, как светящийся шар. А на ступенях террасы продолжается беседа, и текут дымы самосада, то жгуче-едкие, то медовые.

(Это ночь перед похоронами Кушли, Кушля еще не погребен, лежит в сарае, принадлежащем сельпо.)

Зовут ужинать: уборщица наварила картошки, нажарила сала... Потом приезжие (их порядочно) укладываются спать в комнате верхнего этажа. На полу постлано сено, на сене — рядна и подушки. Подушка в синей ситцевой наволочке пахнет кислым молоком... Начальственность, повелительность сходит с Дробышева, когда он разувается, сидя на полу. Тогда можно вообразить его на войне, в лагере военнопленных (он побывал в германском плену), в любом состоянии, а не только ответственным работником, поучающим, как строить газету и что думать по тому и по другому поводу.

Разуваясь, он спрашивает председателя укома об уездных делах, и тот отвечает, тоже сидя на полу и разматывая свои портянки. Разговор все отрывочней: устали. Засыпают. На темных подушках белеют лица.

В недрах бывшего помещичьего дома то тут, то там слышатся глухие постукиванья, поскрипыванья, шаги. Это, должно быть, уборщица моет пол, передвигает столы и скамьи. А это, должно быть, старый учитель бродит, как домовый. Непостижимо, думает Севастьянов, что такой человек, явно неудачливый и несчастливый, явно проживший жизнь трудовую и трудную, с враждебностью отгалкивает от себя классовую правду, которая все озаряет и объясняет, — легче ему, что ли, до-

живать свой век в потемках? Придется-таки нам попариться, думает Севастьянов, покуда вложим нашу классовую правду во все головы, седые и молодые... — В распахнутые окна на засыпающих людей заглядывает луна, закатываясь за темную гущу сада.

46

В сарае слева были навалены бочки и ящики, а справа из пустоты тянуло холодом — от ледника, широкой ямы, где под слоем соломы хранили лед.

Снаружи пылал полдень, тут были сумерки.

Пахло сырой землей, рогожами.

Севастьянов постоял у края ямы, простился мысленно с Кушлей... С кем он прощался? В загробную жизнь он не верил. Лежавший в ледяной яме не мог его услышать.

Но в памяти Севастьянова Кушля жил, вот он выпустил изо рта ленточку дыма, посмотрел весело и задумчиво, сказал: «Замечательная вещь, дорогой товарищ, не поверишь: ноготки моего фасона!» — с этим живым Кушлей простился Севастьянов.

И вдруг почувствовал, что он не один тут: кто-то вздохнул у него за спиной. Оглянулся, — неплотно притворенная дверь была как огненная щель; в сумраке возле бочек стояла, понурившись, серая фигура: Ксания. Он к ней шагнул — подняла руки, закрыла лицо, застонала сквозь стиснутые пальцы длинными глухими стонами...

47

После похорон Коля пошел бродить по кладбищу, и Севастьянов, от печали и неприкаянности, бродил за ним.

Они плутали между крестами и холмиками, холмиками и крестами. Надписей на крестах не было. Безымянно, безвестно спали здесь поколения.

В сторону лимана все реже становились кресты и бесформенней холмики, местами земля только чуть-чуть вздувалась там, где когда-то были погребены люди.

Трава в этой части кладбища была некошенная, лютая, грубая как кустарник. Одни растения рассыпали семена, а другие такие же рядом цвели, и множество мелких бабочек, лазоревых и красных, вспархивало с цветов.

157

Коля обрадованно позвал Севастьянова: он наткнулся на старую каменную плиту. Она лежала криво, уйдя боком в землю; травы переплелись над нею. Коля стал гнуть и ломать траву, расчистил камень и прочел надпись. Они нашли вторую плиту, и третью, и целую колонию осевших в землю, разбитых на куски старинных надгробий.

Нетрудно было угадать, что это могилы помещиков, которым в прежние времена принадлежала Маргаритовка. Севастьянов не слышал, чтобы существовало мужское имя Маргарит; и Коля тоже. Но тут лежали: Маргарит Феодорович и Феодор Маргаритович, и Григорий, Венедикт и Варфоломей Маргаритовичи, и Маргарит Григорьевич. На одной плите были вырезаны звезды, круглоликое солнце и месяц в профиль, и стих:

Здесь землей покрыта
Лицею душою Маргарита.
Такая ей цына
Отъ общества дана.

Маргарита Варфоломьева дочь Блазова.

1758—1775

Присели покурить. Коля высказал предположение, что, может быть, Маргарит — греческое имя; может быть, эти помещики были греки по происхождению. Он интересно рассказал о греческих поселениях на Черноморье и о том, как князь Владимир ходил на Корсунь. Потом Коля открыл свою папку и стал рисовать, а Севастьянов прилег в траве. Сквозь зонтики соцветий видно было, как мельтешат, танцуют маленькие яркие бабочки... Севастьянов проснулся — неподалеку между могилами Маргаритов сладко спал Коля, его разгоревшееся лицо было в бусинках пота, крохотный паучок на паутинке осторожно спускался с цветка ему на бровь. Севастьянов разбудил Колю, они отряхнулись, перешагнули через остатки кладбищенской ограды и пошли купаться. В слободе бесчисленные Кушлины родичи справляли поминки...

(Отдельно от всех гуляли старухи, сидя в холодке под вишнями вокруг вбитого в землю стола. Они скинули кофты и сидели в рубашках и юбках, та простоволосая, та в платке, лихо повязанном концами назад: на шее у них, на шнурках и цепочках, болтались крестики. Под

сквозной золотой, лениво шевелящейся тенью сидели старухи, пили и закусывали.)

...Ночью Севастьянов и Коля на рыбацком баркасе плыли в Т. Подувал ветер, белые гребешки бежали по лиману, луна ныряла в быстрых облаках. Скрылся из виду берег — тогда не думалось: я был там, буду ли еще? Я ходил там, мой голос раздавался там, мой товарищ похоронен там, — вернусь ли туда?.. Не думалось: сколько еще уголков мира покажется мне и скроется?..

Думалось другое. Ты чувствуешь или нет — я к тебе приближаюсь, кончается наша разлука; если успею к утреннему поезду — столько-то осталось часов до встречи. — Бесшумно проходили босиком рыбаки. Поскрипывала мачта. — Возвращаюсь к тебе и буду возвращаться несчетно раз. Несчетно, как эти бегущие гребни... Опять с волнением и удивлением, будто о чуде и тайне, вспоминал, как долго она для него почти ничего не значила, хоть он и знал ее; словно бы у входа стояла она, и вдруг вошла и все заслонила. Ты счастье без края, думал он; как эти вечные волны, думал он...

...Вот и осень, дождь льет и льет. По черным стеклам окон бегут, блестя, кривые струйки и струится отражение зеленой лампы. Севастьянов задержался в редакции. Старик Залесский рассказывает о своих путешествиях, достает из портфеля снимки. Пространная жизнь, прожитая в передвижении, есть что поглядеть и послушать. Залесский с его пенсне и пышными усами является Севастьянову в диких степях, на снежных склонах гор, у пенных водопадов. На одном снимке он двадцатипятилетний, на следующем — пятидесятилетний, еще на следующем — совсем юный, это чередуется много раз; словно свойство такое у Залесского — состарившись, вновь молодеть; словно и теперешняя его седина и шумная одышка — явления временные, и в один прекрасный день, скинув груз годов и немощей, он снова будет стоять у водопада, в фейерверочном ореоле брызг, — молодой, подтянутый, стройный, ухарски отставив руки с альпенштоком...

Говорит Залесский много, но делает передышку через три-четыре слова. Его толстовка, похожая на распашонку, расстегнута. Видно облачко волос на груди. Дымча-

тое облачко на белой нежной коже, напоминовение о былом мужестве. Свисает тесемка пенсне, и в пенсне отражается зеленая лампа. Пришла жена Залесского, прозрачно-белолицая, в тонких морщинах, важная; села поодаль. Днем она приносит Залесскому завтрак в корзиночке с круглой крышкой, по вечерам заходит, чтобы отвести Залесского домой, — что-то у него с сердцем, она боится пускать его одного по улице.

— А ее, — говорит Залесский, — я нашел в России. В Обояни. Городишко Обоянь... Дел у меня там не было, случайно забрел, захотелось посмотреть: что за город с таким привораживающим названием. Забрел и нашел ее... Я всегда вверялся моим желаниям. Желать — хорошо. Желание есть жизнь. У вас много желаний?

— Порядочно.

— Чего вы хотите?

— В отношении чего?

— В отношении себя лично.

— В отношении себя лично, — говорит Севастьянов, — очень нужно получить образование.

Он только что поступил на рабфак и учился старательно.

— Надоело ничего не знать.

— Еще.

— Хочу съездить посмотреть Москву. Кавказ хочу посмотреть. Хочу везде побывать, как вы.

— Еще.

— Хочу... Хотел бы написать одну вещь.

— Какую?

— Так, одну вещь.

— Не для газеты?

— Нет. В газету не вмещается.

— Отлично! — уважительно говорит Залесский. — Отлично, что вы уже не вмещаетесь в газету. Большая вещь?

Севастьянов задумывается.

— Не знаю!

Невозможно ответить на этот вопрос, когда первые строчки едва написаны и все только клубится в воображении, как дым.

Залесский говорит о любви.

— Я много любил... — бросает он сквозь одышку, — и меня любили. Я остывал, и ко мне остывали. Меня покидали, — еще как: рвал и метал, стрелялся, и это было.

И все было великолепно. Оглядываюсь — перебираю эти дни, восходы, закаты. Цветут сады; и вообще происходит бог знает что, бог знает что...

«Дни, восходы, закаты», — повторяет Севастьянов мысленно, и ему представляются — чередой — его восходы и закаты, эти разряженные, праздничные небеса; под розовым высоким рассветом он видит спящую фигурку на железной лестнице, над пустым двором... Жена Залесского улыбается длинными бледными губами, куда-то засмотрелась старуха, прищурясь, — верно, в свои, ей одной видимые цветущие сады.

— Ничего, кроме благодарности! — говорит Залесский. — За эти взрывы, за то, что пережил их сполна! За то, что ждал на жаре и на морозе, за то, что плакал, за то, что стрелялся, и за то, что промахнулся! Той, которую проклинал самым театральным образом... которую считал преступницей, предательницей... палачом своим считал, — теперь говорю ей: «Ты в поля отошла без ворот, да святится имя Твое!»

Это слишком. Стариковский идеалистический лепет. Залесский забыл, как это происходит.

...Они разошлись на углу. Одной рукой Залесский опирается на палку — не альпеншток, обыкновенная стариковская палка; в другой руке портфель с фотографиями. Жена держит раскрытый зонтик. «А что он сделал для людей? Что у него в итоге? Собрание собственных фотокарточек? Жена? Кот?» (Дома у них сибирский кот, он им за сына, и за дочку, и за внуков...)

Севастьянов идет под дождем по улице. Еще не очень поздно, свет во многих окнах. Окна подвалов и полуподвалов — у ног Севастьянова. Видно, как люди ужинают, двигают, разговаривая, губами, смеются, сердятся. Дряхлый старик набивает папиросы при помощи машинки, и с усилием движутся, просыпая табак, его трясущиеся худые руки, — женщина плачет, мужчина ее утешает, — мужчина колет кухонным ножом лучину, — женщина примеряет перед зеркалом платье с одним рукавом, — крошечную девочку укладывают спать, а девочка не хочет, прыгает и веселится в кроватке с высокой сеткой. Бесчисленность существований! Сколько всякой всячины на свете!.. Дождь барабанит по кожаному шлему, как по крыше. Холодно, и рядом шагает неприязненный, нахолненный, с прилипшим к виску мокрым чубом Спирька Савчук.

— И ничего не знаешь?

— Нет, — отвечает Севастьянов.

Изменился Савчук; меньше чем за год повзрослел — не узнать. Бросил своё бузотерство; образец дисциплины и выдержанности, не хуже Яковенко, с которым он дружит по-прежнему. С комсомольской работы его перевели на партийную, на заводе о нем говорят: вот как у нас растут молодые коммунисты.

И раньше он не был склонен к зубоскальству, у него всегда был возвышенный настрой мыслей, он и бузил-то, собственно, от исступленной требовательности ко всем и ко всему; теперь же вовсе стал мрачен. Маленький рот сжат железно. Круглые глаза светло и неумолимо смотрят из-под чуба. Расскажут смешное, ребята покатаются со смеху, — у Савчука только мускул дрогнет на желтой щеке да веки отяжелеют от презрения к этому бессмысленному веселью. Он носит Зою в крови как малярию; как хинную горечь во рту.

— Так-таки ничего не слышно: где, что?

— Нет.

Не любит Савчук Севастьянова. Терпеть не может, — но даже впотьмах, сквозь дождь, узнал, окликнул, догнал. В его голосе нотка хмуро-торжествующего превосходства. «Ты ее разве так любил, как я, — будто хочет сказать и не говорит Спирька, — ты ее не уберег; я бы уберег!..» В длинный-длинный вечер, косо заштрихованный дождем, слилась в воспоминании та осень. В вереницы луж, покрытых рябью, у подножия фонарей... Пропал в косых струях Савчук — идет с Севастьяновым, насунув кепчонку на нос, Семка Городницкий. Медлительно бубнит глухим басом, чихает, кашляет. Отроду сутулый и узкоплечий до жалости, — нет-нет, спохватясь, возьмет и выпрямится, и выпятит грудь, чтобы казаться бравым здоровяком, бедный Семка. И через два слова на третье Севастьянов слышит имя Марианны.

— Она получает марксистскую закалку под моим просвещенным руководством. Прочла «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Начали «Капитал». Она читает вслух, а я даю квалифицированные комментарии.

— Опять кашляешь, Семка, простудился?

— Слегка. Пустяки. После санатория все обстоит блистательно. Беда Марианны в том, что ею никто не занимался как следует. Профессорская дочка, с гувер-

нантками росла, откуда быть широте кругозора? Сплошная мещанская кисейность. Илье некогда ее воспитывать...

И вдруг говорит:

— Такой вопрос, Шурка. Если бы мне вздумалось восстановить статус кво...

— Что?

— Если бы мои книги и я перекочевали обратно — что бы ты сказал?

— Ничего, конечно.

— Не очень возражал бы?

— Что мне возражать? Мы так и думали, что ты не уживешься. Чересчур там роскошно, не по тебе.

— Дело не в роскоши. Этот вопрос я проанализировал еще раз — без вульгаризации, абстрагировавшись от личных антипатий, и пришел к выводу, что это, во-первых, не роскошь, а элементарный комфорт, на который имеют право все трудящиеся, а во-вторых, в свете наших колоссальных задач не все ли равно, согласишься, на какой кровати спать и на каком стуле сидеть, не в том суть.

Ни вода, ни холод, никакие стихии не заставят Семку говорить порезвей и округлять фразы менее тщательно. когда он впадает в лекторский тон.

— Илья валялся в тюрьме на голых нарах, а теперь у него пружинный матрац, и ни то, ни другое для него не предмет эмоций, он живет другими проблемами. Разумеется, если товарищ разложился и за барахло готов, что называется, продать душу дьяволу, — но в данном случае это не имеет места. Если я восстановлю статус кво, это произойдет по другим принципиальным причинам. Должен тебе сказать — Илья, при всем своем уме, недооценивает пионерское движение.

— Из-за этого уйдешь? Стоит ли? Ты уйдешь, а он вдруг передумает и дооценит.

— Не будем шутить. Я несколько устал от шуток на эту тему. Создается впечатление, что Илья Городницкий в нашем возрасте уже имел выдающиеся заслуги, а я учу детей бить в барабан и петь «Картошку». Невероятно, но факт, — он недооценивает и значение антирелигиозной пропаганды.

— Да что ты говоришь, — сочувственно замечает Севастьянов. Дело ясное — Илья, легкий человек, любящий улыбку, разок-другой неосторожно пошутил над Сем-

киными занятиями, и Семка полез в бутылку, ему невыносимы эти шуточки в присутствии Марианны, он желает быть в ее глазах деятелем, несущим груз ответственной забот.

— Это, наверно, мнительность твоя. С чего бы ему плохо относиться к антирелигиозной пропаганде? Но раз контакт не получился — смывайся, и все.

— Смоюсь, если станет невтерпеж, — глухо отвечает Семка, и они трясут друг другу озябшие руки.

— Пока.

— Пока.

«Скрутило Семку, он и делает из мухи слона, — думает Севастьянов, шагая дальше по лужам, — Илье надо бы отнестись более тактично и не шутить над ним, когда такое дело».

Севастьянов дома снимает и развешивает мокрую амуницию. На столе тетрадки. Севастьянов открывает тетрадь в клеточку, садится решать уравнения. Совсем с азав начал, уравнения с одним неизвестным для него открытие.

Решил, а ложиться не хочется. Он вообще мало стал спать.

Сперва потому не спал, что подкатывало к горлу, не продохнуть было от ерунды этой, которую она натворила. Лежал и разговаривал с ней: «Несчастливая моя дура. Набитая моя дура. Что это ты сделала, зачем ты так сделала!»

Тогда комнатуха еще полна была ею, ее движением, мельканьем ее рук. Сейчас выветрилось. Комната как комната. Ничего никогда в ней не происходило особенного. Жили-были вдвоем с Семкой, теперь Севастьянов живет один, может быть — опять будет жить с Семкой. Не спит он оттого, что пытается записать на бумагу лица и картины, которые привязались и не отвязываются.

Люди — много, разные. Говорят всякий свое.

Звенят трамваи. Кричит паровоз. Хлопают паруса и флаги.

Люди и вещи кружат вокруг солнца и требуют, чтобы о них рассказали.

Он пишет медленно, нащупывая связи, фразы, имена.

Расставляя все по местам и переставляя. Каждый раз оказывается — не так.

Пробует описать женщину, как стоит она против убийц и дети цепляются за ее подол.

Еще недавно сочинялось так лихо, на ходу.

Он не верит Залесскому, что тот стрелялся. Если и стрелялся, то несерьезно: недаром промахнулся. Севастьянов ни разу не хотел умереть; как ни подступало к горлу — умереть он не хотел. Даже когда думал: «Лучше смерть!» — он лгал самому себе, он хотел жить.

Тогда, на паруснике, они с Колей опоздали к утреннему поезду, только вечером уехали из Т. Севастьянов вернулся домой ранним утром. Первым трамваем ехал с вокзала.

Зои не было. Кровать была застелена по-дневному.

На столе, белея, лежало письмо.

Он разорвал конверт, прочел. Подумал: что за номера.

Подоконник был пуст. Она свои вещички держала на подоконнике: зеркало, гребенку, одеколон, коробочку со всякой дребеденью; все исчезло. В жестянке от какао стояли засохшие розы, свесив некрасивые сморщенные головки; Севастьянов не сразу догадался, что это те самые розы. Платьев не было на стене, одна деревянная распялка для платья.

Уехала. Куда?.. Разъяснится, приказал он себе подумать, шутит. Понадобилось ей куда-то съездить, приказал он себе подумать, вернется.

Не все она взяла: вот же ее серый платок. Старые туфли брошены возле кровати. Ворох чулок на стуле.

Но кроме старых туфель, старого платка и нештопаных чулок он ничего не обнаружил.

Письмо...

Уже он знал эти строчки наизусть, уже правда пронзила его своим холодом и уродством, а он продолжал изучать письмо, цепляясь за слова, которые укрепили бы его в вере и опровергли правду.

«Я тебя очень люблю». И куда же тебя понесло, если ты меня любишь?

«Не ищи меня», — это из фильма, там она уходила от него и так же писала: «Не ищи меня».

«Умоляю, не ищи». «Умоляю» подчеркнуто.

В кухне уже возились. Шумела вода, пущенная из крана. Примус шумел.

Солнце вошло в комнату и светило на пустую кровать, прибранную по-дневному. Он вспомнил, что надо идти в редакцию писать полосу, к вечеру полоса должна быть у Акопяна.

Сумрачный сарай с огненной щелью увиделся ему, ледник, укрытый соломой, щетинистая морда убийцы. «У нас сражение, мы хороним товарищей, а она!..» Он больше не желал отворачиваться от правды, дело яснее ясного, не даром эти ничтожные, трусливые слова — «умоляю, не ищи». В кафе с кем-нибудь познакомилась или решила выйти за того фруктовщика — мерзость, — с нее станется, с нее все станется, он ехал хоронить товарища, а она позволяла целовать себя Игумнову, которого видела первый раз! Искать?! Будь покойна. Если ты из-за угла... Если ты ничего, ровным счетом ничего не поняла — что у нас с тобой было и что ты разрушаешь!..

Он взял с гвоздя полотенце и вышел в кухню.

— Здравствуйте! — грозно сказал он ведьмам.

— Здравствуйте, — пискнули они испуганно.

И не проронили слова, пока он умывался; стояли смиренно у своих примусов, и спины у них были удрученные...

Два инвалида в белых курточках смотрели со своего порога, как Севастьянов спускается по железной лестнице. Третий выбежал из кладовой, что-то сказал тем двум и убежал обратно, озираясь на Севастьянова.

Главный инвалид, сине-черный, усатый, с грустно-недоуменными складками над поднятыми толстыми бровями, решительно захромал Севастьянову навстречу.

— С приездом, товарищ Севастьянов. Очень спешите?

— Есть дело?

— Да. Есть дело. К сожалению. К очень, очень большому нашему сожалению. Будьте любезны зайти к нам. Пройдемте в кладовую, там никто не помешает.

Он был солидно деловит и в то же время всячески старался выразить сочувствие, даже придержал Севастьянова под руку, когда тот переступал порог кучерявинской пещеры.

— Сюда попрошу.

Из темной пещеры — сеней — вошли в комнату с белой печкой, с канцелярским столом и парой стульев. Счеты, бумаги, наколотые на железный прут, на плите

кастрюля, на табуретке ведро воды и кружка, — не то кухня, не то контора.

— Присядьте, будьте любезны.

Главный инвалид истекал сочувствием, он уже обеими руками держал Севастьянова, пока тот опускался на стул.

— Я слушаю, — сказал Севастьянов.

— Товарищ Севастьянов, мы бы вас не беспокоили, мы понимаем, что посторонние люди меньше всего должны путаться под ногами. Вы поверите без лишних слов, скажу одно: мы вам желаем от души не чересчур расстраиваться. Может быть, вы знаете, и совсем не стоит расстраиваться. Даже, может быть, впоследствии скажете спасибо, что это случилось, я бы сказал, своевременно. Пока у вас не зашло в смысле семьи чересчур далеко. Насколько это лучше во всех отношениях. Во всех отношениях.

Севастьянов ждал, глядя в кофейно-коричневые грустные глаза под толстыми поднятыми бровями. Главный инвалид к нему больше не прикасался, но у Севастьянова точное было ощущение, будто его ведут за руку, ведут, ласково уговаривая, к новой неизвестной беде.

— Да, товарищ Севастьянов. Мы вас очень уважаем, вас и товарища Городницкого. Если бы мы вас не уважали, мы с вами не имели бы этого разговора, а дело сразу перекинулось бы куда надо и шло себе как полагается. Но, уважая вас, мы, члены правления, поговорили, — вам же это будет такая громадная неприятность.

Кто-то приоткрыл дверь, главный инвалид махнул — дверь захлопнулась.

— Наше предприятие у вас как на ладони. Вы знаете или нет, — с этого маленького «Реноме» кормится рота людей, и при каждом семья. И если бы мы настоящую имели клиентуру, как «Эльбрус» или «Чашка кофе», а то из-за нашего невыигрышного местоположения... Конечно, можно сказать: а! бог с ними, с деньгами, что такое деньги, чтобы из-за них ущемлять молодую судьбу! Но мы люди подотчетные, мы не в состоянии...

Инвалид отвел глаза, пожимал плечами, тон у него был виноватый:

— Сумма не такая большая, хотя и не такая маленькая. Последнее время у нас дела шли получше...

— Сколько? — спросил Севастьянов. И, услышав цифру: — Господи! — сказал невольно от горького недоумения. — Из-за этого?..

— Нет, не из-за этого, конечно, — сказал инвалид, — это прихвачено попутно, между прочим, как карманная мелочь. Это, вы понимаете, не та сумма, из-за которой...

Севастьянов перебил:

— Если я заплачу, вы не станете возбуждать дело, так я понял?

— Против нее — безусловно. Зачем нам тогда против нее возбуждать? И я вам советую, как искренний друг...

— Рассрочку дадите? — спросил Севастьянов, обдумывая. Он был много должен в кассу взаимопомощи.

— Какой может быть разговор! Что, мы вас не знаем?

— На два месяца.

— На полгода! — преданно воскликнул инвалид. — На год!

— На два месяца, — повторил Севастьянов.

Теперь он мог идти в редакцию. Полосу о Маргаритовке необходимо было сдать к вечеру. «Коля Игумнов уже на месте, и Акопян пришел и смотрит на часы, они меня ждут, надо отобрать рисунки, а то не успеют клише». И надо было убежать поскорей от этого тягостного сочувствия.

Но он не убежал, сидел в странной комнате, которая и кухня и контора, рассматривал ее и задавал себе странные вопросы. То, что он здесь услышал, и то, что кого-то он здесь не видел, кто должен был бы тут находиться, — влекло за собой эти вопросы, притягивало воспоминания и сопоставления, и в круг сопоставлений включалась комната с белой печкой, бухгалтерскими счетами и ведерком из оцинкованного железа. Однажды было: он днем забежал домой; вошел во двор, а Зоя выходила из пещеры Кучерявого. До мельчайших подробностей он вспомнил, как, положив руку на ошейник собаки, она переступила низкий порог, зажмурилась от солнца и улыбнулась ему, идущему по двору. Теперь он воображал, как она входит в эту комнату. Положив руку на ошейник собаки, входит она и улыбается находящемуся в комнате. Севастьянов все видел до того наглядно, что в комнате стало тесно: Зоя, улыбаясь, стояла между столом и дверью, и рядом с Зоей — длинное, сильное, холеное, весело дышащее животное.

— Где ваш кладовщик, — спросил Севастьянов у инвалида, — и где его собака? — Он не думал, в каких выражениях спросить: спросил, как спросилось.

Есть у человека спасительные навыки, множество превосходных механических навыков, они, оказалось, здорово помогают в таких случаях. С тебя кожу сдирают с кровью, а ты достаешь папиросу, постукиваешь мундштуком о коробку, дуешь в мундштук, чиркаешь спичкой, — поступки совершенно механические и пустяковые, а все же поступки, действия, и от них вроде легче... Пока инвалид шептал, подняв добрые брови, Севастьянов предложил ему папиросу и сам закурил. Прodelывая это, принимал последние удары, которые ей заблагорассудилось обрушить на него.

— Вы понимаете, что Кучерявого мы ищем через угро.

— Но она не пострадает.

— Нет, нет. Она бы не особенно пострадала, товарищ Севастьянов, и в том случае, если бы мы на нее заявили: за ней небольшая сумма, и очень легко отвести обвинение. Она бы пострадала морально, в глазах своих товарищей. Но зачем это нужно, говорили мы, члены правления. Зачем наказывать молоденькую девочку за первую глупейшую ошибку, говорили мы...

Севастьянов ушел. Он пришел в редакцию. Как он и полагал, Акопян и Игумнов ждали и уже беспокоились, что его нет. Оба они сидели у Акопяна за столом, забросанным Колиными рисунками, и пристально смотрели на приближающегося Севастьянова.

— Что с тобой? — спросил Акопян. — Нездоров?

— Нет, почему, здоров, — ответил Севастьянов.

— На тебе лица нет. Замотался, что ли?

— Замотался, наверно, — сказал Севастьянов.

Под предлогом, что все ему мешает, он затворился в архиве и провел этот горячечный день в одиночестве среди пожелтевших газетных сшивов. Писал, бросал писать, ложился лицом на стол, шепча: «Что ты делаешь!» Принуждал себя снова браться за работу и снова кусал себе руки от душевной боли, омерзенья, бессилия, безобразной бессмыслицы свершившегося... Что ты делаешь, что ты делаешь!

Позднее, в зрелом возрасте, он никогда не проявлял своих чувств таким детским и отчаянным образом. Но тогда ему было всего девятнадцать лет, он еще пел песни собственного сочинения!

Он не собственник. Разлюби она — тут уж ничего не поделаешь.

Но не разлюбила же! «Я тебя люблю», написано ее рукой, — это правда! Что правда, то правда! Ее любовь была откровенная, ликующая. Так лгать нельзя.

Кто умеет так лгать, тот не человек.

Если такой свет удивительный вспыхнул от того, что двое вверились друг другу и соединили свои существования, — как можно было погасить свет, взять и все уничтожить в минуту!

Как она его поцеловала на вокзале...

Или можно лгать и так?

Во сне забывал; открывались глаза — наизусть знакомое расположение дыр в штукатурке, скрип кровати, грохот чьих-то шагов по железной лестнице равнодушно напоминали, что произошло. Каждое утро напоминали заново. Каждый раз — как по живому мясу...

Хуже всего были утренние открытия заново.

Он схватывался и мчался, будто на поезд опаздывал. Мчался в редакцию.

«Дорогая и уважаемая редакция», как писали рабселькоры в письмах, — дорогая и уважаемая редакция, твердыня, крепость, самые стены твои помогали.

Гул печатной машины был слышен издали. Важная уверенность была в этих однообразно-плавных раскатах: «Что касается нас, мы заняты своим делом. Оттого, что тебе изменили, здесь не изменилось ровно ничего!»

Осенними мглистыми утрами в окнах типографии горели висячие лампы. Наборщики в черных халатах, с верстатками в руках, стояли у реалов.

В конторе и в редакции лампы были настольные, зеленые.

У запертой конторы дожидались граждане, принесшие объявления — о продаже роялей, о сбежавших собаках и утерянных документах, документы терялись в таком количестве, что ими должны бы быть усеяны все улицы.

Акопян сидел за своим столом, в правой руке перо, в левой папираса.

— Доброе утро.

— Доброе утро.

На столах был разложен «Серп и молот». Он успевал устареть за ночь — номер, датированный сегодняшним числом, выходил накануне, потому так странно кричали по вечерам газетчики : «„Серп и молот“ на завтра», — сегодняшний номер был в сущности вчерашним, и вчера же сотрудники редакции его прочитывали. Тем не менее, приходя утром, они разворачивали газету, чтобы еще раз взглянуть, как она выглядит, и еще раз бросить ревнивый взор на собственный опубликованный материал, и комнаты наполняло прохладное шуршанье, успокоительное как бром.

Являлся Коля Игумнов, томный, с мокрыми после умывания волосами.

— Доброе утро.

— Доброе утро.

С Колей Игумновым в свободные часы играли в шахматы. Коля насвистывал арии из оперетт. Арии легкомысленные, а глаза у Коли были строго опущены на доску, играл он сосредоточенно и хорошо.

Летом, после возвращения из Маргаритовки, он оглушил Севастьянова вопросом:

— Как поживает твоя мадонна?

Севастьянов ответил:

— У меня нет мадонны.

Больше об этом не говорили.

Славный был парень, способный карикатурист, много читал, знал историю, и не донжуан вовсе, как представлялся, просто нравилось ему делать вид, будто он не может пропустить ни одной юбки, почему нравилось — неизвестно.

...Часть своих комнат «Серп и молот» уступил редакции новой газеты «Советский хлебороб». Кушля там собирался работать разъездным корреспондентом. В первых номерах этой газеты был освещен процесс об убийстве Кушли. Общественным обвинителем на суде выступал Дробышев. Он доказал, что убийство классовое, политическое, и потребовал для убийцы высшей меры наказания.

В новой редакции, в проходной комнате, сидела Ксая, регистрировала письма. Дробышев ее устроил, а его

жена (маленькая кругленькая женщина в мужском пиджаке, с круглым гребешком в коротких волосах, Дробышев обращался к ней по фамилии: Иванова) приаккуратила Ксаню по своему образу и подобию. На Ксане было платье свекольного цвета, черный пиджак, волосы коротко подстрижены и заколоты круглым гребешком; только обута была, помнится, все в те же заплатанные сапоги. Сидела Ксаня, медленно водила пером и проводжала проходящих мимо ее стола медленным диковатым взглядом исподлобья.

— Добрый день. Ксаня.

— Добрый день...

52

Вадим Железный спросил напрямик:

— Я узнал — от тебя ушла женщина? Жестокий нокаут? Говорят, она была красива?

— Да.

Нелепо: ведь не он ушел — от него ушли; откуда же был у Севастьянова стыд перед людьми, словно это он надругался над чем-то, какой-то погасил драгоценный свет.

— Она была умна?

— Почему «была», — сказал Севастьянов, — она не умерла, она есть.

— Но писал бы ты о ней в прошедшем времени, — возразил Железный, — значит — «была». Ты бродишь среди развалин?.. Тот, кто взялся за перо, обязан ограждать себя от страстей, пережигающих разум. Мозг пишущего должен быть подобен отрегулированной и смазанной машине, всегда готовой принять сырье и переработать его быстро и без брака. Бодрость, ясность, собранность — наши профессиональные качества. Всему, что на них посягает, мы говорим: сгинь. Разве не так?

Сам себе ответил:

— Да, это так! Собранность! Свойство сильных! Плодотворнейшее самочувствие из всех возможных!.. Никакой разболтанности. Боксеры тренируются, чтобы сохранить и умножить свои профессиональные качества. Обуздание желаний для них закон. Я разработаю режим для пишущих. По жанрам: режим публициста; режим поэта; режим сочинителя текстов для массовых действий.

Несомненно, это пришло ему в голову только что. И, несомненно, он тут же уверовал, что это одна из первоочередных его задач, осуществления которой ждут все публицисты, поэты и сочинители текстов для массовых действий. Весь в скрипучей коже, он был воплощением активности и целеустремленности, это внушало почтение. Все же Севастьянов не мог не запротестовать против такой безапелляционной постановки вопроса.

— Беречься, значит, от беспокойств, — спросил он, — не волноваться? Ходить с блокнотом и протоколировать?

— Сколько нам с тобой отмерено бытия? — спросил Железный. Выражение его раздобрившего лица стало элегическим. — Ты об этом думал? Голубоокая заря детства не в счет. Старость — мы не знаем, какая она будет. Много ли остается для свершения? Не удастся сделать десятой доли того, что задумано.

— Все равно не знаю, кто так может, — сказал Севастьянов, — быть машиной для переработки. Попробуй, желаю успеха, раз тебе этого хочется.

— Претворять жизнь в слово, — сказал Железный, — важней и увлекательней чего бы ни было. Что любовь по сравнению с словом, пускающим побег в вечность? Признай: разве слово, напечатанное черной краской на белой бумаге, не реальней того, что с тобой было? Оно имеет смысл. К нему можно вернуться. в нем нет эфемерности. Оно — экстракт мироздания. Через слово мы, быстротечные, подаем свой голос в громады пространства и времени.

В ту осень Севастьянов много стал читать, читал за обедом и в трамвае, записался в библиотеку и чуть не каждый день менял книги.

Он усердно заполнял делами свой день, чтоб меньше чувствовать пустоту, меньше думать о том, что так быстротечно пронеслось, — об эфемерности, да, страшной эфемерности того, что с ним было. Скоро пристрастился к чтению, с удивлением и неодобрением вспоминал, что еще недавно мог по несколько дней не брать книгу в руки.

Районная библиотека помещалась в старом барском особняке. Два каменных льва с источенными, изуродованными старостью мордами скалили зубы по сторонам крыльца. Прохожие совали им в пасти окурки. Особняк отапливался плохо, книги сырели, библиотечарша стояла за стойкой в пальто с поднятым меховым воротником.

Если она уходила в читальню затопить буржуйку, у стойки скапливалась очередь. Но по большей части топили буржуйку члены кружка друзей книги.

Библиотекарша была грустная женщина с сильной проседью в волосах, небрежно причесанных на прямой пробор. На ее худых руках остро выделялись суставы. В ногти въелась угольная пыль.

Любимым своим читателям — любила она тех, кто часто менял книги, — она позволяла рыться на полках.

Ломаными линиями уходили в глубь зала шеренги книг, одни книги стояли прямо и тесно, как солдаты, другие — привалясь друг к другу. Была сладость в том, чтобы, выбрав наугад, вынуть томик, полистать, пробежать начало, страничку из середины... Покажется интересно — сказать библиотекарше: «Запишите мне это»; не покажется — поставить на место и открыть другой томик.

Было из чего выбирать, не то что в детском шкафчике Зойки маленькой. Глаза разбегались, хотелось взять то и это, целые вороха забрать с собой и прочесть не откладывая.

Тонкие книжки он, увлекшись, прочитывал тут же у полка.

К чистым, шеголеватым томам приближался недоверчиво, с предубеждением: не манило то, что годами и десятилетиями никому не оказалось нужным. Хватался за истрепанные книжки, читанные-перечитанные, распадающиеся на листки, с оборванными корешками. Нередко наружность обманывала.

Вообще, читатель он был неквалифицированный, детишки из кружка друзей книги сто очков ему давали вперед. Эти мальчики и девочки, похоже, так и жили в библиотеке. Они были серьезны, полны достоинства, разговаривали вполголоса. В читальне, в уголку, они переплетали книги, пришедшие в негодность; там стояли их переплетные станки и пахло столярным клеем, который варили на буржуйке. Когда нечем было топить, они приносили топливо из дому — кто полено, кто горсть угля в газетном кулке.

Однажды Севастьянов взял с полки толстую книгу, заглянул в середину — описание церковной службы; заглянул в конец — тоже божественное, религиозные поучения. Не интересуясь, кто автор, он пренебрежительно задвинул книгу обратно. Рядом спускалась по стремянке девочка-подросток из числа друзей книги, Севастьянов

постоянно видел ее тут, — некрасивая, очень бедно одетая, косицы закручены на ушах, и скручивались жгутиками концы пионерского галстука. Бесшумно спускалась она, и вдруг ее ноги в детских заштопанных чулках и худых ботинках остановились у севастьяновского плеча, и, рассеянно глянув вверх, он заметил, что она смотрит на него, вернее на книгу, которую он ставит на место. Она робко сказала:

— Это, знаете, — это интересная книга.

«Рассказывай», — подумал он. Но так как она была такая некрасивенькая, с испуганными глазами, он благодарно кивнул ей и сказал приветливо:

— Я уже читал.

В дальнейшем библиотекарша руководила его чтением. Грустно-небрежно, будто между прочим, подсказывала названия, а то просто доставала книгу и записывала в его карточку, говоря: «Это надо прочесть».

Скольким людям обязан он, сколько рук потрудилось, чтобы сделать его человеком.

Книга, которой он тогда пренебрег, была «Воскресение».

Но хоть и неквалифицированно, а читал он запоем, прозу и стихи, — любить стихи научился уже давно от Семки и Зойки маленькой. Библиотекарша приохочивала его и к пьесам, он читал Мольера, Островского, Ибсена.

Чем больше читал, тем больше тянуло к чтению. Радовался, что книг так много, — на всю жизнь хватит, и еще с избытком!

Смешно сказать: ему нравились и оглавления еще не читанных книг, и рекламные списки, которые печатались на последней странице, там, где повествование окончено и за ним как бы закрылись ворота. Перечни книг зажигали фантазию, он пытался этими ключами открыть запертые ларцы.

«Того же автора, — читал он с удовольствием, — «Вольтерьянец». «Сергей Горбатов». «Старый дом».

Наименования, сочетаясь, дополняя друг друга, рисовали узоры различных историй. Представлялись лица и события, — потом оказывалось: не те; но было заманчиво — повообразить самому, прежде чем тебе все расскажут. Что происходило в старом доме (он, конечно, был точно такой, как этот, со львами), и что происходило в доме с мезонином, и что в доме Телье? Что за люди, именами которых названы книги?... Воображение

строило и заселяло дома; заселяло и наполняло действием тома, к которым еще и не прикасался. Вскользь думалось — когда-нибудь таким же столбиком будут печататься названия моих книг, интересно, какие это будут названия...

Он знал, что это ребяческое развлечение; но любил поиграть мимоходом в свою игру, становясь лицом к лицу с библиотечными полками.

Любил забраться на самый верх стремянки, под закопченный потолок, и побыть там, перебирая старые, в пылище, книги. Под потолком было тепло. Старые книги пахли особенным, крепким запахом. Некоторые были в бурых пятнах, как от йода. Было спокойно, — то, что угнетало и мучило, не поднималось сюда наверх; оставалось у подножия стремянки...

53

Иногда он заходил в детдом, находившийся неподалеку от редакции.

Запах борща и карболки. Двор как плац, мощный булыжником, в глубине двора — два столба с качелями. Стекла в окнах разбитые и склеенные бумажными полосками.

Летом Севастьянов туда наведывался и написал в «Серп и молот», как там грязно и скверно, воспитатели неопытные, дети разбегаются. Дети (все мальчишки) были маленькие: семи, восьми лет; но уже прожили бурную жизнь, полную бедствий всякого рода. В бега пускались отважно, готовые к любым приключениям. Одни, нагулявшись, возвращались сами, других водворяла обратно милиция, третьи исчезали совсем. Те, кто не бегал, все лето с утра до вечера качали друг друга на качелях. С их маленьких лиц, нездоровых, нечистых, в болячках, смотрели взрослые настороженные глаза. Стригли в детдоме редко, на головах у ребят было что-то вроде соломенной крыши.

Севастьянов написал о них и забыл, — тут как раз свалились на него собственные беды. Осенью вспомнил, пошел посмотреть: какое же действие оказала его заметка. Никакого особенного действия она не оказала. Сменили заведующую и одного из воспитателей, а прочее осталось по-прежнему — темные спальни без лампочек, ло-

ка ничего не получалось из его хлопот, он шефствовал единолично. Пытался воспитывать воспитателей, — удивительно, что они его не выгнали и не пожаловались на него; но они относились к нему добродушно, хотя и не слушались. Узнал случайно, что после ликвидации Последгола остались кровати и другое госпитальное барахло, лежит на складе; заручился запиской Дробышева и добыл ордер на шестьдесят кроватей и шестьдесят тумбочек... Шефство над детдомом взял «Серп и молот». Типография отработала воскресник и придела мальчишек, и на Седьмое ноября устроили им хорошее угощение. Бутерброды с колбасой и сыром лежали грудями, и все брали сколько хотели.

Эти мальчишки первый раз в жизни ели сколько хотели, а не по порциям. Только конфеты были розданы поровну, чтобы не вышло несправедливости.

Они, мальчишки, тоже использовали для своего увеселения все, что им перепало в их скудном житье-бытье; и вот какую забаву они придумали. Когда заходил Севастьянов, они налетали на него со всех сторон и турманами кидались ему в ноги. На оба его ботинка усаживалось по мальчишке. Они обхватывали его колени, и он шагал по коридору, высоко поднимая ноги, а мальчишки визжали от восторга; а остальные бесновались кругом, крича: «И я! И я!» Неизвестно, откуда они взяли, что с ним можно так обходиться; разговаривал он с ними довольно сурово... Он шагал и чувствовал себя очень большим, очень сильным, могущим кого-нибудь ушибить и потому обязанным быть внимательным и осторожным с этими маленькими, толпящимися у его ног.

Впоследствии в таком детдоме росли герои одной его книги. К ним приходил молодой великан и играл с ними. Великан был светловолосый, неудачливый в любви, ботинки носил сорок четвертого размера; зная, что сейчас на них усядутся, он у входа старательно вытирал их о тряпку.

Случалась с ним одна вещь. Вдруг, среди людей и шума, накатывала тишина, глубокая, до звона в ушах; и в тишине он оставался один со своим недоумением, своим вопросом: «Послушай! Зачем?..» — и такая тоска иной раз, будто умер кто-то дорогой, без кого жизнь не в жизнь... Решительно пресекая эти штуки, вырывался из тишины: хватит, сколько можно думать о том, чего не переделать.

В редакцию входит горбун. Идет к севастьяновскому столу бойко, проворно выбрасывая короткие ноги, но при этом пристально и испытующе смотрит Севастьянову в глаза — трусит и из амбиции не хочет показать, что трусит.

«Что ей может быть еще нужно?» — думает Севастьянов.

С первого взгляда он знает, что горбун пришел не сам по себе — она послала, ее существование опять становится непреложным и грозным фактом, снова она, от которой себя отбивал, отучал, которую запрещал себе все эти месяцы, — снова она приближается, она приближается с каждым шагом горбуна, — что она на этот раз замыслила?

Что бы ни замыслила, Севастьянов испытывает протест при виде приплюснутой к полу фигуры, шагающей к нему. Он предпочитает, чтобы его оставили жить как он живет. Кончена история, и ладно, и не надо его больше трогать.

— Но-но! — развязно говорит горбун скрипучим голосом, выдвинув, как щит, длинную ладонь, — выяснять, кто перед кем виноват, после будем, сейчас некогда. (Севастьянов ничего не собирается выяснять.) Сейчас нужно в срочном порядке выручать сестренку, попала сестренка в неважный переплет.

Он торопится со своими сенсациями, желая обеспечить себе неприкосновенность. Но, уязвленный молчанием Севастьянова, не может удержаться, чтобы не лягнуть мимоходом:

— Не нравится, что я зашел? Мильон напоминаний, мильон терзаний? Потерпи, ничего; я по делу. Не будь дела, не стал бы беспокоить; и не вспомнил бы, между нами говоря, что ты на свете есть. Так у вас скоропалительно все началось и кончилось, что я с тобой даже не успел более-менее познакомиться.

Придвигает стул и усаживается по ту сторону стола.

— Даже, как известно, не успели чокнуться за ваше семейное счастье... Ладно, это ерунда, давай по существу. Я говорил, чтоб она тебе записку написала, но она велела передать на словах.

Странно в чужом, недобром лице узнавать черты Зои. Карие глаза под темными тонкими бровями, это у них

общее. Профиль схожий. Маленькая, с гречишное семечко, родинка на скуле. Брат и сестра. «Я жду брата», — сказала она, стоя на площадке, девочка в пальтишке с короткими рукавами, а по заплыванной лестнице шел к ней горбун и вел Щипакина.

— Она в предварилке.

Вот что. А почему бы и нет? Почему не быть и предварилке, и чему угодно? С ней все может быть.

— Прыгала-прыгала и допрыгалась до предварилки.

И непонятно: досадует горбун или злорадствует.

— Ах, теперь в молчанку играть?! Из семьи сманил, а придержать за хвост, чтоб не пугалась с кем не надо, — не хватило силенки? Обязан был держать! А не умеешь, — какого черта сманивал?! Семья бы ее определила, — ты зачем ввязался?.. Светлую жизнь обещал? Ты знаешь, как устроить, что светлей не надо! Сманил, так изволь присмотреть, а то вон какая петрушка... Тип-то этот, оказывается, на заметке, в особых каких-то списках. По белогвардейской лавочке: в осваге, что ли, служил. Идиот, ему в кладовщиках сидеть и сидеть с липовыми документами тише мыши, не рыпаться, а он такой дым пустил; любви понадобилось! Как пить дать, к стенке станет, болван, а она...

— Она знала?

— О чем? Что белогвардеец? Откуда? Полный он, что ли, псих — довериться девчонке? Он ее подговаривал уехать вместе; какой ему расчет был ее пугать?

«Это так. Она легкая, веселая, она бы шарахнулась и от прошлого его, и от будущего».

— Ничего не знала, ясно. И ничего бы ее и краем не зацепило, если б от большого ума не побежала расписываться. В Новороссийск приехали, он первым долгом в загс. Рассчитывал в Одессе венчаться в церкви. Черт его душу знает, что думал: закрепить мечтал?.. Уже фату купил на барахолке.

Он ее затаптывает в грязь каждым своим словом!

— ...Она его не любила, так только... Он-то врзался до потери сознания.

— ...Вместо венца в кутузку. В арестантском вагоне две недели ехала со всякой шпаной. Рассчитывала, привезут — выпустят, а его здесь как раз опознали и засадили накрепко, и ее держат. Получаю письмо, зовет на свиданье, — слезай, приехали...

— ...Он ее чем поманил — котиковым манто.

— ...Влипла. Надо выручать. Ты если постарайся — тебе пустяк, она говорит, — завтра же она может быть свободна. Ей предъявить ничего нельзя, в чем дело? Юрист ручается, ее раньше, позже — обязательно выпустят; так чего ради ей вольтануться за решеткой...

Горбун навалился на стол локтями и плечами, стол ему до подмышек, голова горбуна лежит на плечах, как на тарелке.

— Через Городницкого! — говорит горбун и, совсем осмелев, заговорщицки и повелительно поталкивает Севастьянова в грудь белым костлявым пальцем. — Городницкий, прокурор, если вмешается — ее в два счета... Она говорит — вы корешки с его братом...

Оставшись один, Севастьянов сидит оцепенелый, вялый, водит пером, машинально что-то рисуя. Мысли кружат по периферии события, только что произошедшего. Он не мешает им кружить по периферии; предается им без лихорадочности, с прохладцей; прямо сказать — цепляется за эти периферийные мысли.

О горбуне. Такая вот мелкота, нуль, а сколько может пакости натворить в мире. Продать, растлить, погубить. Неуловимо, безнаказанно. И что ты с ним сделаешь, как обезвредишь? Лишился папы — содержателя притона, лишился доходов от притона, все возненавидел и пошел, огрызаясь, что-то себе налаживать, крутиться по-своему. Как ее обезвредишь, неисчислимую мелкую дрянь? Топчет землю короткими ногами, обмозговывает, хлопчет...

Учил Севастьянова, что сказать Илье Городницкому; все слова — одно другого противней: холуйство и злобное лязганье зубами, бесстыдное хныканье и тут же какая-то юридическая юркость, бедовость, тьфу! Доведись на самом деле до разговора — «товарищ Городницкий, — сказал бы Севастьянов, — она не виновата. Ее покалечили, но перед советской властью она не виновата, она не знала, кто он такой, верь мне. Он пообещал ей дорогие игрушки, она побежала за игрушками».

Кучерявый, обреченная, темная судьба. Как он в белой куртке — вылитый кладовщик — снимал и навешивал замки... Севастьянов вспоминает его логово; и как он кормил и ласкал свою Диану. Все стало мрачно-значительным после того, что рассказал горбун.

Вот тебе и кладовщик, сырое тесто, матрацные пружины. Враг ходил, прихрамывая, по людному двору. От-

вешивал инвалидам повидло для пончиков... Должно быть, и прическу нарочно себе соорудил дурацкую, и косноязычную речь.

Здорово было сыграно. Сиди он в своей щели, может, до него и не добрались бы.

Могучее страха и расчета оказалось тяготение к Зое. Придачей к тряпкам, которые он дарил ей, была его жизнь...

«...А ты о ней все знал, скажи, что нет, — обращается Севастьянов к себе. — Никаких для тебя секретов не было в ее прошлом. Какие, собственно, у тебя к ней могут быть претензии, раз ты с самого начала все знал?» Надо же так о себе возомнить, ведь он, честное слово, был убежден в свое время, что прошлое прошлым, а отныне только и будет ей свету в очах, что он, Севастьянов.

А если бы она захотела вернуться. Если бы она захотела по-прежнему... Нельзя! Чтобы после всего она опять вошла в комнатушку за кухней? Как же он будет говорить с ней? Отводя глаза? Никогда больше не возьмет он ее за руку с той радостной верой!

И вдруг стукнуло: ты что? о чем? Она со шпаной за решеткой. Сидишь? Оттягиваешь? Сопротивляешься? Очень сейчас важно, будешь ты отводить глаза или не будешь, проблема, действительно... Она помощи твоей ждет! Вот что произошло, громадное, великое — она вернулась, уже вернулась, сообразил наконец?! Она рядом! Прислала к тебе за помощью! Считает — ты тут горы для нее своротил, придешь, скажешь «сезам, отворись», и она на воле. А ты сидишь домики рисуешь, сволочь.

Ужаснулся: как грубо — без миндальничанья! — наказывает ее жизнь. Как ей плохо. Две недели в арестантском вагоне... Да отнесли ли ей еду какую-нибудь? Есть ли у нее рубашка, платье — сменить? Даже не спросил, эгоист, животное.

Да, и в комнату вернется, безусловно. Куда ей деваться, не к горбуну же. Она ведь такая же беспризорная, как те детдомовские пацаны, а то нет? Войдет похудевшая, измученная, тихая и положит узелок на стул. И опять просияет паршивая комнатушка. А ты разожжешь примус и поставишь чайник. И будешь кормить ее молча, потому что если заговоришь, то можешь заглукать, и она заплачет, получится чувствительная сцена, зачем.

А когда она ляжет отдохнуть, ты укроешь ей ноги и выйдешь на цыпочках, тогда можешь пореветь неза-

метно где-нибудь в коридоре, раз уж у тебя глаза на мокром месте!

Поздно вечером — нет, это ночь уже, до ночи проканителился, — он стоит посредине мостовой (как стоял когда-то перед другим домом, при других событиях) и смотрит, закинув голову. За высоким забором крыша. Над крышей два фонаря. Резко в их свете белеют трубы на чугунном фоне неба. Она спит под этой крышей. Севастьянов отходит дальше, становятся видны фрамуги верхних окон, ряд светящихся фрамуг, — там спит она. Ее спящее лицо увидел он, ресницы ее, шелковые губы в морщинках-лучиках. Обижают ее, наверно, все эти бандитки и проститутки, это народ известный.

На улице ни души (что за улица? Какая-нибудь третья Георгиевская, вторая Софиевская, там и люди-то почти не жили, то было царство сенных складов, свалок, дворов, где стояли бочки золотарей). Ни души, кроме Севастьянова. От его шагов звенит земля. (Зима? Снега нет. Но и дождя нет, и земля звенит.)

Щелкает задвижка, в воротах открывается фортка. Невидимый кто-то спрашивает:

— Чего ходишь, эй! Что надо?

— Из «Серпа и молота»! — громко отвечает Севастьянов, спеша к воротам; по всей улице разносится его голос... Он протягивает удостоверение, но фортка захлопывается. Человек в буденовке выходит на улицу, зевая и натягивая тулуп. Буденовкой, манерой говорить, неторопливостью, беспечностью он напоминает Кушлю.

— Из «Серпа и молота»? А чего здесь шатаешься? Ваши документы.

Стоя под фонарем, вертит и рассматривает красивую книжечку красной кожи.

— Севастьянов? Я тебя читал, товарищ. Читал твои статейки. Ничего пишешь. Учили тебя или сам?

— И учили, и сам.

— Можно даже сказать — здорово пишешь. Правильно берешь под ноготь все что следует. Молодец.

Не видно, какого цвета у него глаза. Но так и кажется, что они должны быть ярко-голубыми.

— А чего ты тут?

— Тут человек у меня один.

— Ну-у? Кто ж? Из родни кто?

— Сестра.

— Скажи ты! — ужасно почему-то удивляется человек в буденовке. — Ай-ай-ай. Родная сестра?

— Я думал — может, можно повидаться.

— А как же. Возьмешь разрешение и придешь повидаться, и передачку забросишь, строгости особенной нет. Даже на побывку домой отпускают, кто посмирней и не чуждый социально. Ведь это в основном простой народ. Через свою темноту и бедность совершают разные нарушения, и на ихнее пролетарское происхождение делается справедливая скидка. Справедливая-то она справедливая, но я тебе скажу, знаешь ли, пора бы им возыметь совесть и перестать нарушать. Такое мое мнение. Восьмой уж год идет революция, можно бы осознать, кажется. Можно бы проникнуться, в какую ты существуешь эпоху и куда идут массы, а свой шкурный интерес отложить в сторону. Грабят, понимаешь, убивают, ну что такое... Закури, товарищ.

Он протягивает Севастьянову папиросы. Подносит в больших ладонях зажженную спичку.

Глупость какая — вообразить хоть на минуту, что тебя впустят ночью в такое место по редакционному удостоверению...

— Спасибо. Пока.

— Будь здоров, товарищ.

Трамвай уже не ходит. На Сенной площади Севастьянову удается вскочить в проносющийся что есть духу грузовой вагончик. Стоя на подножке, без остановок мчится он по ночным улицам к Илье Городницкому.

Семка сидит под молочно-белой лампой и пишет.

— Илья, должно быть, спит, — говорит он, глядя рассеянно и расчесывая тонкими пальцами встрепанный чуб. — Что тебе так срочно? Я ему пишу письмо.

Он не удивлен поздним вторжением Севастьянова; у него у самого бушуют бури.

И Севастьянов не удивляется, что Семка пишет письмо брату, спящему в соседней комнате, — не до того Севастьянову.

Ковер уставлен кипами книг, связанных веревками, как в тот день, когда Семка сюда переехал.

Семка спохватывается:

— Что случилось?

И, выслушав краткую информацию, мучительно щурится:

— Он спит, по всей вероятности... Не знаю, захочет ли он... А впрочем...

Он выходит. Севастьянову слышно, как он осторожно стучится в дверь рядом; слышно, как он в коридоре с кем-то переговаривается сдержанным басом... Возвращается он с Марианной. Она говорит, входя:

— Нет, ну как можно, он только что заснул, — здравствуйте (это Севастьянову), он только что заснул, неужели нельзя подождать до утра?

Она кутается во что-то голубое и длинное, с длинными всяческими рукавами, золотые волосы заплетены в косу, она сонная и сердится, и когда Семка пытается замолвить слово за Севастьянова, она перебивает:

— Ну да, ну да. Все это очень грустно, но будить я не разрешу. Он устал. Ему нужен покой. Никаких ужасов не происходит, как я поняла? Вашу знакомую просто задержали, не правда ли?

Севастьянов помнил ее нежной, ко всем расположенной, предлагающей им, ребятам, конфеты и дружбу.

— Не вижу повода заставлять его вскакивать среди ночи.

Семка щурится и говорит:

— Повод есть, Марианна.

— Ах, конечно, это ужасно неприятно! — восклицает Марианна. — Кто же спорит! Бедняжка! Конечно, Илья сделает все... но что можно сделать сейчас?

Должно быть, устыдилась своего раздражения; тон смягчается.

— Извините меня, — она берет Севастьянова за руку, — вы расстроены, вы не подумали: ведь он должен разобраться в этом деле, так же сразу он не может, не правда ли?

Лицо светлеет, становится таким, как помнит Севастьянов, — милым, немного беспомощным.

— Ошибка, вы говорите? Увы, это иногда случается, к сожалению... Ошибку исправят! Не горюйте! Ошибки всегда исправляются!

Белыми руками в голубых рукавах она ласково держит Севастьянова за руку.

— Я понимаю: вам хотелось поскорей излить ему свое горе! Да, да, я понимаю! Но вы знаете: он хрупкий,

у него слабое здоровье! — Умоляющая улыбка. — Его надо беречь! Пусть он поспит! Вы ему все расскажете завтра!

Севастьянов глядит на нее сверху. Что он делает? Глупость за глупостью... Какого черта вломился? Что могло получиться из этого набега? Не удивительно, что Марианна рассердилась... А зачем она держит его за руку? Он не знает, как высвободить свою руку. Не умеет он отвечать на эти улыбки! Зачем ему ее сочувствие? Ей же дела нет до Зои и до него, как бы она ни улыбалась и какие бы ни говорила слова, профессорская дочка в голубом шелку! Он не к ней пришел, а к Илье Городницкому, коммунисту; при чем она?..

Но так или иначе он перед ней виноват. И он что-то бормочет — признает свою вину.

Марианна заверяет, что он ее несколько не беспокоил, да нет, несколько, что вы! Его уговаривают остаться ночевать...

Семка провожает его по коридору. Говорит глухо:
— Ляжет ради него под поезд и взойдет на эшафот.

Севастьянов догадывается, что это о Марианне и ее любви к Илье.

Догадывается и о том, что означают стопы книг у Семки на полу и письмо, которое писал Семка. И откровенно просит:

— Обожди переезжать, ладно?

— Я могу устроиться иначе как-нибудь, — отвечает Семка. — Ты об этом не заботься.

А женщина в голубом одеянии с висячими рукавами — представлял себе впоследствии Севастьянов — вернулась к своему мужу. Довольная, что уберегла его покой, что она такая хорошая ему охранительница, — взглянула на него, спящего, и, может быть, перекрестила его, вполне возможно, что она это сделала: не потому, что была религиозной, а от избытка любви. Потом легла осторожно, счастливая, уверенная в своем счастье, в своей силе; и золотая ее коса свесилась с подушки.

К Илье Городницкому Севастьянов на следующий день ходил в прокуратуру, говорил с ним и заручился его обещанием срочно ознакомиться с обстоятельствами Зоиногo ареста.

Совсем молодой прокурор был Илья Городницкий.

Уж одно то, как он вошел... Его пришлось подождать. «Прокурор в суде», — сказала секретарша. Севастьянов довольно долго просидел в приемной. Кажется, при старом режиме в этом здании тоже помещалось что-то относившееся к юстиции. Старая юстиция построила эти толстые стены и полукруглые, торжественные как в соборе, глубокие окна. И деревянные диваны каменной прочности, с полированными покатыми спинками.

Через торжественную приемную Илья прошел — пролетел — широким быстрым шагом, взмахивая портфелем, — оживленный, стройный... Севастьянов не узнал его в первую секунду: Илья был без бороды; Севастьянову показалось, что мелькнувшее красивое лицо он видит впервые... Секретарша, проворно поднявшись, английским ключом открыла дверь кабинета. Прием начался. Первой, крестясь, пошла к прокурору старуха в черном платке.

И в кабинете были окна церковного типа, в полукруглых глубоких нишах, и чрезмерно высокий потолок, под ним сгущались сумерки, — внизу еще было светло. Озеро натертого паркета, стол — остров среди озера.

Илья сидел у стола боком, небрежно, узкоплечий, странно тонкий, не заботясь о том, чтобы приосаниться, принять более солидный вид, больше соответствовать этой комнате, построенной строгой старой юстицией. У него улыбались глаза.

И до чего же молодо выглядел, много моложе даже своих молодых лет.

Впечатление было такое: залетел мимолетно в комнату с церковными окнами — занесенный ветром — некто юный, полный бесстрашных надежд, не собирающийся здесь засиживаться; сейчас снимется с места и понесется дальше куда-то, как перекаати-поле.

Правильное впечатление, вскоре оправдалось: меньше года он проработал в нашем городе.

С чего бы он стал приводить себя в соответствие с зданием, куда занес его ветер? Не в его характере было приспособлять себя к чему бы ни было, неволить себя без нужды. Ему поручали трудные дела, и все у него выходило, это наполняло его безграничной самоуверенностью.

Марианна выдумала, будто он слаб здоровьем; может — для себя выдумала, чтобы еще больше получать

отрады, окружая его попечением и лаской. Ни слабости, ни усталости не было в его лице, бледноватом, без румянца, но словно бы изнутри освещенном, словно только что ему рассказали что-то обрадовавшее его и окрылившее, — хотя что радостного могли рассказать старухи, входившие сюда крестясь...

Ни капли усталости! Он жил активно и упоенно и собирался жить так без конца.

А встреча их была короткая. Кратчайшая. Встреча, которой Севастьянов добивался и которая была так важна, — сколько минут она длилась? Восемь? Пять?

Илья произнес несколько считанных слов; ровно столько, чтобы начать разговор и завершить его и чтобы разговор этот, несмотря на краткость, получился все же человеческим и бодрящим, а не бюрократическим.

— Мне о вас говорили мои домашние. Мы, говорят, встречались, — сказал он мягко и дружелюбно, когда Севастьянов назвал себя. Дружелюбие и мягкость проистекали из довольства собой; из сознания своего значения; из масштабов надежд и планов. Что стоило Илье Городницкому излить на человека частицу своего превосходного настроения?

— Я не очень понял, что у вас стряслось. Рассказывайте. — И стал слушать, делая по временам заметки в блокноте. Слушал терпеливо, с оттенком снисходительного пренебрежения к ничтожности тревог, приведших к нему Севастьянова. Как ни был вежлив, скрыть пренебрежение не удавалось. В приемной ждало еще душ двадцать, вполне возможно, что севастьяновская беда невелика была по сравнению с их бедами, — но не испытывал ли Илья Городницкий такого же пренебрежения и к тем двадцати, превратности их судеб не были ли в его глазах так же мизерны и убоги...

Но он был терпелив, только раз взглянул на часы. Даже вставил великодушно пару реплик, давая понять, что рассказ Севастьянова для него небезынтересен:

— Ах, это тот осваговец... Он порядочно погулял на воле, а? Вот видите, как мы еще скверно работаем.

— Однако! Ради нее пустился на такой риск? Она так его пленила? Занятно.

И сразу прервал, вставая:

— Хорошо. Я займусь ее делом в ближайшие дни.

— Да у нее и дела никакого нет, — возразил Севастьянов, считавший, что не все договорил, — она...

— В ближайшие два-три дня. вот так, — сказал Илья с той же мягкостью. — И если она хоть вполовину так невиновна, как в вашем изложении...

Он располагаясь улыбнулся. Прокурор улыбнулся добродушно и шаловливо.

Севастьянов собирался добавить что-то; но Илья нажал кнопку на столе — сейчас же в двери царापнул ключ, вошла секретарша. Илья бросил, уже не глядя на Севастьянова:

— Следующий.

И все. И, в сущности, этого было вполне достаточно. К чему бы этой встрече быть продолжительной, а тем более взволнованной?.. Илья сдержал обещание, через три дня Зоя вышла на свободу.

Говорят, он вообще был в работе точен и исполнителен.

Он был талантлив, считал Семка; память исключительная. Ухитрился одолеть несколько языков, свободно говорил на них и читал. Ходил по комнате и наизусть шпарил «Фауста» по-немецки. У Марианны от благоговения закатывались глаза.

Ее благоговение благодаря Семке приняло гиперболические размеры. Прежде Илья был просто мужчина, для которого она покинула любимого папу-профессора, и любимую старую гувернантку, и весь круг своих друзей и своих уютных привычек; но, ознакомившись по Семкиному настоянию с творениями, формирующими нашу идеологию, она себе составила болезненно преувеличенное понятие об Илье, о его роли и подвигах; окружила его неслыханным ореолом, — таковы были результаты ее чтений с Семкой, долженствовавших сделать из нее передовую женщину и борца. Так уж преломились эти чтения в ее неподготовленном мозгу. Семка иронизировал над результатами своих стараний, шуря глаза, полные слез.

Бороду Илья отрастил, оказывается, в знак траура, когда не вышло с большим назначением в наркомат, — он же мог дурачиться по любому поводу. Потом борода надоела, возни много; сбрил... Он рвался в Москву. Горел нетерпением, ожидая, чтобы его отозвали обратно. Только в центре по-настоящему чувствуешь пульс жизни, говорил он. Не то чтобы он скучал в родном городе; вряд ли он и умел скучать; просто, вот именно, тянулся к пульсу — где громче, где горячее.

Из письма Семки Городницкого к Илье Городницкому:

«...возишься с растратчиками, взяточниками и тому подобным исчадьем старорежимного ада. И, говоря объективно, весьма похвальная черта, что вечером запираешь всю эту дьявольщину в сейф и приходишь домой с шуткой...

Ближайшая мишень — младший брат. Застрывший в детстве, как ты многократно и недвусмысленно давал ему чувствовать.

Приветствую шутку как орудие критики, как проявление высокой умственной организации homo sapiens'a, как отдохновение, наконец... Ты шутишь — мы все трое бодро смеемся. Но нельзя жить, когда на каждом шагу подчеркивают, что ты нуль.

Шуточка, повторенная десять раз, прилипает как мушиная липучка. Человек ложится и встает с ощущением своей неполноценности. Его социальное самосознание отравлено этим ощущением. Работа валится у него из рук.

То, что тебе посчастливилось в гимназической шинели, желторотым птенцом, влететь прямо в пекло боя, — это, согласишься, случайная удача. Дар эпохи.

Югай тоже мальчишкой пошел воевать, и тоже комиссарил и тяжело ранен под Ростовом, и награжден именным оружием, однако Югай не смотрит сверху вниз на нас грешных — тех, на чью долю достались не столь громкие деяния.

Илья, но разве то, что делают мои сверстники, я в их числе, — не есть борьба?

У тебя повернулся язык спросить — как я ухитрился на этой ерунде нажить чахотку.

Предлагаешь меня «устроить». Тебе нравится «устраивать», удостоверяться в своем влиянии — что достаточно твоего пожелания, и брата твоего «устроят», как «устроили» отца. Спасибо, я не хочу ходить на помочах. У меня свои ноги. Я люблю мою работу. Я вижу, как из многих усилий, таких же малозаметных твоему взгляду, как мои усилия, складывается результат, нужный советской власти и партии, — в этом смысл и счастье моего существования. Инструктор чего-то, что Илье Городницкому кажется игрой в куклы, — я отдам этой работе всю мою кровь до капли.

Если это смешно — смейся!

Мы с тобой ни разу не поговорили на равных основаниях, как товарищи по борьбе. Ни разу ты не спросил, что я думаю по основным вопросам политической жизни. О серьезных вещах беседуешь только со своими друзьями. Стоит мне вставить слово, у тебя веселое удивление в глазах: как, Семка что-то произнес? Выразил свое мнение? Что же значит его мнение, если сам он ничего не значит? Вслух ты этого не говоришь, ну еще бы. Но однажды, в ответ на некое мое замечание (оно касалось, ты, безусловно, не помнишь, специфических особенностей классовой борьбы в Англии), ты погладил меня по голове как маленького и спросил: «Что, детка?»

Илья, разница в возрасте у нас не такова, чтобы ты меня мог гладить по голове! Вообще не знаю, кому бы я разрешил подобную вещь. Позволь тебе сказать, что по ряду вопросов я мыслю более зрело и глубоко, чем ты. (Сужу по отдельным твоим высказываниям.) Начиная с 1921 года меня постоянно включают в комиссии по проверке политических знаний членов комсомола. Но тебя это не интересует, как все, что составляет собственно мою жизнь как комсомольца. Ты комнату, в которой я живу, называешь детской...

...Зачем нам жить вместе, скажи на милость?

Родство? Пережиток...

Я ухожу, Илья, из моей детской».

Так, или в этом роде, писал Семка брату.

Письмо не было отправлено. Во-первых, Семка, перечитав, обнаружил в нем ужасающий индивидуализм. Невозможно, сказал он, сплошь личные местоимения.

Во-вторых, он задумался: на все ли сто процентов он принципиален? Не продиктовано ли письмо его, Семкиным, отношением к Марианне, это было бы недостойно. И, задумавшись, он решал этот вопрос много лет. Но из детской ушел, не дожидаясь разрешения.

Зоя не вернулась в комнатушку за кухней.

Севастьянов приходил и рывком отворял дверь: пуста была комнатушка и никаких перемен в ней, все так, как он, уходя, оставил.

Ночью не ложился: может быть, думал, она стыдится людей после всей этой истории; придет, когда ни одной души нельзя встретить.

Бодрствовал, прислушиваясь к стукам и шорохам, и засыпал у стола, опустив голову на руки. Света не выключал — до утра светилось окно, призывая ее.

Сколько-то ночей прошло и дней. Он перестал ждать.

Уже перестав ждать, услышал это сочетание имен: Зоя и Илья Городницкий...

Пусть так. Он ведь все равно перестал ждать.

59

Когда-то Семкина койка стала лишней в комнате, и Севастьянов отволок ее на чердак.

Теперь он притащил ее обратно и поставил на прежнем месте.

Семка вошел и окинул взглядом дырявые стенки. Его горбоносое, без щек, лицо выразило, что он тронут. Но он сказал юмористически-напыщенно, подняв руку с тонкими, как карандаши, пальцами:

— Привет тебе, приют священный!

За Семкой пионеры, войдя гуськом, внесли книги, увязанные аккуратными стопками. (Сколько еще предстояло этим книгам странствовать! Сколько раз их увязывали и развязывали, втаскивали на верхние этажи, расставляли на полках, заколачивали в ящики, возили по железной дороге большой и малой скоростью! И от странствия к странствию их становилось все больше...)

Электрофикация и Баррикада в этот раз не сопровождали Семку. Они повыходили замуж. Из них вышли жены добрые и домовитые — насколько домовитость была достижима в их неустроенном бытии.

Севастьянов и Семка сосуществовали в комнатухе за кухней так же мирно, по-товарищески, как и прежде. Принося домой хлеб и пакетик с колбасой, один лаконично предлагал другому:

— Питайся. Краковская.

Они не мешали друг другу читать, писать, размышлять, уходить, приходиться... Так было до отъезда Севастьянова. Близилось время новых больших событий в его жизни, время, когда ЦК комсомола заберет его в новую, молодую, боевую газету — «Комсомольскую

правду», и станет Севастьянов разъездным корреспондентом «Комсомолки» и пойдет колесить по стране...

Илья Городницкий уехал раньше.

Влиятельные доброжелатели отозвали его; он вторично покидал свой родной город.

Севастьянов видел, как уезжала Зоя.

(Последнее проявление слабости. В Москве он ее не искал. Ни у кого никогда не спросил — не знаете ли, где такая-то...)

Он стоял в зале для ожидающих, возле бака с кипяченой водой, и смотрел через большое окно. По стеклу мороз набросал пунктиром листья и звезды; сквозь эту узорчатую кисею Севастьянов смотрел как на сцену. А его снаружи увидеть было нельзя.

Зеленый вагон был прямо перед окном, и между окном и вагоном — большая группа людей и в центре Зоя.

Она уезжала с Ильей Городницким и Марианной. Много народу пришло провожать — приятели Ильи, в том числе толстяк Фима, заведующий губздравом, — но никого не было из Зоинных друзей, ни Зойки маленькой, ни Спирьки Савчука, ни одного человека: всех она расшвыряла, не дорожила никем; верно, видела перед собой бесконечный путь и несчетно встреч... Рядом с ней стояла рослая женщина в пуховом платке, с отекившим напухлым лицом и длинными бровями: ее мать. Горбуна не было...

Поодаль сутуло стоял Семка, оставив в Марианну сурово-безнадежный взор. Был и старик Городницкий — примирившийся со своими разочарованиями, по-прежнему франтом, с тростью, в котиковой шапочке. Близости с многообещающим сыном так и не получилось. Илья только устроил отца на должность товароведа, чтобы старик не портил ему настроение и анкету своим социальным неблагообразием.

— ...И роман с этой девочкой! — говорил впоследствии старик Городницкий, вздергивая плечи. — Как может человек такого положения, как Илья, заводить подобные романы! Девочка из домзака! Что за вздорная бравада! Я ему сразу сказал: ты с ума сошел!.. Считаю, — не без яда заключал старик свои восклицания, — что Илье при отъезде следовало отпустить бороду вдвое длинней, чем та, с которой он приехал.

Илья отрастил на этот раз не бороду — крохотные усики, с темными усиками вид у него был донжуанский,

усики выдавали его томление, поглощенность собой, разброд его мыслей... Он говорил и вертелся, перебрасываясь от собеседника к собеседнику и нервно смеясь. Вдруг выключался, взгляд застывал, рука беспокойно пощипывала ниточку усов...

Среди мужских фигур Зоя была как Царь-девица из сказки в своей меховой шубке, в островерхой шапочке вроде тибетейки, расшитой пушистой шерстью ярких цветов, румяная от мороза. По-новому причесана: пробор впереди и волосы туго затянуты от висков назад и немного вверх, от этого глаза казались еще более удлиненными, японскими, необыкновенно прекрасными. Ни страданья, ни раздумья не наложили пережитые тревожения на это лицо. Беспечная, стояла она, пританцовывая на каблуках высоких фетровых бот... Марианна в ее блеске меркла, исчезала. Но она не сдавалась, Марианна, держалась храбро и всем товарищам Ильи по очереди давала свое объяснение текущих событий, как рассказал потом Семка.

— Да, — говорила профессорская дочка, — мы привязались к Зое. Зоя привязалась к нам. Мы берем ее с собой, чтобы она посмотрела Москву и московскую жизнь, она, бедняжка, ничего не видела... У Зои блестящие способности, но ей, к сожалению, почти не пришлось учиться, это нешлифованный алмаз, мы хотим дать ей образование.

Так пыталась она удержаться на гребне вала, который вдруг поднял и понес ее, Илью, ее немудреное комнатное счастье. Она осунулась, линии губ и подбородка стали жесткими; поблекли даже ее золотые волосы. Зоя смотрела на нее и улыбалась ласково и беспощадно.

Иногда эти ласковые лукавые глаза встречались с глазами Ильи... Как они мерялись взглядом, эти двое! Какой жар, какая бесшабашность! Кому из них предстояло сгореть в этом жару? «Ты сгоришь, — обещали нежно улыбавшиеся глаза и губы Зои, — ты сгоришь, я уйду целехонькая...»

Раздался второй звонок. На перроне засуетились, прощаясь. Зоя поцеловалась с матерью, потом всем подала руку. Детская, чуточку неуклюжая и радостная была у нее манера — как-то издали протягивать руку и при этом делать движение, словно вся она устремлялась к тому, с кем собиралась обменяться рукопожатием... Про-

шаясь с Семкой, что-то проговорила, Семка рассказал потом — велела передать привет всем ребятам; а Шуре, сказала, отдельно и очень большой...

Марианна вошла в вагон. За ней, весело оглядываясь через плечо, поднялась Зоя, потом Илья... Третий ударил звонок, тронулся поезд; рядом с ним пошли — замахали, закричали — провожающие. На площадке среди голов Севастьянов видел пеструю шапочку. Вагон проплыл мимо окна, площадка с пестрой шапочкой — как оборвалась... Севастьянов пошел с вокзала.

60

На этом вокзале он вышел из вагона спустя тридцать с лишком лет — взглянуть на места, где родился и рос.

Вокзал был новый. И площадь за вокзалом новая, чистая и нарядная, окаймленная пышными деревьями (те самые деревья, что сажали когда-то на суббстнике?), с целым полем астр и фонтаном посередине. На площади было просторно: пока Севастьянов сдавал на хранение чемодан и брал плацкарту на вечерний поезд, большая часть приехавших с ним уже схлынула. Можно было без труда сесть в автобус или взять такси, подождав несколько минут на стоянке. Но он пошел пешком — по неузнаваемой площади пошел в знакомом направлении на Коммунистическую.

На всем печать новизны; как во всех городах — новизна начиналась с неба и крыш. Крыши дыбились антеннами, а небо перечеркнуто было длинным, жемчужно-светящимся, неправдоподобно ровным и узким, как лента узким облаком, его сотворил человек, который в этой утренней высоте пролетел на самолете.

Машина поливала улицу, и, огибая медлительную машину, по мокрому асфальту прошелестел троллейбус. Прежде на Коммунистической была трамвайная линия, трамвай поднимался в гору от вокзала так медленно, что его можно было нагнать шагом, а к вокзалу, с горы, мчался что было духу, звоня и подвывая.

И вся Коммунистическая была новая, послевоенной постройки. Новые дома были красивы. Очень много стало зелени: деревьев, газонов. Полосы цветов вдоль тротуаров. За тополями, акациями, кленами белели балконы и колоннады.

Где находился «Серп и молот», теперь был скверик. Дети играли на песке.

Так же новы и светлы были улицы, вливающиеся в Коммунистическую. Они носили всё те же названия: с невольной нежностью Севастьянов читал: Лермонтовская улица, Мариупольский проспект, переулок Семашко...

И как толчок в грудь: переулок имени Югая. Синяя с белым дощечка на стене. Югай погиб в Отечественную войну. За два дома от этого угла в двадцатые годы было общежитие ответработников...

...Этот чистый, красивый город не был похож на город севастьяновской юности. Но чертеж города — сплетение его улиц, пусть асфальтированных, не булыжных, — был тот же наизусть известный чертеж, по-прежнему Севастьянов мог бы с закрытыми глазами прийти с вокзала в дальний Пролетарский район, туда, где между парикмахерской и баптистской моленной была темноватая узкая комната, где они работали с Кушлей. Это был родной город, и сердце у Севастьянова билось.

Он подумал: в скольких книгах описано, как человек возвращается на старые места, и все ему кажется маленьким. А я вернулся и все нашел таким большим, несмотря на разрушения и утраты, какие были.

...Увидел вывеску: «Серп и молот» — на богатом доме, ничем не напоминающем тот ветхий трехэтажный дом... Почти машинально вошел в просторный, как в гостинице, вестибюль. Бархатные дорожки, лифт, дубовые вешалки... На стеклянной доске прочитал, что тут помещаются редакции четырех газет и журнала; в том числе указана была вечерняя газета. Множество отделов, редакторов, замов, завов.

Севастьянов поднялся на второй этаж, заглянул в три-четыре комнаты. Незнакомые люди оборачивались к нему; он тихо прикрывал дверь. В одной из комнат молодой человек с живостью сказал, увидя его:

— Вы не Протопопова ищете? Он просил подождать.

— Нет, — ответил Севастьянов. — Я не ищу Протопопова.

...Он не обнаружил квартала, где они жили с Семкой, где было «Реноме»: там несколько кварталов слили и всё застроили однотипными жилыми корпусами, корпус к корпусу...

...Прошелся по новой щеголевой набережной. Ни рельсов, ни штыба на ней не было, а была автотрасса и аллея для пешеходов. К его услугам имелся речной трамвай, но Севастьянов только издали, с набережной, бросил взгляд на тот берег: бледной полосой, плохо различимой среди сверканья воды и небес, выглядел тот берег... Затем на автобусной остановке долго пришлось расспрашивать — никто из ожидавших там людей не мог сказать, какой номер автобуса идет в бывшую Балобановку. Наконец одна пожилая женщина сказала:

— Это вам надо в Дзержинский район.

Севастьянов послушался и поехал в Дзержинский район.

Автобус вез его сперва по улицам, узнавание которых волновало — узнавание сквозь черты, наложенные новизной. Некоторые улицы, подалее от центра, изменились мало... Потом произошла такая вещь: напоминание о прошлом исчезло, а узнавание осталось; даже усилилось, стало ярче. Этих улиц здесь не было. Этих заводов здесь не было. Этих парков здесь не было. И в то же время он все это видел много раз, в разных концах страны, — это был до мельчайших деталей привычный глазу пейзаж новой нашей окраины. Привычный каждым фасадом, краном, ларьком, каждой вывеской и рисунком каждой буквы на вывесках.

«Да ведь я давно проехал и Балобановку и Дикий хутор, — догадался Севастьянов, — если это действительно те места!» Автобус остановился: дальше была степь. Сразу за свежоштукатуренным светло-розовым домом начиналась степь. Севастьянов вышел. Постоял, поискал глазами: нет ли признака, что тут где-то были на лице земли селения Балобановка и Дикий хутор? Ни одного признака. Степь, запах полыни. Безмятежное покачиванье бессмертников. За спиной — наступающая громада, поглотившая кусок степи с рощами, балками и селениями.

Обратно он опять шел пешком, чтобы хорошенько осмотреть все, чего не было раньше. Шел и смотрел, и не заметил в своем подробном и требовательном осмотре, как отгорел день.

Спускалось солнце, когда он добрался наконец до Первой линии.

Он заранее задумал, что Первая линия будет завершением этого дня.

Издали, от угла, увидел дом Зойки маленькой и улыбнулся ему.

Дом был цел, и жалюзи выкрашены ярко-зеленой краской.

Того подворья рядом — с залитым помоями двором — не существовало. Его не существовало уже в тридцатом году, когда Севастьянов приезжал из Москвы в командировку. А дом Зойки маленькой стоял тогда и стоит теперь между новыми домами.

Белые занавески на окнах. Звонок — белая пуговка. Те же камни крыльца, не знающие износу. Правда, стал этот дом совсем маленьким, таким маленьким, что кажется — можно его поставить на ладонь...

И, подходя к нему, Севастьянов вспоминал, как в тридцатом году, приехав в командировку, он поздно ночью пришел на Первую линию и сидел один на этом крыльце.

Он сначала навел справки в управлении дороги и ездил на станцию Н — скую, в железнодорожную школу. Нагрянул туда в разгар уроков и был уверен, что застанет ее, а ему сказали, что она в отъезде, на селе, под Воронежем, работает на коллективизации. И хотя этого можно было ожидать — в тридцатом году много народу было мобилизовано на село, — но Севастьянов был обескуражен, даже поражен, он готовился к встрече и приготовился, и ждал этой встречи — хотя что, казалось бы, значила забытая детская дружба... Он шагнул от нее прочь и стал мужчиной, когда она была девочкой и жила в тишайшем, аквариумном мире. Они стали разными; гораздо более разными, вероятно, чем были. И наверно же, у нее муж, ребенок. Зачем вообще встречаться, что они друг другу скажут после того расставанья. После шестилетней разлуки. Дома с зелеными жалюзи все равно что нет на свете...

Но он пришел к дому с зелеными жалюзи и присел на крыльцо выкурить папиросу. В тридцатом году было дело, в конце лета, поздней ночью. В ночь на третье сентября; утром он должен был уехать. Первая линия спала. Севастьянов курил и думал, как хорошо ему было в этом доме; и это кончилось. Никогда никого не было роднее и теплее, чем она; и это кончилось.

Как они ходили вчетвером по этой мостовой и рассуждали о поэзии... и это кончилось, все разлетелись, и он здесь случайно, вот рассветет — его тоже не будет...

«И тут случилось чудо, маленькая. Много в моей жизни было чудес, и даже чудеса тускнеют от времени, а этому потускнеть не суждено... Я сидел на крыльце, и бог знает как далеко ты была, и я услышал шаги. Шесть лет не виделись и стали другими, а я издали услышал твои шаги, ясный перестук твоих каблучков в тишине, поступь легких ног Зойки маленькой. Я слушал, как приближаешься ты, и видел, как ты появилась, с чемоданчиком в руке, из черной тени акаций и споткнулась, и все медленней, медленней подходила, и остановилась, и прижала руку к груди...»

... — Нет, не жил, — сказал Севастьянов, — просто мне хотелось бы пройти по комнатам, если вы позволите. Старуха в платочке, отворившая ему, все еще глядела на него с сомнением.

— Так, может, ваши близкие здесь жили?

— Да. Здесь жили мои близкие.

Она впустила его.

Было тесно от кроватей. Исчез прежний уют и прежние вещи. Исчезла дверь из столовой в Зойкину комнату, вместо двери стена с обоями, — но и тут сквозь все проступал знакомый чертеж, и было приятно, что эти стены стоят на месте. Пусть они стоят на месте.

— У вас большая семья, — заметил Севастьянов, идя между кроватями.

— Семья небольшая, — сказала хозяйка. — Мы пускаем абитуриентов. — Она произнесла ученое слово гордо и отчетливо. — Абитуриентов, знаете, которые приезжают держать в институт.

О доме заботились: со двора была пристроена терраса, обвитая диким виноградом. На террасе сидели, трапезничали девушки со стриженными и завитыми головами разных мастей.

— Это абитуриенты, — сказала хозяйка.

Два парня лежали во дворе под черешнями, обложившись книгами.

— Благодарю вас, — сказал Севастьянов хозяйке. — Простите, что побеспокоил.

— Пожалуйста, пожалуйста, — радушно сказала она. — Конечно, интересно бывает повспоминать свои молодые годы.

Он простился и пошел на вокзал.

Вечерняя жизнь закипала на улицах. Шла молодежь, одетая легко и светло, по-южному. В кино «Гигант» окончился сеанс, разгоряченные толпы выливались из распахнутых дверей. Мужчины стояли в очереди у газетного ларька — ждали вечерку. В городском саду играла музыка, и у входа в сад продавали розы.

— Купите розочку! — сказала продавщица и протянула букет. Севастьянов приостановился, он явственно услышал голос, сказавший когда-то: «Купи мне розочку!» Представилось — в этой молодой толпе идет и Зоя с розами в руках. Остыла его страсть к ней, и зажила обида: может быть, Зои уже нет в живых; но он еще раз увидел ее в цветении и ликованиях, с розами в руках...

На вокзале зашел на телеграф и в толчее, у почтовой конторки, написал телеграмму жене.

«Был на Первой линии, — написал он, — видел твой дом».

Послезавтра утром он будет обо всем ей рассказывать, и глаза у нее будут влажные, ее зеленые милые глаза.

Он написал номер поезда и вагона, чтобы она его встретила. Отправив телеграмму, взял из камеры хранения свой чемодан, сел в поезд и поехал в Москву.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОВЕСТИ

СКАЗАНИЕ ОБ ОЛЬГЕ

МОЛОДОСТЬ. ЗАМУЖЕСТВО

Был перевоз на реке Великой у Выбутской веси, близ города Пскова.

Много лодок и при лодках гребцы, дюжие мужики на жалованье, и жалованье хорошее.

Над гребцами начальник, поставленный князьями.

У начальника дочка была, небольшая девочка Ольга.

Летом и осенью она жила с родителями при перевозе, на берегу. Когда становилась Великая, семья перебиралась во Псков, в зимний дом.

Из зимнего дома начальник выходил только на кулачках побиться, а то отдыхал на печи; либо спал, либо так сидел, свесив ноги. А Ольгу мать одевала тепло и выпускала на улицу играть с детьми.

Вот идет Ольга по снежной улице меж высокими тынами и дымящимися кучками конского навоза, укутанная в платок. Вот она втаскивает салазки на горку, чтобы скатиться вниз. На ней тулупчик, из-под тулупчика суконное сборчатое платье, обшитое зеленой и красной тесьмой. Она идет, и задки ее валенок скидывают подол. Задки эти похожи на пятки медвежонка.

Было лето.

К перевозу подъехали всадники: в кольчугах, шлемах, шит у левого плеча. На одном коне сбруя с серебряными бляхами и лунницами. Другие кони везли за ними кладь.

Начальник вышел, утирая усы: он как раз сидел за обедом. Гребцы, так же утираясь, побежали к лодкам. Застучали подковы по бревенчатому настилу, всадники стали спускаться к Великой. Ольга стояла возле отца, она перебросила косу на грудь и играла лентами.

Тот, чей конь ходил в серебре, остановился и спросил у отца:

— Дочь твоя?

И похвалил:

— Хорошая девочка. Не отдавай ее никому здесь у вас.

— Рано ей, — сказал отец. — Там видно будет.

— Не отдавай, — еще раз сказал всадник и проехал.

Он носил свой шлем низко, до бровей. Суровые брови нависали над глазами. Борода разметалась по кольчуге могучим веником. Мимо Ольгиных глаз проплыл сапог, вдетый в стремя. Проплыл конский тяжелый бок.

Ольга смотрела, как снимали с коней вьюки и как осторожно привычные умные кони вступали в лодки, и лодки отчаливали одна за другой. Бороды и конские гривы развевались на резвом ветру.

Подросла, и подошло ей время идти замуж.

Весть об этом послали в Киев.

Из Киева сваты приехали не мешкая.

Они привезли ее отцу подарки, и ей тоже — уборы, жемчуг, и повезли ее в жены князю Игорю.

И уборам и замужеству она была рада.

Важно закинув голову и плечи, на громких каблучках сошла по настилу, за ней родня: дядья и тетки с детьми, двоюродные, троюродные.

И поплыли реками, и поскакали сушей.

Земляные города стояли у рек.

Тянули невод рыбаки. Прачки на плотках били белье вальками.

Птицы проносились серыми и белыми тучами.

И ночью плыли, и как в колыбели был сладок сон под холщовым пологом, в одеялах, пахнущих зверем.

Новый день разгорался за лесом по левую руку. Ольга открывала глаза, — из тумана улыбались румяные лица девочек-родичек, ехавших с нею. Опускали пальчики в струи за бортом, умывали личики, освежали горлышки.

Из тумана на берегу выступал лось, темнея крутой грудью и пышными рогами.

Доносились голоса витязей с других лодок, впереди и сзади. Леса перебрасывались голосами с берега на берег.

Эти витязи, сказали Ольге, — ее дружина.

И старый Гуда, приехавший за нею, будет ей служить.

У нее будут свои села, и стада, и много челяди.

Когда надо было выходить из лодок и ехать верхом, старый Гуда брал ее на своего коня. И по обе стороны ехала дружина в кольчугах и шлемах, щит у плеча.

Поначалу обмерла, когда Игорь предстал перед ней, ростом в сажень, на лице все большое, мужское: нос, рот, щеки, складки вдоль щек. Желтые волосы стекали на грудь и плечи. Руки белые были, длиннопалые. Он к ней потянулся этими руками, она вскочила, распласталась по стене, каждая жилка в ней боялась и билась.

А он смеялся и манил ее длинными руками, и она, хоть и дрожала все сильней, тоже стала смеяться и пошла к нему в руки.

Они жили в просторных хоромах. У них были сени на расписных столбах и башня, с которой видать далеко. Комнаты убраны коврами и вышивками, парчовыми подушками и дорогой посудой. Сколько строений стояло кругом двора, сколько горшков сушилось на частоколе! Баню для Ольги срубили новую, из дубовых бревен, топилась по-белому, как белый шелк были новенькие липовые лавки.

Еще за городом было у них имение. Там они держали большую часть своего скота. Кобылицы там паслись и коровы, в воловнях откармливались волы, в загородках во множестве ходили куры, гуси, утки. Сотни стогов стояли на гумне, стога от нынешнего урожая и от прежних. В строениях возле кузни сложено железо и медь.

Самое же ценное хранилось в городе. Ольга могла когда б ни вздумала спросить ключи, проверигь, всё ли на месте. Но в проверке не было нужды, старый Гуда лучше берег ее добро, чем сама бы она уберегла, ключники перед ним трепетали. Он служил еще Рюрику, отцу Игоря. Он сам мог быть конунгом и держать дружину. Да только в первой же схватке с новгородцами какой-то богатырь перебил ему палицей половину костей. И хотя они срослись, но сражаться Гуда уже не мог, и Рюрик

взял его к себе в дом. Как свидетельство былой своей мощи и былых надежд Гуда хранил огромный меч в ржавых ножнах, у меча было имя, как у человека: Альвад.

Таких вольных слуг в доме не много было: всё рабы. Те из военной добычи, те купленные за большую цену — всякие искусники: кто платье хорошо умел шить, лекарства составлять; гусяры, золотых дел мастера.

Вставали Ольга с Игорем, когда развиднялось. Убравшись как подобает, садились за стол с дружиной. После завтрака Игорь шел смотреть хозяйство и разбирать свары, а Ольга качалась с девушками на качелях и щелкала орешки. Перед полуднем обедали, потом спали. Потом ужинали у себя либо пировали в гостях — у кого-нибудь из бояр, у самого господина Олега. Тут уж надо было надевать богатые наряды, ожерелья и золотые башмаки. Во время пира забавляли их певцы и скорморохи, заезжие канатоходцы и ученые медведи. Игорь возвращался с пиров себя не помня, случалось — в спальню на руках его вносили. На Ольгу при этом смех напал, заливалась, уняться не могла.

А то ездили охотиться. Ольга выучилась стрелять из лука и бить ножом, и своих завела егерей. Вот она на охоте: в мужской одежде — кафтан, островерхая шапка с наушниками. Нож в ножнах висит на груди на цепочке. Сапожки узорчатые, и на голенища чулки опрятно вывернуты. И рад ее конь легкой своей ноше.

Так прожила лето и осень без забот. Но в грудне месяце Игорь уехал с дружиной на полюдьё. Не успел уехать, приходят к Ольге и спрашивают:

— Сколько станов прикажешь запускать?

А она и не знает, сколько у нее в доме станов.

Чтоб не ударить в грязь лицом, говорит:

— Все запускайте.

— А с какою пряжей? — не отступаются.

— Пряжу, — она сказала, — запустите самую лучшую.

И видя, что они в сомнении:

— Делайте идите как велено.

Ушли и идут опять:

— В пивоварне варщики упились, передрались в кровь, в пиве друг дружку топили, бочки перебили, велишь ли наказать и как?

Она чуть было со смеху не покатилась. Но поверни на смех, дай поблажку — всё в щепы разнесут и за госпо-

жу считать не будут. Сдержалась, нахмурилась как могла грозно:

— Убрать таких-сяких из пивоварни и услать скотину пасти!

И утвердилась главой своему дому.

С утра, вместо игр, отправлялась теперь смотреть, как прядут, как ткут, все ли заняты, нет ли баловства. Не вприпрыжку, не опрометью по лестнице, не тронув перил, — шла чинно, являя пример рабыням, и с лестниц спускалась плавно, повязанная по брови бабьим тугим платком. Впереди шел ключник, отворял перед нею двери. Связка ключей звенела у него на поясе. Сзади шаркал перебитыми ногами бдительный Гуда.

И все было приказано и указано в срок — там ладно или нет, но указано. И каждый раб знал, что за нерадивость с него будет взыскано. И до обеда время текло незаметно. Но уже к обеду подползала тоска, а после обеда наваливалась, а к ночи хоть воем вой. Пусто было за столом без Игоря. Холодна постель без Игоря. И убранство ни к чему. И печи не грели.

По небогretым комнатам бездельно блуждала Ольга, скудила от тоски. Гуда о старине рассказывал — все одно и то же, надоело слушать. Служанки звали на тройке кататься, приносили в забаву котят, медвежат, — гнала с досадой. Подымалась на башню, стояла под вьюгой, лицом к стороне, куда уехал милый. Нескончаемая зима, самая лютая разлука — первая разлука...

Вьюга, крутясь, заволакивает даль и близь, не разглядеть ничего — как там перед Игорем всякие сударыни свою прелесть выставляют, как он по чужим домам ночует, как какую-то змею подколотную целует с чмоком в щеки и уста.

Только весной он воротился.

По полой воде пригнали они лодки с добром, собранным на полюдь. Вся дружина вернулась, кроме двух человек только: одного зашибли в драке, другой от горячки помер где-то в середине зимы.

Пригнали они лодки с добром, и, сосчитав все и поделив, одни повезли свою часть дальше, надеясь продать ее с большей выгодой, чем в Киеве; а другие остались на месте ждать, когда подсохнут дороги и приедут купцы.

Игорь остался, и опять они с Ольгой миловались и гуляли, и охотились, и вместе, взявшись за руки, восходили на башню-смотрильню.

Отрада глядеть с башни веселым летом с милым вдвоем.

Темной гущей залегли леса по холмам, среди них поля и луга напоены солнцем. Горстками изб пестреют села. Плавает коршун в синеве, сужает круг над селом — на цыпленка нацелился...

Могучим потоком света струится Днепр в зеленой красе, взблескивают его струи, плывут по ним лодки.

Где в Днепр впадает Почайна, находится пристань: теснота судов, людское шевеленье, навалы тюков под навесами. Ходят сборщики пошлин, пересматривают и переписывают товары. Засуча порты, шленают к лодкам по воде продавцы съестного, предлагают приезжим блины и квас.

Если смотреть себе под ноги — видны двускатные и односкатные крыши, дворы, огороды. Плещут крыльями голуби вокруг голубятен. Женщина стелет на травке холсты. Снует и горланит народ на торгу. В гору подымается воз с дровами.

Под горой — Подол. Восточные ветры несут оттуда стук молотов и зловонье зольников. Всегда там грязь, даже когда сухо везде. По грязи проложены доски для прохода. На Подоле кожи мнут и железо варят, дымы там не сизые, а желтые и багряные.

И ту сторону Днепра видно с башни. Говорят, еще не так давно там гуляли хазарские табуны. Подходили к берегу и пили днепровскую воду. Но господин Олег прогнал хазар и запретил подходить, а по курганам расставил стражу. И если покажутся хазары — на курганах взвиваются костры, и в Киеве дружина княжеская берется за оружие.

Господин Олег был тот князь, что отметил Ольгу и сосватал ее для Игоря.

Трубы трубят под Киевом.

Изумляя зверье в лесах, трубят под Киевом трубы, — что такое?

На Перуновом холме режут быков, ягнят, голубей. Ах, хорош баран, которого ведут, пиная, на закланье: упитан и кудряв, и венки из цветов напялены на рога. Ах, красивый был баран...

Быки ревут в предсмертном ужасе. Мелко блеют ягнатики. Лишь голуби, трепеща, умирают молча.

Струями толстыми и капельными льется кровь, стекается в ручьи, пенится и дымится.

Господин Олег идет на Царьград. Он собрал войско из всех подвластных племен. Он снарядил две тысячи кораблей, по сорок человек на корабле. Что было шуму, когда они раскропили Днепр веслами, тронувшись в путь! Весла взлетали как одно. А трубачи сидели на носу кораблей, и щеки у них от натуги лопались.

Войску предстояло, одолев первые пороги, перед Нясытем вытащить корабли на берег и шесть тысяч шагов нести на плечах. За порогами, близ Крарийского перевала, сидели печенеги — высматривали купцов, чтоб ограбить и угнать в плен. Там всегда приходилось сражаться. Но против такой грозной силы печенеги, конечно, и не сунутся. Будут вслед смотреть из укрытия, от зависти зубами скрежеща.

Затем корабли должны были идти под парусами вдоль западного берега Русского моря: мимо Конопы. Константины, устья Варны и Дицины в греческий город Месемврию, лежащий на островке; а уж оттуда к Царьграду.

Так перевозились товары, и этим же путем некогда ходили на греков Аскольд и Дир. Но то несчастливые были князья. Они вернулись с остатками своего отряда, разбитые бурей, которую наслала мать греческого бога, Богородица. Старики помнили, какой тогда в Киеве был плач.

Олег, князь счастливый, до седых волос дожил побеждая. Волхвы гадали по его оружию и предсказали ему удачу. От крови жертв, что воины его принесли перед отплытием, размяк, растекался зловонной жижей холм у подножья Перуна.

И Перун пересилил Богородицу. Олег воротился с победой и с войском — кроме тех, что погибли от греческих ядовитых стрел либо кончились в корчах, поев греческого овоща через меру.

С победой возвращается господин Олег, и, отдыхая, до беспамятства пьют они навезенные вина и угощают щедро, и певцы восхваляют их деяния.

И гомон стоит на наших торгах, где воины распродают свою добычу, и съехались к нам отовсюду купцы, меж ними печенежские — лунно расплющенные лики,

глаза щелями, и хазарские — завитые бороды, вкрадчивые речи, и еще бороды, крашенные огненной краской, и чалмы, и верблюды с высокой кладью на горбах.

И Ольга ходит в своем доме среди раскиданных даров, то за одни серьги схватится, то за другие: серег ей достались пригоршни. Примеряет перстни: навезены связками, как грибы сушеные. Надкусывает иноземные плоды, сладкий сок из них каплет на пол.

Слушайте, как дело было, поют левцы. Страшнее бури мы предстали перед Царьградом, моря не было видно под нашими кораблями. Император Лев о воинском деле горазд книги писать, а выйти на нас не посмел. Запер гавань цепью, да разве от нас запрешься? Высадились мы в окрестностях и пошли посуху. А которые корабли Олег велел поставить на колеса, а ветер был попутный, и возопили греки на городской стене, увидев, что наши паруса мчатся на них сушей.

Теми кораблями мы подвезли махины, и кто к ним приставлен стали махинами стены бить, а мы разошлись по селам, а села там пребогатые, и погуляли всласть.

Каменное строение, думаете, худо горит? Хуже деревянного, само собой. Но всякое дело спорится, коли взяться уменочи. Мы их смолой поливали, чтоб бойчей горело, и всё чисто пожгли, чего унести нельзя. Ни дома жилого, ни церкви не найдете кругом Царьграда, одни пепелища.

А что унести можно — подбирали со тщанием, и теперь оно тут, в Киеве.

А сады на костры извели.

Слушайте, слушайте, как было! Выслал к нам Лев своих бояр, говорят: господи, почему не торговать нам мирно, как торговали? Что вам надо? Всё дадим, не губите город. И вынесли угощенье, якобы в дружбу. Но Олег сказал нам: не ешьте. И кинули псу, и издох пес.

После того пошли в город послы Олеговы, и договор был написан на русском языке, чтоб греки не могли нас обмануть. Император поставил свою подпись, а наши послы — за кого писцы подписали, а кто умел, тот сам, в этих случаях означено правды ради: «Подписал своею рукою».

И по этому договору, знайте, получают уклады все города, где сидят князья наши, и все корабли, ходившие на Царьград, по двенадцать гривен на корабль.

По сию пору сидят греческие казначеи, отсчитывают нам золото. Столько того золота, что пальцы у них заболели считать, считают лопатками.

А когда мы, вострубив в трубы, отплывали от Царьграда, великий князь Олег прибил свой щит к его воротам, чтобы помнили.

Должно быть, греки содрали щит, когда наши паруса скрылись в морской дали. Но мы этого не видели и не знаем, и знать не хотим, и поём щит Олегов на вратах Царьграда.

Господина Олега укусила змея, и он умер, прокняжив тридцать лет и три года.

Его похоронили в Щековице, и киевским князем стал Игорь. В золотом корзне сел на Олегово место, Ольга рядом.

— Чего лада, хочешь? — спросил. — Говори.

— Дворец каменный, — сказала Ольга.

— А что ж! — сказал Игорь.

И позвали мастеров из Греции, умельцев по части каменных палат.

Через толмача Ольга им сказала:

— Постройте нам дворец, как у вашего императора.

Мастера были степенные, трезвые, с многоумными обширными лбами.

— Как у нашего императора, — сказали, — на это всего твоего достояния не хватит, княгиня.

— Неужто! — сказала Ольга.

— Так, — подтвердили они. — Ты бы в этом убедилась, если бы съездила в Константинополь. Но можем тебе построить дворец славный и крепкий, могущий простоять, при благоприятных обстоятельствах, не одну сотню лет, удобный для жития и отрадный для глаз.

— Будет ли он достоин нашего звания и могущества?

— Не сомневайся, он будет таков, что любой европейский король за честь бы почел в нем жить.

— Чтоб непременно, — сказала Ольга, — была при нем башня-смотрильня, нам без нее нельзя.

— Хорошо, — согласились мастера. — Построим тебе башню-смотрильню.

И стали строить. По их указаниям рабы копали яму, месили известь и глину. С Волги от болгар повезли белый камень, его резали и обтесывали, делали красивые ровные плиты. Обернутые в солому, издали были стекла для окон, узорчатые, цветные. Только печи

клали наши печники, русских печей греки класть не умели.

Славно работали ученые мастера. Поработав, ходили молиться в христианскую церковь святого Илии на Аскольдову могилу. Возвели дворец, какого в Киеве еще не бывало, медной кровлей и цветными окнами сиявший как жар-птица, со многими покоями для спанья, пиров и беседы.

А меж тем негодные древляне отказались платить Киеву дань.

То было племя дикое и темное, как темны и дики были их леса. Они обитали под боком у Киева, но не стремились перенимать доброе у киевлян, жили по своему лешачьему обычаю. Богаче многих племен, имея множество скота, они продавали кожи, а сами предпочитали ходить в лаптях, не в сапогах: не имели, значит, понятия о благолепии и чести. Они приносили богам человечесьи жертвы из самых пригожих своих отроков и отроковиц. И не то что при тяжких бедствиях, когда, кроме этого, уж ничем, как известно, не поможешь горю, а просто так, походя, распевая песни и отплясывая. У них невесту не приводили к жениху по-хорошему, они умыкали себе невест на весенних гульбищах у вод. Выбегали из лесов и умыкали девиц из других племен тоже. И ели падалину, как псы. И в довершение всего их женки ходили простоволосые, с голыми шеями.

Олег, с которым шутки были плохи, примучил древлян, и они ему платили, хоть и роптали. Самое дорогое в их дани были черные куницы, их брали нарасхват во всех странах. Больше ста лет назад госпожа Зобеида, супруга калифа Гаруна-аль-Рашида, стала носить шубы на русских мехах, и с тех пор все знатные госпожи и господа следовали ее примеру. А черная куница шла почти в цену соболя.

Теперь древляне затворились в своих городах и не хотели давать что бы то ни было Игорю и его мужам. Уж и князь у вас ноне, говорили. Чуть не до сивой бороды прожил у Олега за спиной, на рать не ходил, только на охоту с кречетами. Идите, говорили, с вашим Игорем к такой-то матушке, ничего не получите.

Не разочли лапотники: был жив Олегов дух в Киеве! Бывалые воеводы поседали на коней и, взяв с собой Иго-

ря, ударили на древлян. Отважней старых воевод был молодой, Свенельд, лез вперед через любую опасность. Они победили древлян и взяли куниц, белок и прочее.

После того, разохотившись, решил Игорь сходить на Царырад. Два раза ходил. Первый раз удачи не было, еле до дому добежал с остатками дружины, без золота и без славы: думал, так же просто управится и с греками, как с древлянами; пошел малой силой, на немногих кораблях, и греки пожгли эти корабли своим греческим огнем.

В другой раз кликнули варягов из-за моря и наняли печенежскую конницу. На этот раз что-то принесли домой: греки не стали ждать разорения, заплатили, и был заключен договор о мире и любви.

А пока Игорь воевал, Ольга сына родила. Положили его в зыбку, при зыбке сели сторожить мамушки. Запели про серенького волчка, про кота-воркота, про богатство — «будешь в золоте ходить, чисто серебро носить». Имя дали сыночку — Свягослав.

ВДОВСТВО

С возрастом Игорь стал тяготиться трудами, норовил сидеть дома.

Вместо себя посылал Свенельда собирать дань и примучивать непокорных. Пока не рассердилась Игорева дружина и не сказала:

— Скучно нам у тебя. Свенельдовы отроки ходят с ним за данью, и оружие у них самое лучшее, и одеты как королевичи, и подвиги есть за каждым, чтоб покрасоваться. А мы тут с тобой сидим бесславно, наги и босы. Сходил бы куда с нами. И мы себе добудем, и ты себе.

— Ну что ж, — сказал Игорь, с дружиной ему ссориться не приходилось.

— Хоть к древлянам, — сказала дружина. — Они примучены крепко, противиться не будут. И близко. И богатые.

— И то, — согласился Игорь.

И не велел Свенельду ходить к древлянам, сам, мол, пойду. А Свенельда послал в другие волости.

Отъехали они, как всегда, в месяце грудне.

Миновала зима. Вернулся Свенельд. Прилетели журавли. Половодье спало, а Игоря нет и нет. Затревожи-

лась Ольга — послать, что ли, на понски, а то и самой поехать. Когда на рассвете будят ее и говорят:

— Там к тебе древляне пришли.

Она вышла в сени, а древляне, человек двадцать, стояли внизу во дворе. Она спросила:

— Что вам?

Они ответили:

— Нас послала Древлянская земля известить тебя, что мы убили твоего мужа Игоря.

Она спросила:

— За что?

— За то, — ответили они, — что он грабил нас как волк. Он за данью пришел, и сколько мы звериных шкур давали ему и дружине его, и счесть нельзя. До последней белки все у нас повыбрал, и уж радовались мы, когда он уехал и скрип возов его стих. Но ему мало было, он дружину отослал, а сам вернулся с небольшим числом людей и говорит: еще давайте. Твой муж Игорь слишком был жадный. Он как думал? Он думал: вот я вернусь с малым числом людей и что соберу, то с немногими делить придется, не со всей дружиной. А о том, видишь, не подумал в своей волчьей жадности, что если людей с ним немного, то мы можем его убить.

Так они рассказывали, задрав бороды к высоте, на которой она стояла. На них были белые рубахи и новые лапти, а на шеях ожерелья из серебра и бронзы, они оделись чисто, желая оказать ей уважение.

Она спросила:

— Как вы убили его?

Они ответили:

— Мы его, не обижаясь, привязали к двум деревьям, пригнув их друг к дружке, потом их отпустили, и его тело разорвалось пополам. Уж очень он забрал много. И воск, и мед, и деготь, который мы думали обменять на топоры, тоже взял. Нехороший был человек. Вот наш князь Мал — хороший человек. Храбрый, и-и! Таких храбрецов свет не видел. И в охоте удачлив. Что тебе горевать об Игоре? Выходи за нашего Мала. Вдовой плохо быть, мы понимаем. Мы понимаем, что раз уж оставили тебя без мужа, то должны другого дать. Выходи за Мала, и дело с концом.

Еще спросила она:

— Где это было?

— В городе Коростене, — сказали ей, — где правит Мал. Выходи за Мала!

Женщины у нее за спиной заскулили и запричитали, а она молчала и думала, а те всё стояли внизу, задрав бороды. Подумав, сказала им:

— Вы говорите хорошо. В самом деле, почему бы мне за него не пойти? Но хочу вас почитать, как сватов. Идите теперь в свои лодки. Вам туда принесут кушанье и постель для отдыха. Вы разлягтесь и отдыхайте с важностью, как сватам подобает. И когда придут от меня звать вас, говорите: на конях не поедем, пешие не пойдём, мы Маловы сваты, несите нас в лодках! Они понесут. Будет честь и вам и пославшему вас Малу. И киевляне мои увидят, за какого сильного князя я, бедная, замуж иду.

И смотрела им вслед, как они шли к воротам, на широкие спины их в белых рубахах и лохматые льняные затылки. Потом хлопнула в ладоши, и все забегало по ее слову.

Затрещали дрова, запылала солома в летних печах, устроенных во дворе под навесами. Повара, обливаясь потом, мешали в котлах длинными ложками, толкли пестами в ступах, рубили сечками, вертели вертела с поросятами и золотыми жирными курами. Хлебопеки, засуча рукава, могучими руками месили тесто в корытах. Тучи пара и дыма катились над двором. Загремели ключи, отпирая кладовые, погреба и медуши. Из кладовых доставали пуховые подушки и тканые ковры. Из медуш — меда. Из погребов выносили кувшины с молоком, у которых в горле собралась сметана, и били масло.

И повезли древлянам к их лодкам — чего-чего не повезли, жареного и пареного. Пирог, перепечи, сдобные караваи на яйцах, пахнувшие шафраном, лапшу с потрохами, уху с чесноком, и молодое пенное пиво, и в осмоленных бочонках — мед: тот черно-красный, как бычья кровь, а тот прозрачный, как ключевая вода. Квасы там были, стреляющие пухлыми изюминами, овсяный кисель, богатые куриные щи, заправленные свиным салом, целые молодые ягнятки, начиненные кашей. Все устанавливалось на возах и обкладывалось соломой, чтоб горячее не стыло, а холодное не согревалось; и терпеливые вола день-деньской тянули эти возы от княжьего двора к пристани.

Уж и попиروвали древляне, дожидаясь Ольгина зова! За всю жизнь не было им такого раздолья, лесовикам дремучим. Выставив к небу раздутые животы, икая, в бородах пух от подушек, нежились в лодках на коврах. С присвистом обсасывали сладкие кости и кидали в Днепр. Опорожнят один бочонок — Ольгины слуги тут как тут, вышибают днище из другого: пейте, дорогие сваты, угощайтесь, бояре, пусть не скажет никто, что будущая ваша княгиня худо вас чествует!

— Не! — отвечали древляне. — Не скажем! Славно чествует нас наша будущая княгиня!

Среди слуг были служанки, молодые. Пленницы из ближних и дальних стран. У одной пшеничные косы, как два колоса, спускались на грудь и колени, и ходила паввой. У другой голова, как деготь черная, была в мелких косицах, а белки голубые, а губы сухие, в трещинах, и в знойной улыбке раскрывались нежные зубы. Третья, как корица коричневая, носила серебряные кольца на руках, ногах, в ушах, а на лбу между бровями бирюзу, а в нос у ней вдета была костяная палочка. Отроду не слышали древляне о таких диковинах! Служанки отгоняли мух, взбивали подушки, цедили в ковши из бочонков мед и подносили ласковыми руками, древляне пили-ели, ели-пили, и сколько раз взошло солнце и сколько раз село, сколько съедено было, и выпито, и целовано — все потеряли счет.

А между тем рыли яму на выгоне, где паслись Ольгины коровы. Перегнали стадо на другое пастбище и рыли в сотню заступов, погружаясь в землю по мере того как углублялась яма. Холмы свежей земли высились кругом.

На коне подъезжала Ольга, заглядывала. Ее спрашивали:

— Не довольно ли?

Она отвечала:

— Копайте.

Но вот ранним утром пришли от нее к древлянам, стали будить. Древляне храпели на все Поднепровье. Когда их растолкали, они не понимали ничего и просили:

— Рассолу дайте.

— Ольга зовет вас на великую честь, — сказали посланные. — Ступайте, там вам и похмелиться дадут, и всё. Пешком пойдете? Или коней подать?

Им рукой шевельнуть было не вмоготу, и они вспомнили, что она наказывала.

— Не пойдем и не поедем, — сказали. — Ваш князь убит, ваша княгиня хочет за нашего князя, несите нас к ней в лодках.

— Придется, — сказали посланные. — Ваша нынче сила. — И, подняв лодки на плечи, понесли.

Они их несли мимо товарных складов, стоявших на берегу, и через Житной торг, и через Подол. И, видя такое, кузнец отбрасывал свой молот, гончар спешил остановить свой круг, купец навешивал замок на дверь, — все побежали за небывалым шествием.

По всему Киеву пронесли Ольгины люди древлян, мимо кичливых хором и земляных изб, и отовсюду бежал народ со смехом и расспросами, а древляне сидели и гордились, говоря:

— Смотрите, смотрите, киевляне, как нас несут! — и подбоченивались, и супились с важностью, и выламывались всем на потеху. До последнего мига гордились и красовались, до того мига, когда полетели с лодками куда-то вниз и, очнувшись от падения, увидели себя раскиданными по глубокой холодной яме, стонущими и изувеченными.

Ольга наклонилась над ямой и крикнула:

— Что, сваты, нужно вам рассолу?

— Ох, — ответили они, — трезвы мы и без рассола!

— Довольны ли, — спросила, — честью?

— Ох, — ответили, — хуже нам Игоревой смерти!

— То-то! — сказала Ольга и махнула рукой. И заработала сотня заступов, засыпая яму.

Стояла дружина, стояли киевляне, стояли рабы. Все это видели. Некоторые пальцами правой руки стали творить на своем лице и груди изображение креста. То христиане были.

Из ямы неслись стоны, хрипы — стихли. И не шевелилась могила больше. А заступы знай работали.

В тот же день опять пустили на этот выгон стадо, и добрые коровки живо утоптали разрытую землю.

Ольга же послала к древлянам верных людей и велела сказать так:

— Я на дороге к вам. Готова пойти, пожалуй, за вашего князя. Только сначала хочу справить тризну на могиле моего мужа Игоря. Наварите побольше медов в Коростене.

Древляне обрадовались и стали варить. У них без числа бортей было по лесам, залиться могли медом.

На всякий случай, однако, они вооружились как на битву, выходя за стены Коростеня встречать Ольгу. Но, к пушей своей радости, увидели, что при ней лишь небольшая охрана.

— Видим, — сказали, — что ты без злобы приходишь к нам. А где те, кого мы послали в Киев?

— Они за мной едут, — отвечала она, — с остальной моей дружиной. Задержались, охотясь. Ведите меня на Игореву могилу.

И тотчас все поехали кривыми тропами, пригибаясь под ветками, к Игоревой могиле.

Черны, черны, громадны были древлянские леса. Без провожатого никуда дорог не найдешь, пропадешь.

Сыростью дышала чаща. В невидимых болотах вздыхало, булькало.

В этих местах колдуны жили, умевшие превращать людей в волков.

Иногда развиднялось во мраке перед едущими. Тропа выводила на дорогу — колесный след по мураве. Открывалось поле, на нем жито росло, либо просо, либо лен.

На иных полянах пасся скот. Льяноволосяе голубокие мальчики сторожили его от зверей. За острыми частоколами виднелись крыши. Женщины в холщовых рубахах стояли у смотровых окошек, сложив под грудями руки в расшитых рукавах.

И опять погружались в лес, опять ветви хлестали по головам и хватали коней под уздцы. И выехали наконец на обширную поляну, где был насыпан бугор над Игорем.

Ольга сошла с коня, поднялась на бугор, он уж успел, горемычный, травкой порастить и цветиками запестреть. Легла и плакала, причитая что было голосу:

— Ох, злосчастье мое, отринут от меня мой ладо прекрасный! Ох, зачем мать сыра земля не погнется, зачем не расступится! Зачем не померкнет солнце красное! Муж мой Игорь, вот где лежит твоё тело белое, пополам растерзанное. Вот где угомонились быстрые твои ноженьки, вот где закрылись соколиные твои оченьки! Не откроешь, не глянешь на свою Ольгушку! Не протянешь рученьки, не обнимешь свою голубушку!

Долго причитала, перечисляя приметы Игоревой красоты и силы и все, чего ее лишила его смерть. И при этом билась головой оземь и ногтями царапала лицо.

— На кого ж, — говорила, — ты меня покинул, муженек! Без тебя я сиротинка горькая, былиночка на ветру! Кто ж теперь за меня заступится, кто меня оградит от бед!

— Мал заступится, — судили древляне, утомясь ее жалобами и проголодавшись. — Мал тебя, сироту, оградит от бед.

Но она продолжала плакаться, пока сама не заморилась, а слушавшие к тому времени совсем изнемогли. Тем с большим рвением стали все пить и есть, рассеявшись по склонам бугра и вокруг. На вершине сидела Ольга в черном платке и отдыхала от плача.

Тут пошли в ход меды, сваренные в Коростене. Разливали их и разносили Ольгины отроки, отборные, толковые: поведет княгиня бровью — они понимают.

Она поводила бровью вправо и влево и приказывала пить за здравие князя Мала. А древляне, чтоб показать ей, в какое племя она идет замуж, боролись между собой: скидывали рубахи и, сцепясь попарно, топтались перед ней. Тела их были облиты потом, как маслом, и поляна полна пыхтеня и ругани. А пьяные их жены толкали Ольгу в бока и показывали пальцами, чтоб она любовалась, и смеялись бесстыжие простоволосые женщины с цветами в косах, умыкнутые у вод.

Потом бороться уж не могли и только песни пели, кто какие умел. А когда истек день и месяц высветлился в небе, — и петь мочи не стало. Как поленья валялись древляне, и мужчины и женщины. Ольга встала, затянула платок под подбородком и сказала своим:

— Рубите.

Ее дружинники вытащили из ножен широкие мечи и стали рубить подряд, так и катились головы вниз по бугру.

Уж ночью кончили свою работу дружинники. Вытерли мечи травой — не просто было найти и траву-то сухую после такой сечи, — сели на коней и тронулись давешним путем восвояси. Хмелем и кровью пахла ночь. Ухал леший в чаще. Яркий месяц стоял над Игоревой могилой, озаряя тихо лежащих безголовых мертвецов.

Глухо прошла осень, за ней зима.

Засев дома, Ольга убивалась об Игоре, истово пила свое вдовье горе.

От горя посеклись ее волосы, и ввалились щеки, и сама собой скорбно качалась голова.

Бессонными, бесконечными стали ночи. Все храпят в дому, а она подыметя и бродит.

Для одиноких ее блужданий зажигали на ночь в дворцовых покоях светильники.

Но всю осень и зиму работали оружейники на Поделе, заказ большой им был от княгини, и они старались.

Весной, по ее приказу кликнутые, стали стекаться в Киев молодые ребята. Ольга с башни смотрела, как их обучают на лугу: как они стреляют в цель, мечут копыя и скачут друг на друга, выставив щиты.

И тронулось войско, бряцая железом.

В кольчуге и шлеме ехала Ольга среди воинов. И Святослав ехал, ему было четыре года, уже стригли ему первый раз волосы и посадили на коня.

Шумно переходили речные броды. Отдыхали в охотничьих становищах.

От просеки, по которой ехали, отделилась дорожка, сырая, оплетенная корнями, как змеями. Ольга со Святославом и воеводами поехала по этой дорожке.

Там в лесной глубине рос древний, древний дуб. Как уголь черные были ствол его и ветви, на которых едва раскрывались махонькие изумрудные листочки. Черней угля было дупло в стволе, очертаниями подобное яйцу с гладкими, будто обточенными краями. На ветвях висели ленты, мониста, цветные тряпочки.

Вокруг была расчищена круглая полянка: дуб стоял в кольце света, в кольце небесной голубизны. А чтоб никто не коснулся этого ствола с таким глубоким, прекрасным тиснением коры, была устроена ограда из кольев. И ограда и вся полянка заляпаны птичьим пометом.

Приехавшие подождали. Никто не выходил из-за ограды. Они покричали:

— Дедушка!

Но, видно, старик ушел борти смотреть либо в село за хлебом. Они поклонились дубу и повесили дары на его безбрежные ветви, перекинутые через ограду. Кто вешал пояс, кто запястье. Ольга повесила богатую ткань. Асмуд пригнул ветку к Святославу, и тот повесил свой тканый шерстяной пояс.

Когда показалась навстречу древлянская рать, Ольга подала Святославу копьё и сказала:

— Начинай ты.

Святослав толкнул копьё, но оно слишком было для него тяжелое — пролетело у его коня между ушами и упало тут же у конских ног. Тем не менее Свенельд и Асмуд сказали войску:

— Князь уже начал. Потянем за князем!

И киевляне поскакали, выставив копьё и прикрывшись щитами. И древляне сделали то же самое. А съехавшись близко, мечами рубились. А то схватывались руками поперек туловища — кто кому доберется до горла, кто кого свалит с седла.

Святослава, под крепкой охраной, Асмуд поставил повыше, чтоб тому все видеть, и Святослав от радости припрыгивал в седле и кричал:

— Ого-го!

Не выстояли древляне против обученных Ольгиных воинов и многоопытных воевод. Побежали и заперлись в своих городах. И которые города не хотели сдаваться, те Ольга жгла, и страшно они пылали, воспламеняя леса окрест. А которые, образуясь, перед ней отпирались, те она миловала. Старшин и непокорных кого перебила, кого пленила и в Киев отослала, а остальным велела по-прежнему охотиться и сеять, бортничать и гнать смолу. И назначила, что будут платить князю своему Святославу и ей, своей княгине.

И чтоб не было непокорства, как при Игоре, она прошла с войском по всей своей земле и всем показала в мощи и строгости.

Установила — с кого какая дань и куда свозить.

Что исправить: где гати поделать через болота, где просеку расширить, и к какому сроку. И писцы ее записывали.

Учредила погосты с охраной, чтоб безопасно останавливаться купцам.

И разбирала жалобы, и вершила суд.

Праведный или нет, а приговор ее был последний.

Потому что за ней стояли ее воеводы и воины и потому что должен быть, для устройства, некто, за кем остается последнее слово.

До дальних границ дошла, до Луги-реки и Мсты-реки, там жители все годы жили беспризорно, норovia не платит ничего. Везде навела порядок.

Шла не спеша. Остановливалась, охотилась, смотрела, где что как. Наведя порядок, вернулась в Киев, переделась по-домашнему и села отдыхать в своем каменном дворце.

Сидит она в чистой комнате. От натопленной печи тепло.

На лежанке мурлычет кошка.

Вдоль стен сидят женщины, прядут. Споро бежит у них между пальцами ровная нить.

А старый старик Гуда, двух князей переживший, рассказывает про старину, а певцы играют на гусях и славят Ольгу. Голоса у певцов благозвучные, волосы маслом намазаны.

Ай да Ольга, поют, ай да княгиня! Тыщу древлян положила на мужнем кургане одной своей мудростью. Тыщей кровей отрыгнулась им Игорева кровь!

Ан не тыщу, выше забирай! Две тыщи. Три. Пять тысяч, вот сколько!

Поверили, дурни, что наша Ольга пойдет за их Мала! Ольга за Мала, как это быть могло? И того ему довольно, что на мертвую его башку поставила ногу свою. Разве что за греческого императора ее отдадим, не меньше.

Где Мал? И могилы его не найти. Где Ольга? Вот она с нами, проблиставшая молнией, прогремевшая громом!

К кому ее приравняем? К кому ж, если не к тому, чьи корабли ходили на парусах по суше? Чей щит на царьградских вратах? Кто, хитрый как змий, у Аскольда и Дира лукавством взял Киев?

Только с Олегом сравняем нашу Ольгу, больше ни с кем. Но даже его расправа не была столь пышна, и громка, и хитроумна.

Святослав вошел в годы мужества. Ему исполнилось двенадцать лет.

Среди челяди была девица Малуша. Вместе с братом Добрыней ее пленили еще в младенчестве, выросли оба на Ольгином дворе.

Едва войдя в мужество, Святослав повадился ходить к Малуше. Ольга уговаривала:

— Повременил бы, сынок, хотя бы годик. Хотя бы усики подросли.

Асмуд, воспитавший Святослава, заступался:

— Живет молодец как ему живется. Пусть живет, пока жив.

— Да зачем Малуша, что ты в Малуше нашел! Чернавка и чернавка, за свиньями ходит. Возьми другую какую-либо, мало ли их у нас!

— Не хочу другую, — отвечал Святослав.

— Уж и Добрыня, — говорила Ольга, — старшим дерзкий стал, перстень завел со смарагдом, в родню норovit.

Все же перевела Малушу из свинарника в дом.

Однако, переведя, призвала советников: Свенельда, Асмуда и древнего Гуду — ему было уже за сто, и говорил он по большей части о том, что было сто лет назад, но, видно, прочней молодых были его перебитые кости, рассыпаться не собирались.

— Время женить князя Святослава, — сказала Ольга.

— Время, — подтвердили советники.

— Не абы на ком, а чтоб нам от его женитьбы честь была. Что такое — земля богатая, у народов на наши богатства глаза горят, а чести мало, вовсе не по состоянию нашему нам честь.

— Бить их надо, народы, — сказал Свенельд. — Будет страх — будет честь.

— Настолько непривычны к чести, — продолжала Ольга, — что и не разумеет ее как бы следовало, даже у кровного моего дитяти нет соображения, что оно — князь над князьями, кого выбрал — чернавку. Вы мне скажите: какого состояния и нрава Оттон-император? Великолепно ли живет, и крепко ли сидит на престоле, и имеет ли дочерей?

— Живет, по слухам, в достатке, — сказал Асмуд. — многими владеет поместьями, живностью всякой, даже львов держит в одном из замков.

— Но до царьградских ему далеко! — сказал Гуда.

— Воин знатный, — сказал Свенельд. — Во всех концах света земли повоевал.

— Книголюб, — сказал Асмуд. — Овдовев, грамоте выучился, да так хорошо, что может в совершенстве книги читать и понимать.

— В кости играть мастер, — сказал Свенельд.

— С греческими владыками подобает родниться, — сказал Гуда. — Святослав — внук Рюрика!

— Больно гордые греки, — сказала Ольга.

— Только их цари, — сказал Гуда, — истинные бази-
левсы перед миром. А нынешний Константин рожден
в багрянице. В его роду надо искать невесту.

— А что чести нам маловато, — сказал Асмуд, — мо-
жет, и наши люди в том не без вины. Вот, сказывали
мне, посылал к нам тот же Оттон монаха Адальберта из
города Трира. С проповедниками, с дарами. Ну, у нас
им известно что сделали: дары отняли, проповедников
перебили. Сам Адальберт еле ноги унес, сказавши: «Вре-
мя спасения еще не наступило для сего народа». А что
человек не малый, видать из того, что после этого по-
сольства назначил его Оттон архиепископом Магдебург-
ским.

— Зря дали уйти Адальберту, — сказал Свенельд. —
Можно было выкуп взять у Оттона.

Она их отпустила и велела позвать священника Гри-
гория из церкви святого Илии. Уже не раз она его
призывала.

Пришел сухопарый грек в разлетающихся длинных
одеждах. Поднял чистую руку, рукой начертал в воздухе
крест между собой и Ольгой.

— Говоришь, значит, — она спросила, — что, умерев
и истлев, и лежа в земле в виде скелета, я в то же время
буду жива-здорова у бога на небесах?

— Так, — он подтвердил, — если примешь крещение.

— Не могу понять.

— Уверовать нужно. Вера более могуча, нежели пони-
мание. Крестись, и придет вера. Ты сейчас постигнуть не
можешь, как все переменится в тебе и вокруг тебя, когда
погрузишься в купель и дух святой воспарит над тобой.
В тот же миг святые мученики со всех икон устремят
к тебе взоры и протянут невидимо длани, готовые своим
заступничеством прийти к тебе на помощь в любой беде.
И в доблестном круге христианских государей ты ста-
нешь равновеликой и равночестной. И после смерти ду-
ша твоя не будет качаться на ветке, как вы, злосчастные,
веруете, в виде бесстыже нагой и мокрой русалки — тьфу,
невежество! — а покинув мерзкую и тленную свою обо-
лочку, прямо вознесется в горние дали к престолу всевыш-
него и пребудет там в блаженстве во веки веков.

И рассказал, какой у горнего престола блеск и ро-
скошь, и поют сонмы ангелов, хваля господя.

— Оттуда, — говорил, — нисходит к нам всякая милость и всякий гнев, так что знай, если налетят печенеги — это от него наказание за грехи наши, а если печенеги отвлекутся к дунайским племенам, стало быть, он нас простит. Также — если весна дружная и грозовая и хлеба политы обильно и своевременно, это господь бог дарует нам свое благоволение.

— Ох, тут нет ли ошибки, — сказала Ольга, — не Перун ли все же, мне сдается, обеспечивает поливку полям.

— Нет! — воскликнул он. — Перун тут ни при чем, и самое сопоставление кощунственно, и даже из твоих княжеских уст я не желаю слушать такую скверну! Этот дрянной истукан, которого давно пора потопить в Днепре, чтоб он расколотил свою усатую башку о пороги! Что иное все ваши идолы, как не деревянные чурбаны? Всколыхнуло ли их когда-нибудь живое дыхание? Слышал ли кто от них хоть единое слово? Тогда как наш господь в человеческом образе являлся на землю, жил среди людей, вкушал с ними пищу, учил, творил чудеса, принял муки, преставился, воскрес, голос его звучал в садах и рощах, существующих доселе! Да и дух святой воплощался, правда — в образе голубя, зато неоднократно. Ты тяжко согрешила, приписав Перуну частицу деяний господних, и чтоб не наслали на тебя печенегов или чего-нибудь еще похуже, скажи немедля: боже, милостив буди мне, грешной!

Она это повторила, потом сказала:

— Я согласна, — что поделаешь? — что оболочка моя к старости становится неприглядной и даже мерзкой, но я с ней свыклась, — нельзя ли, чтоб она тоже пошла к всевышнему вместе с душой?

— Чего нельзя, того нельзя, — ответил он. — Но обещаю тебе, что в оный день твой скелет вновь оденется плотью и встанет из могилы.

— Юной плотью или вот этой?

— Юной и полной соков! Сказано: обновляется днесь естество человеков, чудно из тления преобразуемое в нетление, облакается в одежду прежней славы, уже не одержимое больше смертью.

— Когда это будет?

— При всеобщем воскресении, когда сын божий явится судить живых и мертвых, и с ним ангелы с огненными мечами. Могу сказать, когда именно это произойдет: в семитысячный год от сотворения мира, то есть ровно

через пятьсот тридцать шесть лет с сегодняшнего дня, поскольку сейчас у нас год шесть тысяч четыреста шестьдесят четвертый.

Он говорил со строгостью и знанием дела. Слова текли без задержки из его черной бороды.

— Хазары тоже свою веру хвалят, — сказала Ольга.

Он высокомерно улыбнулся:

— Поезжай в Константинополь. В твоей власти снарядить корабли и ехать куда захочешь. Что ты видела? Что знаешь?! Узри своими глазами славу Христову. Если после того станешь слушать хазар — я от тебя отступлюсь: значит, душа твоя закрыта для истины. Поезжай в Константинополь, говорю тебе.

ПУТЕШЕСТВИЕ В ЦАРЬГРАД

Она снарядила корабли и поехала.

Синим ветром незнакомо и дивно обдувало ее, когда они вышли в море. Раскрылся простор, какого еще не бывало перед ней.

Из простора бежали, бежали, бежали, бежали белые гривки.

Корабли грудями разрезали гривки, то сбиваясь в стаи, то протягиваясь через простор длинным караваном.

Каждый день тут был велик и полон, как эта синевой налитая чаша.

Падал ветер, и приходилось тащиться на веслах.

Ветер набрасывался, вздувались паруса, море бугрилось темными горами, корабли безумно взлетали на вершины и срывались в бездны. Тогда многим боярыням делалось так худо, что они вповалку лежали на палубе, блюя и стеная, а Ольга смеялась над неженками.

Находила черная туча, от середины к окоему резали ее молнии и терзал гром. Священник Григорий при каждом ударе осенял крестным знаменем запад, юг, восток и север.

Перун угомнялся, снова воцарялся мир и блеск, и, выпуская из гладких блестящих спин высокие струи воды, мирно плыли куда-то морские чудища.

Русское море оно звалось. Потому что давным-давно мы здесь плавали.

Приблизились к чужим берегам, плыли вдоль них. Там одни пески были как серебро серебряные, другие как золото золотые, по каменным пустынным утесам ползали гады.

Черным вечером, когда, кроме звезд, ничего не видеть, вдруг закопошился далеко где-то свет, сгусток света. Стал разгораться, полоской лег по морю, — месемврийский маяк, передышка в пути. Они спустили паруса и к острову, на котором стоит Месемврия, подошли на веслах. Островок спал, выставив против пришельцев враждебную крутизну берегов. Из мрака сверху окликнули — кто, зачем? Снизу прокричали — едет киевская великая княгиня Ольга к императору Константину.

Им позволили бросить якоря, а утром витязи отправились в город — заплатить за стоянку, купить припасов. По договору они не могли высаживаться на берег вооруженными. И мечи свои, отстегнув, оставили на кораблях. Но на всякий случай надели кольчуги и спрятали ножи за голенища.

Ольга сидела с боярынями и Гудой на палубе. Смотрела на высокие крепостные стены, на каменную башню маяка, рыбацьи каменные хижины, прилепившиеся к склону, — жилье в таких хижинах наверху, а нижняя часть глухая, неприступная, не хуже крепости. Слушала долетающие с берега чужие голоса... Восемнадцать боярынь с ней было и еще десять родичек псковских и киевских, и дружины двадцать человек, и послы от Святослава и вельмож. Каждый вез на продажу тюки мехов самых лучших. При каждом находились слуги для всех нужд.

Горячий и томный был Босфор, темно-синий, синее неба.

В знойном мерцании, многоцветный, окруженный садами и виноградниками, возлежал на холмах Царьград.

Сияли его купола. Белели колоннады и арки.

Сбегали с холмов мощенные камнем улицы.

Тысячи кораблей теснились в гавани. Малые лодочки сновали между ними. С кораблей перекрикивались люди на разных наречиях.

В том числе наших людей было много: новгородских, смоленских, черниговских.

Они дожидались, когда греки перепишут у них товары, возьмут пошлины и пустят на берег.

И Ольге сказали ждать, и ждала, будто гвоздем прибитая к кораблю.

Чужой приказ прибил ту, что привыкла сама приказывать.

Чего-чего, а этого не чаяла.

— Ты почувствуй, — укреплял ее Григорий, — к кому приехала. Не к Малу какому-нибудь: к владыке православного мира. Одних служб во храме сколько выстаивает император. А доклады? А совещания? А ристания на ипподроме? А усмирение враждующих партий? А сочинение и чтение книг? Даже в путешествия возят за ним книги: богослужебные, стратегические и толкователь снов. И он их читает, несомый на носилках. Но не бойся, примет тебя, найдет время.

— Можно бы уже и найти, — отвечала.

— То нам знать не дано, — говорил он, — можно или не можно, то ему дано знать. А я давай-ка еще тебе порасскажу о страстях господних. В святой Софии предстоит тебе лицезреть орудия сих страстей.

Раскалялось лето. На глазах менялись в цвете сады и виноградники.

Белые, береженные лица и руки боярынь потемнели от загара. Не помогали ни притиранья, ни завесы.

На тех же местах те же белели портики и горели купола. Все крыши и извивы улиц уже были известны наперечет.

Изнывая, от восхода до заката высматривали: не плывет ли гонец с известием. Но не было гонцов, только, когда солнце садилось и вечер упал, начинали плескать воровато весла за кормой, тыкались о корабль скорлупки-лодчонки: то греки-перекупщики вились вокруг беспошлинного товара. Им спускали веревочную лестницу, вели в подпалубное помещение. Там, ножичком бережно вспоров защитый тюк, при свечке встряхивали нежные слежавшиеся шкурки, цокали языками. Русские цокали — каковы, мол, шкурки. Греки цокали — больно дорого хочешь, господин. Нацокавшись, приходили к согласию, и грек уплывал, обмотав живот соболями и озираясь — не видать ли таможенной стражи. А господин либо госпожа пересчитывали полученные золотники — червонцы — и прятали в пояс.

Иной раз являлись иноземные купцы со своими тол-

мачами. Кланялись Ольге и просили защиты, если им придется торговать в Киеве. Среди русских купцов самый видный был Панкрат Годинович из Новгорода. Он в Царьград приезжал чуть не каждый год.

— Полюбились тебе, видно, чужие края, — сказала Ольга.

— Где, княгиня, для нашего брата чужие края? — отвечал он. — Где золотник на золотник наживают, тот край не чужой.

— Неужто золотник на золотник?

— Бывает и больше.

— А чем выгодней торговать?

— Наивыгодней — невольниками. Купишь за безделицу, подкормишь, глядишь — ему цена втрое.

Вошел священник Григорий. Панкрат Годинович подошел благословиться и руку ему поцеловал.

— Ты христианин! — сказала Ольга.

— Без этого нельзя нам, — сказал Панкрат Годинович. — Доверия того не будет. Беру товары в долг — клянись на кресте.

А лето уж проходило. Уже ели виноград и пили молодое вино. Глаза не могли больше глядеть на близкий и далекий, самовластный, чванный, вожделенный, ненавистный город. А гонца не было.

— С ума посходили греки, — сказала Ольга. — Каждый день, что ли, великие княгини к ним приезжают?

— Незадолго до тебя приезжали саракины, — сказал Панкрат Годинович, — так им другой был почет. Сразу приняли.

— Слышь, Григорий! — сказала Ольга. — Для саракин у твоего императора сразу время нашлось! Слышь, Гуда! Саракинам почет, а нас на солнце вялят!

— Отчаливай! — вскричал Гуда, затрясши седины. — Довольно! Ты вдова Рюрикова сына! С ними надо разговаривать огнем и железом! Уедем и вернемся с войском, и пусть на этих холмах не останется ни куста, ни строения, ни человека!

— Замолчи! — сказала она. — Хороша я буду, вернувшись через столько времени не солоно хлебавши, до костей провяленная, курам на смех! Нет уж, теперь исход один — добиться своего, что бы ни было. Но чем саракины им лучше? Они христиане?

— Нет, — сказал Григорий. — Но они также чтут единого невидимого бога и имеют свой божественный за-

кон, которому следуют. За то им даны многие знания, и искусство управления, и победы в битвах, и у них процветают ремесла, и зодчество, и стихосложение. Тогда как, бесспорно, деревянным болванам могут поклоняться лишь дикие народы — все равно, мочальные усы у болвана или серебряные.

Но на этом кончилась пытка ожидания и явились гонцы, с низкими поклонами, с улыбками, словно никакой пытки не было и никого не провялили до костей. Гонцы известили, что император просит княгиню со свитой пожаловать в его столицу и будет рад приветствовать ее девятого сентября у себя во дворце.

В носилках с балдахинном и бахромой ее понесли по городу.

Сзади ехала свита, а рядом с носилками бежал грек Феоктист, его дали Ольге, чтобы сопровождал ее.

Шел народ по улицам. Играли смуглые дети. С белокаменных галерей смотрели женщины в светлых легких платьях.

У раскрытых дверей лавчонок жарили в жаровнях миндаль.

Феоктист рассказывал, бежа в гору:

— Константинополь заложен во исполнение воли божьей. Императору Константину — не теперешнему, да продлит бог его царство, а святому равноапостольному, царствовавшему шесть столетий назад, было ночное видение. Встав поутру, он взял копьё и во главе процессии пошел по сим холмам. Копьём он намечал границу будущего города. Он вел эту черту так долго, что ему сказали: «Это уже превышает размеры самого большого города». Но он возразил: «Я буду идти, пока шествующий передо мной незримый руководитель не остановит меня». Он взял сюда лучшие украшения у городов Греции и Азии: статуи героев, мудрецов, поэтов, мрамор языческих капищ — из него сооружали храмы господни. Так как не хватало строителей, чтоб застроить столь большое пространство, — Константин во всех провинциях, даже дальних, основал школы архитектуры... Но, конечно, наибольшее великолепие город приобрел впоследствии, особенно при Юстиниане Великом и при ныне царствующем, да продлит бог его царство, Константине Порфирородном... Это здание с колоннами и статуями — бани

для черни. Вот там ты видишь ипподром. От трона, с которого император смотрит на игры, вьющаяся лестница ведет прямо во дворец. Тот эллипс на вершине второго холма — с двумя триумфальными арками — это форум...

Меж камней, которыми вымощена улица, торчала тонкая трубка, из трубки текла вода. Женщины, стоя вереницей с кувшинами, подходили по очереди и наполняли свои кувшины.

— Водопровод, — сказал Феоктист. — В случае осады городу не грозит безводье: подводные трубы питаются из глубин. Устройство зиждется на знании математики и механики.

Потом смотрели святую Софию.

— Здесь, — рассказывал бойкий Феоктист, остановясь на площади перед собором, — ты видишь, княгиня, чудо премудрости божьей. Господь наш вложил в строителей понимание веществ и пропорций, и они воздвигли этот храм на тысячи и тысячи лет, ибо нет на свете силы, кроме высшей, могущей его разрушить. Его камень скреплен смесью свинца с негашеной известью и окован железными обручами, а в удивительный сей купол, как бы поддерживаемый в воздухе невидимой рукой, положены для легкости пемза и кирпичи с острова Родоса, они в пять раз легче обыкновенных кирпичей. Погляди, как искусно сочетаются в облицовке здания различные виды мрамора: вот этот белый с черным — босфорский, желтый — мавританский, бледный с темно-серыми жилками — каристский, а розовый и пурпурный с серебряными цветками — фригийский. Истинно, ничего более прекрасного нет на земле. А строили Софию десять тысяч работников, и им каждый вечер платили жалованье серебряной монетой.

Вошли внутрь. Сколько звезд в небе, столько там пылало свечей перед иконами. Огни бесчисленно множились в гладко обточенном мраморе колонн и дробились в золоте и дорогих каменьях; от этого с непривычки зажмуривались глаза и пол плыл под ногами, как на корабле в качку.

Голос Феоктиста жужжал:

— Весь мир христианский возводил Софию, все церкви и города внесли свою лепту. Эти восемь колонн из зеленого мрамора доставлены рвением эфесских должностных лиц, а те восемь порфировых — от некой

благочестивой римской матроны. Иконы писаны лучшими живописцами, которые в продолжение этого подвига усердно постились и не прикасались к женщинам. А что видишь здесь золота, оно все чистое и литое, а самоцветные камни отшлифованы лучшими ювелирами, и малейшим из них не пренебрег бы вельможа для своего украшения...

— Но что все это, — он воскликнул, — перед извечными святынями! Видишь портик? Ему название — Святой Колодец. Здесь воздвигнуты перенесенные из древней Самарии остатки того кладезя, возле коего господь Иисус Христос беседовал с самаритянкой. Вот сии остатки! В алтарных же помещениях хранятся орудия страстей господних: верхняя доска от его пресвятого гроба, копьё железное, коим было прободено его ребро, а также сверла и пилы, ими был крест учинен для его распятия...

Грянуло пение. Пело множество голосов, согласно и прекрасно. Ольга оглянулась и не увидела, кто поет и где — справа, слева, наверху ли, внизу ли; но будто рядом пели. В могучем потоке голосов и огней было торжество невиданное, неслыханное. Ольга пошла дальше, озираясь, вся наполненная этим пением и светом, ревниво растревоженная чужим торжеством.

В садах императора били высокие струи воды, оседая бисером на цветах и листьях.

По дорожкам гуляли павлины и трясли хвостами.

За солнцем и благоуханием садов была прохлада тенистых палат.

Через каждую палату шли долго, а пройдя ее, вступали в другую, а оттуда в длинный переход к третьей, а из третьей на крытую площадку с вьющимися растениями и бьющей водой, и все разукрашено было цветной росписью и мозаикой, и со всех стен глядели не то люди, не то боги.

— Этот зал, — жужжал над ухом Феоктист, — зовется триклин Юстиниана, а этот — триклин Пиксит, а этот — триклин Кандидатов. Теперь идем по галерее Сорока Мучеников. Теперь идем по вестибулу Лихн. Анфилада слева ведет к цуканистирию, где император упражняется в верховой езде. Кувуклий Камила... Илиак Фара... Макрон Китона, ведущий к консистории... Столовая Кенургия, ее роспись повествует о подвигах Василия Македо-

нянина, основателя нынешней династии... Приготовься! Подходим к триклину Лавзиака, предваряющему Христотриктин, золотой тронный зал, где удостоимся зреть императора, да продлит бог его царство.

Что в триклинах, что в макронах и вестибулах было видимо-невидимо людей. По сторонам рядами стояли стражники. Чужеземцев, светловолосых и светлоглазых, среди них замечалось больше, чем греков. Они стояли смиренно, сложив на груди руки, но каждый при мече, и в узких рукавах шарами перекатывались их мускулы. Гораздо больше было народу невойскового, всё мужчины, но многие в одеждах длинных, как у баб. Маленькими шажками они сновали по каменным скользким полам и шушукались между собой, вытягивая узкие бороды. У половины, впрочем, борода не росла, ничего не росло на их желтых мертвецких лицах, и эти держали себя особенно важно. Бородатых и безбородых, кичащихся нарядами, были здесь, должно быть, не то что тысячи, а тьмы и тьмы. Ольга спросила:

— Это кто же такие, гости?

— Государственные чиновники, — ответил Феоктист, — состоящие на дворцовой службе.

— Куда столько чиновников?

— Ну как же. При надлежащем устройстве двора чинов требуется весьма много. Всяк, кого тут видишь, имеет не только имя, но и чин, и чин значит несравненно более, чем имя, и присваивается высокаторжественней. Причем высшие чины, кроме воинских, присуждаются исключительно евнухам, ибо только они могут отдавать себя службе целиком, не будучи отвлекаемы женами и детьми. Так, например, евнух — папия, которому подчинен весь двор. И помощник папии, девтер. А также анаграфей, сборщик податей Двенадцати Островов. И если диэтарии могут быть бородатыми, то их старшины, примикирии, — никогда! Они всенепременно евнухи.

— Неужто, — она спросила, — для всех этих мужиков находится дело во дворце, хоть как он ни будь велик? Не полы же они моют.

— Славно шутишь, — одобрил Феоктист и посмеялся шутке. — Дел государственной важности у нас хватает, княгиня, на всех. Некоторые, а именно диэтарии, предназначены, ты почти угадала, наблюдать за чистотой дворца, но они лишь несут за нее ответственность, а скребут и моют слуги. Недоумение твое простительно,

оно проистекает, не взыщи, из неразумения, что такое истинная царственность. В необразованных странах понятия не имеют, как изощренно распределены должности при нашем дворе. Возьмем препозита. Он ведает царским венцом, его надеванием и сниманием, — допустимо ли возлагать на него что-нибудь еще, кроме этого? Когда император смотрит ристания на ипподроме, препозит стоит за ним и не смеет глаз отвести от венца, ибо ежесекундно может сесть муха, или пролетающая птица осквернит святыню, и препозит обязан удалить нечистоту без промедления. Вот тебе другой пример. Веститоры надевают на императора хламиду, а вестиариты подают ее веститорам и затем убирают в шкаф. Согласись, это разные должности, смешивать их нельзя. Есть также протовестиарий, он на особом корабле плывет в поход с царской одеждой за царским кораблем. Логофет драма, идущий перед нами, ведает приемом послов. Нипсистиарий подают императору воду для омовения рук. Каниклий — хранитель царской чернильницы. Ламповщики заведуют маслом, которое расходуется на освещение дворца, кроме масла, идущего на освещение Хрисотриклина, им заведует сам папия. Заравы отбивают на биле число часов, извещая о времени открытия и закрытия дворца, собраний чинов и смены стражи. Я перечислил далеко не всех, ибо лишь император с его глубоким вниманием к церемониалу да папия с его должностной памятью могут держать в уме всю номенклатуру чинов, никому третьему это не доступно. Но поверь, каждый стоит у некоего кормила и обременен заботой, и если выдернуть из этой постройки кирпич-другой, для империи могут проистечь самые нежелательные последствия.

Логофет драма к ним приблизился и дал наставление, как приветствовать императора. После того их ввели в Хрисотриклин.

Шестнадцать полукруглых окон, пробитых в куполе, изливали в палату свет, и она была подобна храму. На стене под куполом золотой и цветной мозаикой изображен Христос, властный и грозный, сидящий на престоле.

— Царь небесный, — шепнул Феоктист, — прообраз власти земной...

Под царем небесным находилось возвышение, закрытое завесой. Русских поставили против завесы. Раздался протяжный, плывущий звук — зарав ударил в било, — два чина отдернули завесу, за ней сидел император. Зазвенев цепочками, взметнулись кадила, благовонным дымом окутывая престол, а все находившиеся в Хрисотриклине пали ниц, и Ольга увидела кругом себя зады своих боярынь. Сама она не пала, как наказывал логофет, а лишь наклонила голову.

Пока другие лежали на полу, она разглядывала сидящего на нижнем престоле. У него была такая же борода и такие же усы, как у сидящего на престоле верхнем, а взгляд сонный. Сидел неподвижно, как тот над ним, ноги покоились на шелковой скамеечке, одна нога выступала немного вперед, в левой руке держал свиток. Одежда его состояла из многих частей и многих драгоценных камней, каких надменные греки никогда не продавали русским, считая их недостойными такое носить. Особенно хороша была небесно-голубая ткань, вышитая золотыми листьями. На голове золотой венец, над ним впереди возвышался крест из пяти жемчужин диковинной величины. Жемчужные нити, три справа, три слева, свешивались с венца между ушами и щеками.

Так он сидел долгое время, давая им кому лежать задом кверху, кому махать кадилом, потом прикрыл ладонью правую руку и прикрытой рукой подал знак. Ольгу повели и посадили в кресло лицом к лицу с ним. Он сказал:

— Чаем, княгиня, твое путешествие было благополучно.

Потом:

— Чаем, в нашем городе приняли тебя достойно и ты всем благоустроена.

Толмач переводил, а кроме толмача тут как-то неприятно оказался еще человек — приполз, что ли, и прильнул на нижней ступени трона с пергаментом и тростью для письма — записывать, что будет сказано.

Ольга жаловаться не стала, из гордыни, а также ради того, что привело ее сюда. Кивнула и спросила о здравии царя и царицы. На что он ответил:

— Слава богу, благодарю тебя.

Толмач торопливо шепнул:

— Говори, княгиня, свое дело, беседа идет к завершению.

Ольга сказала:

— Вот мое дело. У тебя товар, у меня купец. Сын мой подрост, великий князь Святослав Игоревич, внук Рюрика. А у тебя в роду невесты есть. Ты о нас в книгах, говорят, писал, стало быть знаешь, сколько в нашей земле всякого добра и как крепчаем год от году. Была б корысть и нам и тебе — породниться. А Святослав у меня пригожий да храбрый.

Все сказала как нельзя лучше. Но он молчал, и в длинных, усталостью затуманенных глазах ничего нельзя было разгадать, что он думает.

Он спросил:

— В твоей свите имеется священник. То духовник твой или катехизитор?

Она не поняла. Толмач спросил от себя:

— Ты крещена? Нет? Но он тебя наставляет? Катехизитор.

— Я хочу креститься, — сказала Ольга.

— Если сподобишься сего, — сказал Константин, — мы будем твоим приемником.

И склонил взор, отпуская ее.

Ударило било. Ольга сошла с возвышения. Завеса задернулась. К Ольге подошли чины, поздравляя с великой милостью. Потом ее повели обедать с императором.

Это только казалось так, на деле император с семейством обедал за одним столом, а Ольгу посадили за другой, среди знатных гречанок. Гречанки лопотали и угощали, но Ольге сидеть с ними было обидно. Она недобро посматривала на императора и императрицу, парчовыми одеждами и высокой шапкой похожую на священника, когда он служил в церкви, и на детей — чахлого престолонаследника Романа и его жену, красивую девочку с бархатными бровями. Тот стол стоял высоко, взирать на него приходилось, хочешь не хочешь, снизу. И Ольге становилось все обидней, и она еле отведала кушаний и вин, хотя с утра была не евши.

Пока длился обед, хоры пели славословия императору, хваля его мудрость и благочестие и перечисляя его благодеяния, оказанные подданным. Когда певцы смолкали, являлись плясуньи и лицедеи, они плясали и чрево-

вещали, разыгрывали представления, играли шарами и жезлами, кидая их в воздух по многу сразу и пере-хватывая. Иногда император приподымал свои утом-ленные руки и слегка ударял в ладоши в знак одобрения, тогда все принимались хлопать что было сил, кроме Ольги, которая это считала стыдным для себя и сидела нахмуренная.

Пошли чины и, кланяясь, поставили перед ней изукрашенное камнями золотое блюдо. на блюде на-сыпаны были червонцы. Толмач сказал — это дар ей от императора, пятьсот милиарисиев. Привстав, она покло-нилась, и Константин благосклонно кивнул. Вслед за тем подали воду и полотенца для умывания. Царская семья удалилась. Ольгу понесли на подворье святого Мамы, где стояло посольство. Толмач сказал, что подарок до-ставят туда же.

И правда, когда Ольга добралась до подворья, ее пятьсот милиарисиев уже лежали там на столе, сло-женные столбиками. Свита ее, обедавшая в другой двор-цовой палате, в пентакувуклии святого Павла, вернулась раньше, и все друг другу показывали, кто сколько полу-чил. Племяннику Ольгиному дали тридцать милиари-сиев. Двадцати послам и сорока трем должностным ли-цам — по двенадцать. Служанки Ольгины получили по восемь. Почему-то столько же дали Григорию, невзирая на его сан. И чем больше он силился выказать, будто ему все равно, — тем видней было, как ему это горько, что его приравняли к служанкам, и где же? В Константи-нополе!

Совсем мало получили Святославовы послы: всего по пять милиарисиев.

— А блюдо где? — спросила Ольга. — Блюдо. на ко-тором мне подали милиарисии эти.

— Княгиня, — сказал Феоктист, — блюдо не является подарком. Оно возвращается в сокровищницу.

— Так вы дарите, греки, — сказала она, не выдержав, чаша ее обиды была переполнена унижением Святосла-вовых послов. — У нас дарят не так.

Пришел Панкрат Годинович. С глазу на глаз она ему сказала:

— Как дарили саракин, не слыхал? Жива не буду, если саракинам дали больше.

— Если и больше, то вряд ли намного, — сказал Пан-крат Годинович. — Дела-то здесь не больно важные.

Только пыль в глаза пускать мастера. К примеру, на пасху царь награды чином раздает: кошельки с деньгами. Так кошелек дарится закрытый, а в него суший пустяк положен. А то вовсе безденежно норовят отделаться. Королеве лангобардской Теодолинде маслица подарили из лампад от святых мест. Ты видела пышность одежды придворных — все казенное: на раз выдается и обратно забирается. Сама понимаешь, что стоит держать такие дворцы и храмы, и ипподромы, и телохранителей, и лицедеев с танцорками.

— И печенегам платить, — сказала Ольга, — чтобы чаще нас тревожили...

Тем не менее она приняла христианское крещение. Патриарх Полиевкт наставил ее в правилах веры и он же крестил, а император, как обещал, был крестным отцом. Она приказала купить самое дорогое блюдо, какое найдут, и подарила патриарху. Блюдо тяжелое было, литого золота, по краю усажено жемчугом, посредине на самоцветном камне написан лик Христа. Его выставили в Софии на видном месте.

Перед отъездом Ольга еще раз побывала во дворце и теперь уже обедала на возвышении с императрицей и ее бархатнобровой юной невесткой. А знатные гречанки сидели за другим столом, гораздо ниже.

Император на прощанье еще беседовал с нею. Он сказал:

— Ты видела от нас добро и гостеприимство и через нас сподобилась вечного спасения. Было бы справедливо, если бы за наш прием ты нам прислала достойные дары.

Ласково говорил и твердо, и у нее язык сам ответил:

— Пришлю.

— Мы рады были бы получить доброго воску для свеч. И работников для строительства, нами предпринятого. И непревзойденных ваших мехов.

— Пришлю, — сказала Ольга.

— Самое же для нас дорогое — военный союз с тобой. Твои воины славятся силой и храбростью. Пришли нам войско в помощь от врагов наших. А мы будем молить за тебя господу.

— А какое будет твое слово, — спросила, — насчет моего купца и твоего товара?

— Об этом надо думать, — ответил он. — Мы подумаем.

Перед отъездом прислала спросить — подумал ли. Ей сказали:

— Император подумает во благовремени.

Близилась осень. Во второй половине листопада русские поплыли домой.

Было о чем порассказать, вернувшись.

— Принимали нас, — рассказывала, — как великую владычицу. С императором и императрицей мы обедали запросто. Дарили нас богаче всех других царей, лангобардских и прочих. И мы такими же царскими подарками отдаривали.

— Все хитрости царьградские от бога, — рассказывала. — Чему он их только не вразумил. Вода из глубин идет по трубам. Часы не солнечные, не водяные, а с колесами и стрелкой, стрелка как живая ходит и будто пальцем время указывает... В храме поют далеко, а ты слышишь — рядом, такое в стенах устройство...

Мы крестились в крестильнице святой Софии. Ковров в тот день по улицам повешали, цветных платов, в Софии паникадила позажигали, так что слепли глаза от света, и благовониями курили. Сколько ни есть жителей, все потекли во храм, император Константин впереди: у каждого зажженная свеча в руке, каждая свеча имеет внизу чашку с ручкой, чтоб удобно нести и не капало, а поделаны свечи из нашего воска...

В крестильнице кругом купели висели завесы — как белый снег, диакониссы стояли в белом облачении. Погрузились мы в купель — сам патриарх произнес молитвы, а диакониссы пели, а народ молился коленопреклоненно, и мы своими вот этими глазами видели, как над нашей головой высоко белый голубь пролетел в луче солнца. А был ли то голубь, случайно под купол залетевший, или же то был дух святой, — того не знаем, брехать не будем. При крещении дано нам имя, которое носила мать великого Константина равноапостольного, строителя Царьграда: Елена.

Потом, одевшись, вышли мы к народу. Пока шли, нам под ноги ковры стелили. А патриарх взошел на амвон и сказал нам похвальное слово. Благословенна ты, сказал, в женах русских! Новую влагою смыла еси черные пятна былых своих деяний. Поклонись же тому, что ты сжигала, и сожги то, чему поклонялась! И посу-

лил, что теперь господь нас всему умудрит, как греков умудрил.

После из своих рук причастил нас тела и крови Христовой и дал нам освященную просфору, а император, наш восприемник, дал нам целование любви.

С того дня ношу вот этот крест.

Он ко смирению призывает. На нем спаситель наш муки принял.

А патриарху сам император до земли кланяется.

Патриарх в Софии живет, в патриарших палатах — не хуже императора. На конюшне две тысячи лошадей держит, кормит их шафраном и миндалем.

Вот только царевны ихние нам не приглянулись. Те малы, те стары, та хромая, та косая. Уж нам их показывали-показывали — ни одной мы не облюбовали для нашего сына.

Святославу же она сказала:

— Вот так-то, сынок, обозвались греки на наше сватовство.

— Да ладно, — сказал Святослав и обругал греков.

— Оно верно, такие они и есть, — согласилась Ольга, — но все же пора нам в люди выходить, чтоб обращались с нами хотя бы как с саракинами. Ругай не ругай, а приходится признать — обиход не в пример царственной нашего, на престолах восседают, подобных божьему, и тебе гораздо бы приличней молиться, как ихние государи молятся, при свечах и лампадах в том же храме Илии, чем резать баранов на Перуновом холме. Я себя, по правде скажу, куда выше ставлю с тех пор, как в купель окунулась и голубь надо мной пролетел.

— Э, невидаль! — отвечал Святослав и обругал голубя.

— Божественный закон, как ни кинь, нужен, — сказала Ольга.

— Дед Рюрик оставил нам закон, — сказал Святослав. — Один на один — нападай. Против двоих — защищайся. Троиц — не уступай. Только от четверых можешь бежать. Славный был закон у деда Рюрика.

И не смогла уговорить. Потому что за ним, юным дубком, стояли мощные дубы — Свенельд и другие, помнившие громкую удачу Олега, а древний Гуда твердил им закон Рюрика, и они держались старых богов, ожидая от них и впредь, с новым удалым князем, побед и добыч.

А тут в скором времени — по пятам плыли, что ли, — греческие послы.

— Император, — говорят, — повелел сказать тебе, княгиня: за прием мой ты обещала, воротившись в Русь, прислать рабов, и мехов, и воску, и воинов мне в помощь.

Она все вспомнила — затряслась от гнева.

— Скажите вашему императору, — отвечала, — когда ты у меня на Почайне столько простоишь, сколько я у тебя простояла в гавани, — тогда получишь, что я обещала!

И прогнала послов, и женила Святослава на киевской боярышне. А Малушу сделала своей ключницей.

СВЯТОСЛАВ

Едет Святослав перед дружиной, поет песню. Песня проносится над степью и уходит за ее край, как зыбь на ковыле.

— А-а-а-а-а... — поет Святослав.

Едет печенежский князь Куря перед своими всадниками и поет песню, и уплывает его песня, как зыбь на ковыле.

— А-а-а-а-а... — поет князь Куря.

У князя Кури лицо скуластое, с расплюснутым носом, темно-коричнево от степного солнца, глаза — две косые щели, где мысли прячутся, усы свисают смоляными жгутами. На привале разобьют ему шатер, расстелют ковер, сядет князь, поджав ноги, барашка жареного с кинжала зубами рвать будет, кумысом запивать.

У Святослава широкое лицо с плосковатым носом от загара красно, как кирпич, и на нем голубые глаза смотрят неистово светло и бесстрашно, а усы свисают соломенными жгутами. Волосы острижены, один оставлен длинный чуб в знак высокого рождения. Полотняная рубаха распахнута на груди: презирает Святослав и солнечные ожоги, и печенежские стрелы. На привале разведет с дружинниками костер, нарежут тонкими ломтями конины или зверины, испекут в угольях. Поев, спать завалятся на конских потниках, седло под голову. Не водят за собой стад, не таскают котлов для варки, возы с оружием и бронью не громяют им вслед: чего нельзя увезти в седле, то им без надобности. Любишь негу — к Святославу не просись, не возьмет.

Зато передвигается легко, как гром с ясного неба ударяя там, где его и не ждали. Легок и на коне, и в лодке с веслом. И на ходу: как рысья лапа, бесшумно и цепко ступает небольшая нога в мягком сапоге.

Как гром он грянул на Белую Вежу. Хазары благодумствовали, не чая беды. Противились недолго, каган побежал. Хазары брали дань с вятичей. Святослав напал на вятичей, побил их, велел впредь ничего хазарам не давать, ему давать, Святославу.

Потом доброе сделали дело в Итиле. Что было на итильских складах товаров, все досталось Святославовым молодцам. Потом спустились по Волге к Семендеру. Этот был не бедней Итиля, весь в плодовых садах, город сытый, деятельный и незоинственный, где племена, даже враждующие между собой, сходились для торговли. Там мирно уживались всякие веры, много ценностей было припрятано в мечетях, синагогах и христианских церквях.

Ходил Святослав на ясов.

Ходил на касогов.

На древнее Тмутороканское княжество.

Всех, сердечный, бил подряд.

Хвалили его за нестяжательность в дележе: ему первой всего было — походы и сражения, добыча уж после.

Дружина умереть за него была готова.

Родила ему жена сына, Ярополком назвали.

Сама в родах умерла. Второй раз Ольга женила Святослава на девице из Новгорода.

И все равно. Как рассядутся по небу звезды и стихнет во дворце, — Святослав уже в Малушиной светелке.

Теперь не на рогоже спит Малуша: на пуху и беленом полотне.

Подарки ей из походов — самые лучшие.

Малушин брат Добрыня носит перстни на всех пальцах и с челядью держит себя господином. С Ольгой уклончив, Святославу смотрит в глаза — ждет чего-то.

А Святослав уж отдохнул и уходит снова, кинув на Ольгу семью и правление. Едет перед дружиной, поет:

— А-а-а-а-а...

Солнце жжет, коршун кружит, в зыбком мареве встают, в садах, неведомые города. Сладсть! А женок на свете всюду предовольно.

К Ольге пришла старость.

Стали руки узловатыми и жиловатыми.

Набрякли мешки под глазами. И как ни наводи брови багдадской краской, — не те уж брови: будто моль тронула.

Все равно, и старыми руками держи бразды, не отпущай: князь-сын — в нетях.

Теперь ждать, покамест подрастут князья-внуки.

Вот второй, слава богу, рожден благополучно. Послала Ольга к Святославу гонца с счастливым известием. Олегом назвали — славное имя, предвещает долгую жизнь и удачливое княжение.

Лет через несколько Малуша мальчонку принесла. Начались между бабами ревность и свары: мой-де лучше — брешешь, мой лучше. Твой — рабий сын. А вот он вырастет, он твоему сморчку покажет. Не стала Ольга терпеть такого неблагообразия нецарственного. Дала Малуше село Будутино поблизости от Киева — владей, кормись там с дитем, бог с вами. Добрыня, свистун, пусть защитой вам будет.

Святослав в избе сидел с товарищами и играл в кости. День был жаркий, они поскидали рубахи и сапоги и сидели в одном исподнем, и так нашел его греческий посол Калокир.

— Обожди, — сказал Святослав.

Калокир присел на лавку. Святослав доиграл и повернулся:

— Чего надо-то?

— Я тебя искал с опасностью для жизни, — сказал Калокир, — потому что посольство мое особой важности, я не мог ждать твоего возвращения в Киев. Император Никифор, да продлит бог его царство, тесним с двух сторон, арабами и болгарам, и ищет твоей помощи. Он будет друг твой до конца дней, если ударишь с Дуная на болгар.

— Сколько? — спросил Святослав.

— Десять кентинарий золота.

— Подумаю с дружиной, — сказал Святослав.

Они подумали, и он сказал Калокиру:

— Вот наше слово: пятнадцать кентинарий будет не то чтобы много, но, пожалуй, довольно. А остальное мы возьмем сами.

— Прекрасный и пресветлый великий князь! — воскликнул Калокир. — Моим глазам радость смотреть на тебя, моим ушам радость слышать твои мужественные речи! Лишь истинный герой так не шадит себя самого и других, как ты не щадишь! Ты подобен великому Александру! Киру! Цезарю! Что пятнадцать кентинарий? Будь я император, я бы всей казны для тебя не пожалел! О, если бы я был императором, я бы распахнул перед тобой дверь сокровищницы — черпай сколько душа хочет! О, помоги мне такая рука, как твоя, занять престол — на что имею прав не менее всех других по благородству крови и по способностям, — чего бы я пожалел в награду? Ничего! В том числе — я бы оставил этой достойной руке Болгарию во владение. Болгарию, э?

На это ничего не сказал Святослав, только пронзительно светло смотрел на Калокира голубыми глазами. Уговорились о пятнадцати кентинариях.

Святослав пошел с дружиной и легко вошел в Болгарию, изнуренную войной. Огляделся и полюбил эту страну. Горы в ней были — крепости, воздвигнутые без человеческих стараний. Долины преисполнены плодородия. Люди доблестны, красивы и трудолюбивы.

Он облюбовал себе на Дунае город: Предслав, и стал его устраивать: укрепил стены, расширил и углубил крепостной ров. Император прислал сказать ему:

— Что же ты? Кончил дело, получай плату за труды рук своих и уходи.

Святослав ответил:

— Русь не поденщики, чтоб питаться трудами рук своих. Вы, греки, прочь идите из Болгарии и думать о ней забудьте.

И горными дорогами двинулся на греков.

Дорогами, где в пропасть скользит нога и водопады ниспадают по скалам прядями белой пряжи.

Где сосны растут без земли, уцепясь корнями за голый камень.

С Русью шли болгары и венгры.

И женщины были с ними, вооруженные как мужчины, умевшие биться копьем и ножом.

В тесных ущельях греки выскакивали вдруг, скатывали сверху каменные глыбы. Где местность позволяла, Святослав вызывал их на открытый бой. Какой-то грек в рукопашной схватке ударил его мечом по голове, сшиб

с коня. На Святославе шлем был крепкий, — обошлось. А грека тут же изрубили в куски.

После боя местность покрыта бывала телами и щитами. Святослав и его воины рубили деревья и складывали костры. Они отыскивали своих среди убитых и сжигали, и над пылающими кострами закалывали пленных, творя отмщение.

В горах стояли монастыри.

В один монастырь пришли ночью. С факелами шли по темному переходу, факелы озаряли каменные шершавые стены и балки над головой. Святослав рванул низкую дверцу — из мрака проступил девичий узкий лик под монашеским покровом, черные очи с крыльями ресниц, распахнутые ужасом, губы — два бледных резных лепестка. Уж каких не видал, но на эту красоту взглянул с изумлением. Велел вести за собой. Девственницей была гречанка эта, постриглась недавно. Он ее не тронул, послал старшему своему сыну Ярополку.

Отдыхать от походов Святослав возвращался теперь не в Киев — в Предслав на Дунае.

Сначала киевляне ничего не заметили: спали после обеда и не видали, как на той стороне, за Днепром, поднялись столбы дыма. Проснувшись, занялись кто чем и опять-таки не сразу обратили взор куда следовало, а обратив, не сразу уразумели, что эти бледные, как бы из тонкой редины, дымы, тающие в знойной дали, — знаки опасности, весть, что показался враг. Ну, конечно, побежали на княжий двор, объявляя по дороге встречным:

— Печенеги!

Когда Ольга, постукивая клюкой, поднялась на башню, крепостной вал кипел и гудел народом, глядевшим туда, откуда грозила напасть. И Ольга разглядела дальнорезкими старыми глазами, как ползут в траве печенежские кибитки.

Кибитки ползли медленно, вразвалку, как ползают в травах большие жуки. И как жуки, то разбредались, то собирались в кучки.

В кибитках ехали их жены и дети.

Кибитки остановились. Было видно — там тоже жгут костры: пищу готовили.

Выпрягли лошадей: не спешили.

— Вишь дерзкие! — сказал Гуда. — Как близко подойти осмелились!

— Раскаются, — сказала Ольга. — Ужо задаст им Претич.

Воевода Претич стоял с войском на том берегу для защиты со стороны степи.

Вдруг с вала крик раздался:

— Печенеги!

За Лыбедью показались всадники.

Отряд за отрядом выезжал из леса — видимо-невидимо — степные мелкопородные лошади, барашковые шапки.

Как они сюда пробрались, кто знает. Верно, ночью переплыли Днепр. Их лошади плавали в самых глубоких реках.

Что сделалось! Горохом посыпался народ по домам, за семьями и имуществом.

Дом не унесешь. Но можно одежду взять. Топор. Кувшин с зерном. Пряжу. Полотна, которые сама ткала, и мочила, и на солнце белила.

Ребятишки на плечах, корова на поводу, пес сзади сам бежит, — спешили киевляне укрыться в городе, за валом. Скрипя, закрылись городские ворота. Расселись люди по улицам со своими пожитками. В Киеве войска не было, печенегов не ждали с этой стороны, Свенельд был в Болгарии со Святославом, — оставалось надеяться лишь на Претича, что узнает о беде и придет выручать.

А в покинутых, неукрепленных концах Киева рассыпались печенеги на маленьких лошаденках. А на том берегу их жены кормили грудью детей и готовили пищу, ожидая своей части добычи, а Претич где-то ходил с войском и ничего не знал. В последний час перед тем, как сомкнуться колыцу осады, отъехал от Ольги гонец в Болгарию.

Сидели осажденные на земле под небом.

Сперва ели свои запасы. Потом Ольга стала кормить.

Она их оделяла, в справедливом равенстве, хлебом и мясом, и квашеной капустой, пока еще оставалась с зимы. Но, не видя исхода своему сидению, они день ото дня становились злей и ругали ее корма на чем свет стоит — и скряга она, и кормит не вовремя, и капуста у нее тухлая. Почти так же ее поносили, как Претича.

Съели зерно. Съели коров и свиней.

Выпили воду в колодцах.

Душными ночами кричали на зловонных улицах бездомные младенцы на руках у бездомных матерей.

Младенцы умирали от живота.

Стали и взрослые умирать. Закапывали где придется.

Воевода Претич вышел к Днепру против Киева и увидел на правом берегу несметную силу печенегов. Войско сказало:

— С такой силой разве мы можем биться. Они нас перебьют, едва мы из лодок наземь ступим.

И, видя, что Претич стоит там бездельно и надежды больше нет, киевляне заговорили:

— Коли так, сдаваться надо. Один конец. Все равно пропадем от голода и жажды.

Один юноша умел говорить по-печенежски. Он взял уздечку и тихонько вышел из города. С уздечкой ходил среди печенегов и спрашивал на печенежском языке:

— Моего коня никто не видел?

Так, будто бы разыскивая коня, дошел до Днепра. А там скинул одежду и поплыл на ту сторону. Стрелы полетели ему вдогонку, но он уже был далеко, и воины Претича плыли в лодках ему навстречу. Он им сказал:

— Если не сделаете приступ, киевляне откроют печенегам ворота.

— А что пользы, — они спросили, — если и сделаем приступ?

Но другие стали говорить:

— Хоть княгиню с княжатами выхватить из города. Если убьют их или угонят в плен, — Святослав, как придет, нас всех погубит.

И самые осторожные тут задумались.

Они совещались всю ночь и придумали хитрость. Чуть свет сели в лодки и затрубили изо всех сил. Из Киева откликнулись ликующие трубы.

— Святослав! — заорали печенеги, вскочив спросонок. Разбежались по лесам и попрятались. А Претич, не зевая, погнал лодки к Киеву. Ольгу на руках снесли на берег с двумя внуками и невесткой и посадили в лодку.

Но что там за туча над дорогой? Пыльная туча до небес, в ней мелькают конские бешеные ноги, конские груди, шишаки.

— Святослав! — вскричали Претичевы воины.

— Святослав! — стоном пронеслось со стен осажденного города.

— Свя-то-сла-а-ав! — аукнулось в лесах.

Он мимо в туче промчался и погнал печенегов. Многие из них были порубаны под Киевом. Другие потонули, второпях переплывая на левый берег. А которые бежали, те так неслись степью, что конские копыта вырывали траву с корнями.

— Сынок, — сказала Ольга, — видишь, ты чужой земли ищешь, чужую блюдешь, а нас тут чуть-чуть печенег не взяли.

Он сидел, после бани чистый и еще более красный лицом, на нем была полотняная белая одежда и в ухе серьга с жемчугом и рубином.

— Они опять придут, если ты уйдешь, — сказала Ольга. — Останься с нами!

— Мати моя! — отвечал он. — Завязаны у меня в Предславе великие дела. Что ж — бросить, не развязав?

— Хватает великих дел и у нас в Киеве.

— Мати, на месте сидя не много сделаешь.

— Те, кто тебе оставил Киев, тоже на месте не сидели. Однако свое княжество им было как зеница ока.

— Кто мне оставил Киев, — сказал Святослав, — дошли до предела своего. Мне — раздвигать пределы. Много ли они достигли, ударяя на греков с моря? Болгарские горы — подступ к Константинополю.

— Разве нельзя поближе где раздвигать пределы?

— Нет, — отвечал он. — Не ты ли меня учила — время нам в люди выходить?

— Будь у меня те прежние силы, — сказала Ольга, — я б сама тебя послала на то, что ты, мой отважный, затеял. Но погляди, я уж дышу едва. Что здесь будет без нас с тобой? Неужели тебе не жалко ни отчины, ни деток?

Тогда, чтоб ее утешить, он стал ласково ее уговаривать, рассказывая, как прекрасно он живет в Предславе.

— Ты бы посмотрела, — говорил он, — на тамошний торг: со всех сторон везут всё доброе. Посмотрела бы, в каком дворце мы живем с дружиной. Даже палата, где мой конь стоит, резным мрамором украшена.

— Сыночек, — она сказала, — ты меня за дитя считаешь, что ли? Будто я не знаю, что тебе резной мрамор

нужен столько же, сколько коню твоему? А вот ты знаешь ли, что в порогах стоит печенежский князь Куря, по-ихнему означает Черный, и этот Черный князь поклялся из твоего черепа сделать себе чашу для питья? Останься, родной!

— Я вятичей покорил, — отвечал Святослав, — я Тмуторокань покорил, что мне князь Куря! Не проси, пусть Русской землей сыновья управляют, им отдаю.

И стоят перед ним два мальчика в шелковых красных рубашечках, бойкие мальчики, от рождения привыкшие быть господами. И он говорит старшенькому, женатому на гречанке-монахине:

— Тебе, Ярополк, отдаю Киев.

И младшенькому:

— А тебе, Олег, Древлянскую землю. А прочие волости вы сами между собой поделите.

Но есть в селе Будутине еще сын, меньше Олега, совсем несмышлениш — Владимир, сын Малуши. И ходит кругом Святослава Малушин брат Добрыня, дядя Владимира, заглядывает Святославу в глаза, шушукается с послами. Говорят новгородские послы:

— Вот, древляне своего князя получили. Дай и нам князя из твоего рода.

— Кого ж я вам дам? — сказал Святослав.

— Не то мы сами найдем, — сказали новгородцы.

— Хочешь к ним? — спросил Святослав Ярополка.

— Нет, — ответил тот, — не хочу.

— А ты? — спросил Святослав у Олега.

— Не хочу, — сказал и Олег.

— Владимира дай, — сказали новгородцы.

— Он же младенец еще.

— И хорошо: вырастет с нами и будет чтить наш обычай.

— Ну берите, — сказал Святослав.

Новгородцы взяли маленького Владимира и его дядю Добрыню и повезли к себе на север. А Святослав стал собираться обратно в Болгарию.

Настал день его отъезда. Он поцеловался с Ольгой и поклонился ей в ноги, и она его перекрестила.

Дружина с наточенными мечами, на начищенных конях поджидала его. Он сел на своего коня, и тронулись.

Постукивая клюкой, взошла Ольга на башню-смотрильню — поглядеть ему вслед.

Очень высокая стала эта башня.

Без числа ступенек у лестницы.

Еще ступенька.

Еще.

Идешь-идешь — всё перед тобой ступени. И на каждую ведь подняться надо.

После его отъезда она прожила недолго. Ее похоронили по христианскому обряду. Через много лет ее внук Владимир перенес ее прах в Десятинную церковь.

1966

ФЕОДОРЕЦ БЕЛЫЙ КЛОБУЧОК

Князь Андрей Юрьевич был храбр, решителен, по первому зову своего тятеньки спешил к нему на помощь, как бы худо у того дела ни складывались. Врезывался в гущу боя, разя неприятеля мечом, некогда меч этот принадлежал святому Борису.

И разумом силен был. То, что он задумал, было задумано им самим, без подсказки, в тайниках души полюблено, решено. Но когда пришло время свершиться задуманному, его твердое сердце дрогнуло. Безумным вдруг предстал ему собственный замысел. Невозможно показалось открыть его людям.

Вот сейчас они чтут Андрея Юрьевича, а в следующий миг возмутятся и объявят богохульником.

Без людей же исполнить задуманное было нельзя.

Одними своими руками тут ничего не сделаешь.

Кого позвать в помощники? К кому толкнуться?

Лишь один имелся человек, которому он не то что мог, но должен был непременно открывать любое свое помышление: его духовник поп Феодор. Был он из Владимира, где Андрей Юрьевич княжил тятенькиной волей. Когда тятенька, сев наконец-то на киевский великокняжеский престол, велел Андрею сидеть в Вышгороде, чтоб у него, у тятеньки, под рукой быть на всякий случай, — Андрей привез в Вышгород и этого попа.

С Феодором жилось веселей. Он даже грехи отпускал весело: легко, небрежно. ничего мол страшного в твоих грехах нет, подумаешь — делов. Осенил крестом — свеял с твоей совести всякое беспокойство: иди, князь, живи себе не тужи, чего там, мы умные люди.

Он книги читал. Другой читает и на память затверждает, а радости никому никакой. У Феодора же игривая мысль порхала вокруг прочитанного. Как-то он всё на свой лад передумывал и что-то свое выводил. Иной раз такое скажет — Андрей Юрьевич так и грохнет одобрительным смехом. Опять же приятно, когда твой поп статен, пригож, в цвете сил. Не семенит старческими немощными шажками, а пролетает по палатам орлом. На исповеди дышит на тебя свежим дыханьем здорового мужчины, у которого ни единой хворобы ни внутри, ни снаружи и во рту — тридцать два белоснежных целехоньких зуба...

На исповеди, с накрытой епитрахилью головой, Андрей Юрьевич и поведал этому человеку замышленное — без упора, между прочим — смотри, какая соблазнительная, ни на что не похожая пришла мне мысль, сам удивляюсь! И, сопя под епитрахилью, ждал: отзовется ли Феодор? ухватится ли за брошенное? или просто даст отпущение, что будет означать: а ну тебя с твоими мыслями, в эдакое ввязываться... Феодор на сей раз не спешил с отпущением, молчал. Потом сказал раздумчиво:

— Конечно, по доброй воле вышгородцы не согласятся.

— Какое согласятся, — сказал из-под епитрахили Андрей Юрьевич. — Встань будет великая.

Опять заговорил Феодор:

— Там в монастыре старичок есть. Микулич.

— Знаю его. Дряхлый и восторженный.

— Восторженный — это хорошо. Его монашки уважают.

— При чем это, что уважают монашки?

— При том, князь, — вдохновенным голосом ответил Феодор, — что он свидетелем будет, а монашки за ним свидетельницами.

— А что они будут свидетельствовать?

— Ну, мало ли... — сказал Феодор.

После исповеди Андрей Юрьевич пошел к своей княгине.

— Что, Кучковна, — спросил ее, — надоело в Вышгороде?

— Ох, Юрьич, таково надоело! — отвечала княгиня. — Как в походе живешь, не знаешь — развязывать узлы или погодить.

— Ну, потерпи еще. Теперь, если бог даст, недолго.

— Неужели домой вертаемся? Когда же, Юрьич?

— Того я не знаю, — сказал Андрей Юрьевич, — и ты об этом ни с кем не говори, а узлов лишних не развязывай, чтоб при надобности быстро подняться и ехать.

А поп Феодор пришел к своей попадье, такой же цветущей, как он, с глазами голубыми, выпуклыми и круглыми, как пуговицы на ее сарафане. Они сели пить сбитень. Разгорячась от сбитня, принялись целовать друг друга в пунцовые уста, и Феодор жарко шептал попадье на ухо, и попадьа смеялась звонко и зазывно:

— Ах-ха-ха-ха!

Чудо, чудо!

Стала плакать в вышгородском женском монастыре божья мать.

Тихо и невидимо плакала, и следы слез не сходили с ее ланит, начинаясь в уголках глазочек. Слезы переходили на поднятый лик младенца, к которому она льнула правой ланитой.

Первым дьякон Аполлинарий сподобился это увидеть и кинулся за священником Микуличем. Тот, конечно, затрепетал весь, и набежавшие монашки затрепетали, и народ потек прикладываться и ахать. То была икона древняя, много лет назад привезенная из Константинополя. Сказывали — ее писал евангелист Лука.

Не только вышгородцы: со всей округи толпы потекли. Такие вести вмиг разносятся.

Князь с княгиней тоже приходили приложиться, клали земные поклоны и большую раздали милостыню.

В церкви не прекращались акафисты и давка.

Слезы ее пахли елеем. Это особенно умиляло.

Дальше вот что произошло.

Утром Микулич открыл церковь, смотрит — не так что-то. Зажег свечи, огляделся — а мать-то божья от стены отошла и посередке стоит!

Микулич пал ниц и долго не смел поднять лицо от пола. Когда же монашки поставили его на ноги, они сообща, с благоговейной молитвой взяли пречистую и на место водворили. Тревога тяжкая и скорбь легла им на душу, потому что темно было: к чему бы чудо это; какое и кому в нем указание. До сих пор владычица творила понятные чудеса: поднимала расслабленных; изгоняла бесов из кликуш; вернула зрение некоему слепому. Что

она плакала — так как же ей, многомилосердной, не заплакать, когда кругом в Земле стенание и плач, половцы поганые покою не дают, и свои князья секутся без передыху, сплошь кровь, разорение... Здесь же была тайна. У иных маловерных даже явилась мысль, что разбойники хотели унести икону, да не успели и среди церкви кинули.

Но они эту мысль не разглашали, сами пугаясь своего маловерия.

На другое утро опять пречистую не на месте нашли, теперь еще дальше: почти у выхода в притвор стояла, и заплаканный взор, полный уныния, был обращен в синеву и зелень, видимые за порогом. Догадался Микулич и сказал, зарыдав:

— Заскучала у нас матушка, в другое место вознамерилась!

При этих словах у всех будто пелена с глаз долой. И запричитали, прося, чтоб смилостивилась, отменила свое намерение.

Но не вняла: на третье утро не стало ее.

По монастырю искали, по всему Вышгороду, в окрестностях. Не нашли нигде. Кто продолжал сбегаться и съезжаться на чудеса — приходилось поворачивать оглобли.

Когда шум приутих, уехал Андрей Юрьевич. Не известив тятеньку, не испросив его благословения, снялся со своей княгиней, с дружиной и обозом.

Лишь после стало известно, что владычица изволила отправиться с ним. Во главе ехала, в возке, запряженном четверкой лошадей. С нею в возке — поп Феодор и дьякон Аполлинарий. Вкруг возка — крепкая стража. Следом — верхом — Андрей Юрьевич, Феодоровым отпущением облегченный от грехов, державный, величавый. За ним княгиня и прочие. В конце поезда выглядывала из возка голубыми своими пуговицами смешливая попадья.

Почему Андрей Юрьевич, почтительный сын, самовольно оставил Вышгород?

Так близко был Киев и близки тятенькины сроки, и тятенька обещал ему, Андрею, оставить престол киевский.

Всю жизнь стремился тятенька к этому престолу. Недоедал, недосыпал — всё мерял да резал, соображал, лу-

кавил, заключал союзы, изменял, великодушничал, заваливал смуты. Со своими суздальцами врывался в Киев, киевляне подымались и прогоняли суздальцев вместе с тятенькой...

Ныне подходила пора Андреевой жатвы. Справедливой награды за верность. Лучшие годы были отданы тятеньке, его мечте. Как Андрей ему служил — ни один воин так служить не будет.

Как его тогда при осаде Луцка окружили немецкие наемники, и немец уж целил в него рогатиной, а с городской стены градом летели камни. Конь его вынес из вражьей тесноты, три копыта торчали в конских боках, он домчал Андрея Юрьевича до своих и пал, добрый конь — и все тогда обнимали Андрея Юрьевича и говорили, что он самый мужественный, а коня он похоронил с честью...

Другой раз, возле Перепетова, еще жесточе было сражение, и коня его ранили в ноздри, и тот храпел, взвизгивая на дыбы, и Андрея крючьями тащили с седла, а он держался, с него сбили шлем, вышибли щит...

Так-то мы сеяли.

И вот, пора жатвы подходила, а жнец, вместо того чтоб точить серп, погрузил княгинины узлы на телеги и покинул поле урожая.

Враги-сородичи, иступившие мечи и изломавшие копыта в многолетней свалке вокруг Киева, увидели широкую спину самого страшного соперника, удаляющуюся прочь от зланных мест на скудный север.

Удивились враги-сородичи и задумались: какая здесь хитрость?

Или не хитрость?

Не ушиб ли бог Андрея Юрьевича?

Не может в здравом уме человек бросить поле перед урожаем.

Гадали родичи — не разгадали.

А оно и разгадывать было нечего.

Просто понял Андрей Юрьевич: предстоящий урожай — видимость. Призрак обманной.

Что будет с тем, кто после тятеньки сядет на великое княжение в Киеве?

Так сейчас все на него и навалится.

Ни власти, ни устройства. Драка до конца дней.

Андрей Юрьевич и покойный Ольгович Игорь пробовали их мирить: никто и не слушал.

Игорь в монахи от них убежал: не помогло. Из церкви от обедни вытащили и кончили. Потом-то вопили, что он святой, платки мочили в его крови — на счастье. Закружили народ, раздергали в разные стороны, он уж сам не знает, кого ему надо.

И половцы под бок, как вечно взбаламученное море, им эга каша кровавая на пользу.

Пусть кто хочет снимает такой урожай. Небось не забогатеет. Андрей Юрьевич — домой. В Суздальскую Землю. Там Владимир на Клязьме, его удел. Суздаль милый, где родился и вырос. Именитый Ростов Великий. Ростов и Суздаль младшим братьям назначены... Ну, с братишками он поладит как-либо.

Четыре лошади играючи везли по летней сухой дороге возок, в котором ехала пречистая.

Подъехали к Владимиру. Владимирцев заранее известил посланный гонец. Город выступил навстречу с хлебом-солью, хоругвями и пением тропарей. Попы понадевали пасхальное облачение. Пречистую вынесли из возка. Слез на ее лике не было, она утешилась. Не замедлила исцелить одну из кликуш. Андрей Юрьевич сказал, поклонясь на все стороны:

— Православные, великая грядет к нам святыня, владычица чудотворная, апостолом написанная, возжелала в наши места, умолим же ее — да будет заступницей перед всевышним за нас, владимирцев, и всю Землю Суздальскую.

— Аминь! — отвечали православные, вслед за князем и попами бухаясь на колени.

Поехали в Суздаль.

Вдруг, верст через десять, стали лошади, везшие икону, — ни с места. Запрягли других: и те не идут. Истязать их кнутом перед очами заступницы отец Феодор воспретил — сказано: блажен, иже скоты милует. А словесные понукания не помогали нисколько. Пока возились, стало смеркаться. Разбили князю шатер и спать полегли — утро вечера мудреней.

Андрей Юрьевич заснул и увидел сон. Приснилась ему пречистая. Будто вошла она в шатер, держа в руке хартию. Под стопами у нее были облака. Она раскрыла уста и заговорила, и повелела не везти ее икону дальше, а оставить во Владимире, у добрых владимир-

цев, угодивших ей приемом. Там же, где стоит сей походный шатер, воздвигнуть каменную церковь во имя Рождества Богородицы и при ней учредить монастырь.

Так распорядилась она, о чем Андрей Юрьевич всех известил, выйдя из шатра утром. А из ее распоряжений, в своей благочестивой ретивости, домыслил дальнейшие свои поступки. Кроме того, что была воздвигнута требуемая церковь и основан монастырь, он на месте своего ночного видения построил село и в нем дворец для себя. Церковь украсил очень богато, позолотой и финифтью. Живописцы цветной росписью расписали стены внутри. Там временно, до построения подобающего храма во Владимире, поместили пречистую. Андрей Юрьевич учинил ей новый великолепный оклад: одного золота пошло пятнадцать фунтов, да жемчугу сколько, да драгоценных камней.

В память видения он приказал написать образ божьей матери с хартией в руке. Село, построенное на месте видения, в десяти верстах от Владимира, было названо — Боголюбово.

— Попадья, а попадья, — сказал отец Феодор, — почему у меня шелковых рубах нету? Ни разу ты мне не сшила шелковую рубашку.

— Федюшка, свет, — отвечала попадья, — так ведь я почему не шила? Потому что ты не приказывал.

— Вот я приказываю, — возразил Феодор, — сшила бы неотлагательно, и не одну, а полдюжины. Также пристало мне иметь платки шелковые для утиранья бороды и носа. Один платок, к примеру, синий, а другой коричневый, а для Великого дня — чисто белый.

Попадья заморгала круглыми глазами.

— А в доме, — продолжал вдохновенно Феодор, — завести свистелки, как у бояр, чтоб когда понадобится слуг позвать, то благопристойно посвистеть в свистелку, а не кричать на весь дом. Для Любима, к примеру, будет один свист, для Анки двойной, для Овдотьи тройной. И ты оденься понарядней, моя горлинка, ты у меня краше княгинь и царик; пусть же перед всеми твоя красота просияет!

И дал ей мешочек, такой увесистый, что попадья спросила шепотом, взвесив на ладони:

- Ой, Федюшка, откуда столько?
— Князь пожаловал.
— Ой, Федюшка, хорошо-то как!
— Погоди, — сказал Феодор, — это начало, будет еще лучше.

Что может быть прекрасней голубых очей!

Серые — невзрачно.

Зеленые на кошачьи смахивают.

Про другие сказано: черный глаз, карий глаз — милуй нас! Добра от них не жди.

В глаза попадьи Феодор смотрится, как в два веселых неба. В каждом отражается его благообразное лицо и красивая борода.

Нехорошо, что нет у них детей. Так пылко любятся, а деточек не дает бог.

А может, и это к лучшему?

Зато не вянет, юной и свежей пребывает попадья. Не иссякает пылкость Феодора, обоим дорога.

Бог, он знает, что делает.

Стал Андрей Юрьевич устраиваться прочно на княжение во Владимире.

Город был молодой, небольшой. Многие жители — пришельцы из южных земель: люди, бежавшие от разорения, тяготевшие к мирным трудам.

На новом месте они работали усердно, с властью старались ладить, и не было во Владимире постоянного роптанья и маханья руками на вече, несносных Андрею Юрьевичу.

Желая увеличить число жителей, он разослал своих посланцев в Киев и другие южные города. Посланцы хвалили трудолюбивый город Владимир и его князя. Вот на кого уповать можно, они говорили; уж его-то рука вас защитит! Здесь вам — ни достатка, ни покоя; что ныне добыли себе в поте лица — завтра отнимут половцы либо свои же, у кого меч в руке; еще спасибо скажете, если голова на плечах уцелеет. Текут ли наши реки молоком и медом? Нет. И нигде не текут. Но какова б ни была наша жизнь, она устойчивей вашей, нет в ней безумия. А половцев у нас и не видать, они к нам не суются.

Послушав таких речей, уж целыми родами, а там поселениями стал являться народ во Владимир. Привозили имущество, пригоняли скот — если не ограбят в пути... Прежде всего, явившись, ставили себе дома для жития, и Владимир богат был искусными плотниками, и Андрей Юрьевич особенно их поощрял — он много строил, соби-рался строить еще больше.

А кроме того, они сеяли жито и лен, торговали, ре-месленничали. Муж дубил кожи, ковал железо, точил ковши и ложки, жена пряла, ткала, вышивала: в каждой семье умели разное, от этого умения была польза.

Соревнуя Киеву, Андрей Юрьевич называл новые владимирские урочища старыми, привычными народу именами: Золотые ворота, Печерный город, Десятинная церковь, и народ с радостью подхватывал эти имена, как память о незабвенном Киеве. Речку, впадающую в Клязьму, называли Лыбедью...

Более всего Андрей Юрьевич строил церковей и мо-настырей, теперь их созидали свои мастера. Русские жи-вописцы писали иконы, русские резчики вырезали на камне крылатых зверей и дев с тугими косами, и псалмо-певца Давида, играющего на гусях.

Молясь в церквах, Андрей Юрьевич вздыхал и пла-кал. Видя это, многие тоже плакали, умиляясь на князя.

Он старался угодить и Ростову, и Суздалию. Его лю-били тамошние сильные люди, он рос среди них, особен-но полюбили, когда он привез пречистую. Знаменитая святыня возвысила их землю, как бы указывала, что земля эта избранная, благословенная.

Силой своей пречистая вскоре проблистала. Был на Волге болгарский город Бряхимов. Оттуда жители набе-гали на русских, чинили беспокойства. Андрей Юрьевич уже ходил на них раньше; но безуспешно. Теперь пошли со своей чудотворной владимирской. На руках ее несли, осененную знаменами. В битве пал Изяслав, любимый сын Андрея Юрьевича. Но Бряхимов взяли.

Известие о победе над неверными мусульманами по-слали константинопольскому патриарху, прося в ознаме-нование ее утвердить празднество ежегодное с водосвя-тием, на первое августа. Патриарх утвердил и прислал Андрею Юрьевичу благосклонное письмо.

И другие выгоды увидели от Андрея Юрьевича ро-стовцы и суздальцы. Он радел, чтоб они торговали с та-ким же размахом и барышами, как новгородцы. Улуч-

шал городские укрепления. Обильные дары раздавал попам и монахам. Так он поступал, желая, чтобы его любили.

И по-прежнему при нем был бессменно поп Феодор, и по-прежнему князь благоволил к Феодору и охотно толковал с ним о разных предметах.

В самом деле, занятнейший был поп и дерзновеннейший.

Дело прошлое: дьякона Аполлинария, бывало, лихорадка била, когда по ночам, там, в Вышгороде, в женском монастыре, они с Феодором крались к пречистой.

Лунный свет наклонным столбом входил в оконце под куполом и преграждал путь, и дьякон, крестясь, холодными губами шептал молитву, прежде чем шагнуть в этот столб и коснуться иконы своими ручищами. Феодор же шагал как ни в чем не бывало и у иконы хлопотал, полный распорядительности.

С таким человеком, говорил дьякон, научаешься бесстрашию.

Столь благочестив наш князь Андрей Юрьевич, рассказывали во Владимире, а из Владимира дальше бежала молва, — столь благочестив, что часто среди ночи, встав с постели, идет в свою домовую церковь, зажигает свечи и молится в одиночестве, даже княгиня не смеет следовать за ним, чтоб не нарушить углубленность его молитвы. Только Феодор, духовник, иногда призывается в эти часы, и они с князем беседуют о спасении

— Что есть добро? — спрашивал Андрей Юрьевич.

Свечи озаряли образа, тесно обступавшие их в маленькой церкви, и мнилось — святые со вниманием прислушиваются, что ответит Феодор.

— Что есть добро, — он отвечал, — изложено в заповедях, кои ты знаешь с молодых ногтей.

— Все знают с молодых ногтей, — возражал Андрей Юрьевич, — и никто не исполняет. Ты мне скажи такое, чтоб я, человек из рода Адамова, мог исполнить.

— Добро, — отвечал Феодор, — есть то, что способствует славе божьей и твоей.

— А такое сопоставление не от дьявола?

— Кто есть дьявол? — спрашивал Феодор в свой черед. Трепет огней пробежал по святым ликам тревогой.

— Дьявол — зло, скверна...

— Да откуда он взялся — зло-то, скверна? Когда господь сотворил все видимое и невидимое...

— Он и его создал безгрешным, а тот возьми да взбунтуйся.

— Я полагаю, — отвечал Феодор, — господь сам этому бунту попустительствовал.

Святые негодовали.

— Ибо без зла, — он продолжал, — нет и добра. Без злого никто доброго и не заметит. Будет в мире ни жарко ни холодно. Ни восторга не будет, ни подвига. Ни Голгофы, ни чуда. Протухнет мир в единообразии и равнодушии.

— Ты думаешь?

— Думаю, что всевышний, озирая им сотворенное, сообразил сие и пустил в мир зло и скверну, как закваску, чтоб тесто подходило.

— Вон ты как мыслишь.

— Так мыслю, — легко подтверждал Феодор. Глаза его пылали в блеске свечей, и весь был могуч, широк и опасно красив, как тот, воплощающий зло.

— Стало быть...

— Стало быть, нечего дьявола бояться как чумы. Скверна он — однако действует с высшего дозволения — и, выходит, подобно добрым ангелам, является к нам как посланец божий.

— Позволь! — сказал Андрей Юрьевич. — Он являлся к Иисусу и искушал его отнюдь не как божий посланец, не так разве?

— Князь мой, — вздохнул Феодор, — откуда нам знать, как все это было...

— Иисус его искушения отверг, — так мы не должны ли...

— То Иисус был, — сказал Феодор, — а нам куда уж. Сам говоришь — человеки мы из рода Адамова. Адам на яблоко польстился, невинная душа. Простые, райские времена были. Тогда как мы кругом обсажены древами соблазнов вопиющих и манящих, и деревья разрастаются, образуя чашу непроходимую вокруг нас. И нет причин ожидать, что перестанут разрастаться, или кто-то их вырубит, или уйдет из наших душ тяготение к запретному. Куда ему уйти? И почему бы? Когда закваска поло-

жена, и тесто перебегают через край, и ангел-возмутитель приставлен блюсти, чтоб сие не кончалось во веки веков.

— Смотри, поп, ведь это ересь! — пострашал Андрей Юрьевич.

Феодор прижмурил глаз:

— Что есть ересь? Уговорились мы считать ересью то-то и то-то. А могли уговориться считать ересью что-либо вовсе иное. И считалось бы.

— Как иное? С какой стати? Растолкуй, — приказал Андрей Юрьевич, тешась греховной умственной забавой.

Феодор все держал глаз прижмуренным, другой глаз смотрел искристо и шало.

— Кто нас, князь, просветил в писании? Грамоту нам дал — кто?

— Ну, Кирилл с Мефодием.

— Так, Кирилл с Мефодием. А мы их звали? Не звали. Они сами пришли. А когда б они не первые зашли к нам? Когда б латины заскочили первой со своим писанием и проповедью? Что тогда, а? Крестились бы мы с тобой латинским крестом. Принимали бы сухое причастие. Священные наши книги римскими письменами были бы написаны. И на все православное плевались бы мы как на ересь...

— Ну-ну-ну, ты все-таки... — погрозил пальцем Андрей Юрьевич, но улыбки не сдержал. На какой хочешь вопрос у этого попа готов ответ. Вокруг божьих предначертаний дерзает мудрствовать. И как подумаешь — громко, конечно, не скажешь, нельзя, — об ереси остро сказал озорник...

Пока Андрей Юрьевич в Суздальской Земле старался о благоденствии жителей и укреплял свою добрую славу — в других областях князя Рюриковичи опять собрались изгонять тятеньку из Киева: сговаривались, списывались, снаряжали войска.

Эх, когда еще Андрей Юрьевич упрашивал тятеньку: бросим Киев, пусть они из-за него кровью истекут, а мы удалимся на север и оттуда, укрепясь, будем править и Киевом, и ими всеми.

Но тятеньке все затмил киевский престол. Разум затмил.

И вот сейчас, знает ведь — скоро опять на него грянут, а он все тешится непрочной победой, все пирует, как

молодой. Изменники вокруг него кишат. С непонятной ребяческой беззаботностью он дает им кишеть. Словно ему не предстоит новая жестокая война — скорей всего последняя, годы-то большие.

Он ее не дождался. Или враги не дождались. Возвратясь с какого-то пира, заболел тятенька Юрий Владимирович и в пять дней умер. Схоронили его в Берестове.

Андрей Юрьевич остался верен своему расчету, на кровавое наследство не посягнул.

Он другое наследство прибрал к рукам. Ростов и Суздаль Юрий Владимирович завещал, как сулил, младшим сыновьям. Но города отказались их принять, на вече избрали князем Андрея Юрьевича, а Мстислав Юрьевич, Василько Юрьевич и Всеволод Юрьевич, опасаясь, как бы хуже не было, уехали в Грецию.

Прогнал Андрей Юрьевич и племянников своих от покойного старшего брата, и тех старых бояр, что вздумали противиться его избранию. И сел единым князем Суздальской Земли.

Первым городом Земли был Ростов.

Столько в нем куполов вздымалось, увенчанных крестами, что сложилась поговорка: ехал черт в Ростов, да испугался крестов.

В Ростове сидел епископ, рукоположенный киевским митрополитом.

Своего епископа имели только самые важные города. А митрополит на Руси был один — глава всему русскому духовенству, черному и белому, как патриарх константинопольский — глава православной церкви вселенской.

Ни Ростов, ни Суздаль не сделал столицей Андрей Юрьевич: чересчур заносчивые и своенравные были те города, княжескую волю ставили ниже приговоров своего веча.

Сегодня вече пожелало призвать его на княжение, завтра так же пожелает скинуть.

В Ростове и Суздале много жило спесивой знати, привыкшей делить с князем государственную заботу и власть.

К неудовольствию этой знати, Андрей Юрьевич остался в своем Владимире, еще недавно считавшемся пригородом Ростова. Тятенькиных бояр от дел отстранил. Окружил себя людьми новыми, послушными. Среди них имел силу незнатный слуга Прокопий, преданный человек. Крещеный ясин Амбал, ключник. Некрещеный еврей Ефрем

Моизич, добывавший князю у евреев-ростовщиков деньги под заклад. Свойственники князя по жене бояре Кучковичи, владельцы берегов реки Москвы и прибрежных сёл, одно было названо по имени реки — Москва.

— Ведь вот! — сказал Феодор Андрею Юрьевичу. — Сколько в церкви нашей негодных, ветхих установлений! Найдись властитель, чтоб их отменил, — большая была бы польза православию, да и князьям...

— К примеру, — обронил Андрей Юрьевич.

— К примеру, — откликнулся Феодор, — к примеру хотя бы, что митрополит у нас грек, и в синклит свой норовит греков набрать, а наши русские попы в подчинении ходят, а через попов угнетены и миряне. и то для мирской власти ущерб. Это видел, к слову сказать, еще твой прапрадед великий князь Ярослав, он в первый же год своего единодержавия поставил в Новгороде русского епископа, а за три года до кончины собрал в Киеве епископов и велел им поставить митрополитом Илариона Россиянина, а у Константинополя даже не спросились.

— А Константинополь что?

— Константинополь далеко, — подмигнул Феодор, — не достанет. Подарки послали патриарху, тем и обошлось. Прапрадед твой почему этими делами занимался? Потому что видел их важность.

— А я не вижу?

— Ты видишь, но тут храбростью надо обладать.

— Храбростью, мне?

— Не той храбростью, — сказал Феодор, — с какой идут в битву. Но той, какая требуется, чтобы сломить ветхую привычку. Ты идешь рубиться — ты считаешь: против тебя сто копий, или двести, или тысяча. Когда же единовластной своей волей ломаешь людскую привычку, враг неисчислим, и невидим, и неуловим, копьем и мечом его не истребишь.

— Епископ наш Леон, — сказал Андрей Юрьевич, — нам не ко двору. Не за нас болеет, за злодеев наших. Епископа будем сажать нового.

— Посадить митрополита! — торжачо шепнул Феодор. — Не в Киеве — в Ростове...

— Тогда уж во Владимире, — сказал Андрей Юрьевич.

— Какое сразу умаление Киева, какое возвеличение твоего княжества! Не чужого посадить — своего, рев-

нующего о твоей славе... на великие дела способного...

— Храброго, — хохотнул Андрей Юрьевич.

— Так, князь! — подтвердил Феодор, грудь его под рясой раздувалась как мехи. — Способного и храброго! Примолкли. Было слышно дыхание Феодора.

— Митрополита киевского тронуть не дадут, — сказал князь.

— А заставить!

— Белены, отец, объелся? Смуты хочешь? Покамест великокняжеский престол в Киеве считается — кто даст порушить киевскую митрополию?.. Да она и не помеха. Один у них митрополит, другой у нас, — это попробовать возможно...

Феодор пришел к попадье и сказал:

— Попадья, а попадья! Слушай-ка. Я, может статься, митрополитом буду.

— Кем? — спросила попадья.

— Митрополитом, митрополитом.

— Ой, да что ты!

— А почему бы нет? — сказал Феодор.

— И мы в Киев поедем?

— Нет, тут буду, тут...

— Так у нас же митрополитов сроду не было.

— Сроду не было, а глядишь и будут.

Попадья поморгала.

— Федь, — спросила она, — а митрополиты бывают женатые? Чегой-то не слыхала я.

— Не слыхала — услышишь.

— Федюшка, а ведь тогда к нам дары так и потекут?

— Уж не без того.

— Со всех сторон!

— Надо полагать.

— Так ведь это хорошо, Федюшка!

— А то плохо, — радостно сказал Феодор, но тут же пожурил свою попадью, погладив ее по голове: — Дурочка, тебе богатство лишь бы. Есть кой-что получше богатства.

— А что?

— Тебе не понять, — сказал Феодор. — Вот князь, тот понимает.

Нахмурясь, прошелся по комнате с такой осанкой, будто уже обладал митрополичьей властью и все перед ним склонялись до земли.

— Он сказал: возможно. Слышь, попадья? Возможно! Мы с ним — одна душа: он за меня, я за него...
Ночью, засыпая, попадья позвала томным голосом:
— Федь, а Федь.
— Мм? — спросил Феодор.
— Федь, а я кто ж тогда буду?
— Как кто? Ты — ты и будешь.
— Нет, Федь. Вот ты поп — я попадья. У дьякона — дьяконица. А митрополитом станешь — я как буду зваться?

Феодор усмехнулся сонно:

— Ну... стало быть — митрополитицей.
— Митро...
— ...политицей.
— Ах-ха-ха-ха! — посмеялась, засыпая, попадья.

Окруженный плачущими приверженцами, торжественно-скорбно выступил из Ростова неугодный Андрею Юрьевичу епископ Леон.

Возок ехал за ним, а епископ шел по дороге с посохом, как простой странник. Он запретил нести за ним хоругви, несли только маленькую, ему принадлежащую икону Одигитрии божьей матери, путеводительницы.

Извещенный народ высыпал навстречу изгнанному пастырю. В селах выносили на улицу столы, покрытые скатертями, на них ставили иконы и чаши с водой, и епископ останавливался, чтобы отслужить молебен с водосвятием. Плач вокруг него множился, он сам плакал, моля господу защитить православных христиан от гонителей и мучителей.

Пока не прослышали об этом во Владимире. После чего пришлось епископу сесть не в возок — в седло и мчаться, останавливаясь лишь для того, чтобы сменить коня. И в Киеве, боясь, как бы и здесь его не достала рука Андрея Юрьевича, он не задержался — на греческом корабле отплыл в Константинополь.

Он туда добрался много раньше Феодора и успел оговорить его перед патриархом. Вслед за Леоном явилось посольство из Киева: князь киевский Ростислав, узнав о замыслах Андрея Юрьевича, спешил испросить себе из патриарших рук нового митрополита-грека на место недавно преставившегося.

Патриарх охотно исполнил эту просьбу, а когда приехал кругом очерненный Феодор с грамотой и подарками от Андрея Юрьевича — патриарх был гневен, на подарки даже не взглянул.

— Над святителями ругаетесь! — сказал, стуча посохом. — Гонительство насаждаете в век торжества Христова!.. Ты, иерей, как смел своею волей занять престол епископский?!

— Княжеской волей, владыка! — отвечал Феодор. — Княжеской, не своей...

И хотел привести разные убедительные и изощренные тексты, которые приготовил, собираясь в Константинополь. Но патриарх вскричал:

— Ты неправославного образа мыслей, о тебе говорят, что хулишь монашество, — оправдайся!

Чертов Леон, думал Феодор, стоя перед ним, чертovsky киевские попы, всё вынюхали, донесли обо всем! Но не моргнув глазом отвечал достойно и кротко, что на него взвели напраслину, отнюдь он не хулит монашество, напротив того — духовного своего сына, князя, учит любить и чтить чернецов и черниц, чему доказательство — монастыри, воздвигнутые князем, и щедрость раздаваемой им милостыни, слава же о ней идет по градам и весям.

— Но с женой ты не разводишься! — перебил патриарх. — Знаешь ведь, что епископу пристало девство! А еще в митрополиты метишь!

— Грешен аз, — сказал Феодор. — Несмыслен аз. Разведусь.

— Ты ее отошлешь в дальний монастырь! — сказал патриарх.

— Отошлю, — сказал Феодор, поникнув головой.

— Чтоб не виделась больше в сем мире! Лишь после кончины соединитесь в чистоте.

— Да будет так, — сказал Феодор.

Ему удалось под конец смягчить патриаршее сердце. Не столько смирением своим, сколько упоминанием об Андрее Юрьевиче. Патриарх перестал стучать посохом о пол, призвал ученых советников и заговорил о существовании дела.

Ему не с руки было ссориться с сильным православным князем, пекущимся о церкви. Но и прав Киева, где сидел ими посаженный верховный пастырь, греки ни за что не соглашались нарушить, и дело решили наполю-

вину: быть Феодору ростовским епископом, но лишь в том случае, если будет ему рукоположение от киевского митрополита.

О второй же митрополии даже толковать не хотели, как Феодор их не улещал: ссылались на какие-то древние каноны, которых он не знал и оспорить не сумел, хотя чувствовал, что греки хитрят и водят его за нос с этими канонами.

И потому он вернулся во Владимир пристыженный и распаленный, еще больше распаленный на патриарха и его присных, чем патриарх был распален на него.

— Что ж, на первый раз и то ладно, — сказал Андрей Юрьевич, прочитав послание от патриарха. — Начали с меньшего, а там, даст бог, добьемся и большего.

— Князь мой! — из глубины груди страдальчески промычал Феодор. — Я не поеду в Киев.

— А рукоположение?

— Князь мой! Не могу сейчас видеть врагов моих. Не ровен час согрешу: убью. В Константинополе они из меня бочку крови выпили. Дай отдышаться.

— Ладно, не поезжай пока, отдышись, — милостиво хохотнул Андрей Юрьевич.

— Люба моя! — шептал ночью Феодор попадье. — Что они брешут, окаянные? Тебя — в монастырь! Косы эти — долой! Коленочками этими каменные полы протирать? Чтоб я — да без тебя?! Да пусть они околеют, псы бешеные! Да вся ихняя свора вонючая одного твоего ушка бархатного не стоит!

— Так не отошлешь в монастырь? — томно тянула попадьа, без страха, с веселым лукавством.

— Будь я проклят, если отошлю!

— А как же мы будем, когда ты теперь епископ?

— Так и будем, как были, — сказал Феодор. — Вот так и будем.

В руке ростовского епископа были города: кроме Ростова, Суздаля, Владимира — еще Ярославль, Дмитров, Углич, Переяславль Залесский, Тверь, Городец, Молога и другие.

Со всеми попами, церквями, монастырями.

Епископский дом во Владимире был обширный, как у бояр.

Феодор и попадья жили в верхнем жилье, внизу были кладовые, еще ниже — темные погреба.

Когда Феодор пил сбитень, сидя у окошка, ему виден был двор, обнесенный забором, как баба с подоткнутым подолом набирает воду из колодца, как отворяют ворота, впуская вернувшееся с пастбища стадо, и коровы разбегаются по хлевам, тряся полными выменами.

С тех пор как он стал епископом, бабы в дом ни ногой. Дальше хлева им ходу не было.

В святительском доме полагалось быть лишь мужскому полу.

Но в том же доме жила, смеялась, источала плотское ликованье голубоглазая попадья, и молва шумела о женом епископе.

Епископ в белом клобуке! Когда бывало?

Кто допустил?

Вон возок покатил, белые кони в упряжке, — Белый Клобук поехал служить.

Гей, бежим в Десятинную, глянem, как служит Белый Клобук!

Где ж он, где?!

Вон, вон белеет в царских вратах, белизной своей оскорбляя господа!

Из других городов ехали — перетолкнуться локтями, видя, как князь Андрей Юрьевич, подходя ко кресту, целует Белому Клобуку руку, и бояре за князем.

Поужасаться — как в великий четверг двенадцать иереев, среди них седовласые, многопочтенные, моют Белому Клобуку его развратные ноги.

Может, миряне не осудили бы его так непреложно. Но ярились попы, черные особенно. Почему он? Нет, что ли, более достойного?

Запуганные властью земной и небесной, приученные верой ко всякому смирению, унижению, насилию над своим естеством, всё же они не снесли возвеличения Феодора.

Слишком уж дышал мужеством и преуспеванием.

Тиары возжаждал, а поступиться ради нее не хотел даже попадьею — вишь ты!

Они изливали на него хулу день и ночь, и мирянин, их слушая, обижался, что его душу вручили никуда не годному пастырю, и в каждом доме и домишке толковали о Белом Клобуке.

А почему он живет во Владимире, говорили владимирские попы, — да потому, что стыдится ростовцев, видевших святую жизнь прежних епископов.

Ничего и никого он не стыдится; отвечали попы ростовские, князь хочет наш Ростов принизить, а ваш Владимир возвеличить, и для того ростовскому владыке велел жить во Владимире, чтоб мы на поклон к вам ездили.

Шум неприличный подымался в церкви, если входила попадья.

Она перестала бывать в Десятинной, в другие, дальние стала ходить. Но и там шумели и пальцами показывали.

Она догадывалась, что нищенки и богомолки, вечно сидевшие за воротами ее дома со своими сумами и клюшками, нарочно собираются, чтоб дожидаться ее выхода и взглянуть на нее. Она им подавала щедро: корзинами выносили за ней хлебы и сушеную рыбу. И они жалобными голосами молили за нее бога, но взгляды их были ядовиты и ненавистны.

В троицын день, после пышной службы, к Феодору, державшему крест для целования, подошел неизвестный монашек. Он приблизился в толще людского потока. Был тош и бледен, в худой рясе, в лаптях. Креста не поцеловал, а вперился дерзостно в глаза роскошному епископу своими красными больными глазками и сказал отчетливо перед стихшим народом:

— Что, окаянный, творишь? На святой чин посягнул, ангелом нашей церкви зовешься, а смердишь как кобель. Прострись, покайся в мерзости, пока не поздно.

Его схватили и поволокли. Андрей Юрьевич приказал — в темницу, но Феодор заступился: ему еще не верилось, что все вдруг так ожесточились против него; слишком самому себе нравился, чтоб сразу поверить; думал — можно милостью их с собой примирить. Привез дрожащего как в лихорадке монашка к себе домой, кормил за праздничным столом с почетными гостями. Попадья сидела в задних комнатах, прислуживал мужской пол под присмотром Любима, старого слуги.

Монашек, видя ласку, расплакался и сознался, что его подбил на обличение игумен Спасского монастыря. Феодор потемнел лицом, уткнул угрюмо бороду в грудь...

Спасский игумен происходил из старой знати, посажен на игуменство епископом Леоном в дни, когда Андрей Юрьевич еще старался задобрить боярство, а не ополчался на него, как сейчас. Теперь же, после своего избрания на вече, Андрей Юрьевич устранял один знатный род за другим, борясь за полноту власти и предупреждая заговоры. Уже несколько свершилось казней, и многие сильненькие, проклиная и грозясь, должны были покинуть область. Взор князя блеснул недобро, когда Феодор рассказал о признании раскаявшегося монашка.

— Там у них в монастыре копнуть, — сказал Феодор, — еще не то откроется.

Но, к его неудовольствию, Андрей Юрьевич ответил:

— Не время копать.

— Князь мой! Дай мне только игумена. Острастку надо сделать злодеям.

— Не время, — повторил Андрей Юрьевич.

Он затеял большой поход. По его мысли, пришла пора показать, кто истинный великий князь на Руси. В Киеве после Ростислава вскочил на престол Мстислав Изяславич, сын Изяслава Мстиславича, с которым боролся покойный тятенька. Союзниками Андрея Юрьевича были: дорогобужский князь Владимир — соперник Мстислава, князя рязанский и муромский — с ними Андрей Юрьевич ходил на Бряхимов, северские князя Олег и Игорь, брат Глеб Юрьевич, княживший в Переяславле-Русском, — одиннадцать набралось князей с дружинами и ратью. Они рвались к добыче и рады были крепкой руке, чтоб их собрала и повела. В этом непрерывном переделе одного и того же каравая, где нынче ты побит и нищ, а завтра победитель и богач, — воякам не сиделось на месте, и то сказать: засидишься — сам станешь добычей других вояк, так уж оно сложилось на свете...

— Обожди с игуменом, — сказал Андрей Юрьевич. — Пускай уйдет войско...

Войско ушло. И тотчас в Спасский монастырь явились Феодоровы люди во главе с бывшим вышгородским дьяконом Аполлинарием. Взяли игумена и увели. В ту ночь попадья спала одна. Только на рассвете явился Феодор, усталый и хмурый. Первый раз в жизни попадья взглянула на него со страхом. Спросила робко:

— Федюшка, чтой-то за шум у нас был в погребе, я уснуть не могла...

Феодор зевнул, показав розовую пасть и подковки белых зубов.

— Крамольника допрашивали.

— Какого крамольника?

— Ненавистника моего.

Глаза у попадьи стали совсем круглые.

— Федь, а Федь. У тебя кровь на рукаве...

— Ну, дай чистое переодеться, — сказал Феодор.

Поход был успешный.

Союзники соединили свои войска в Вышгороде. В начале марта заложили стан близ Кирилловского монастыря и, раздвигаясь постепенно, окружили Киев. Им удалось склонить к измене берендеев, которых Мстислав Изяславич нанял для своей защиты. Так что победа была предрешена, и победители заранее метали жребий, деля между собой киевские улицы и жителей.

Мстислав Изяславич бежал с дружиной, бросив жену и детей. Без князя киевляне продержались три дня, потом сдались. Вооруженные лавины хлынули в город со всех сторон. Запылали дома. Горела Печерская обитель... Боярин Борис Жидиславич, ведший суздальскую рать, в числе прочей добычи вывез иконы, церковную утварь, колокола. Суздальцы снимали драгоценности с киевской чудотворной Богородицы, чтоб украсить свою владимирскую.

Пока все это происходило, Феодор тоже воевал.

Ужасная участь спасского игумена, вынутаго из епископских подвалов без глаз и без языка, потрясла Землю. Волна ненависти вздыбилась против Феодора. Ни свирепством, ни милостями нельзя ее было утишить.

Да, и милости не хотели от него те, кто отдан был ему во власть с душой и телом, с чадами и домочадцами и со всем своим именем. Кому он волен был рвать бороды, жечь на угольях подошвы, резать языки и глаза.

Он рвал, жег, резал, а они все равно ему не повиновались, словно обезумев, особенно с тех пор, как митрополит их известил, что Феодор не рукоположен в Киеве.

Так он еще, ко всему, не посвященный!

Так он и не епископ, а простой поп!

Поп Феодор, не больше того!

Не Феодор — Феодорец, плут, обманщик, малость, ничто!

И кlobук его — не кlobук: кlobучок, кlobучишко! Феодорец Белый Кlobучок, вот он кто, самозванец! Разорить Киев можно. Отнять у него святость — не в людской власти. Святость не коснулась тебя, Феодорец, — что ж ты без нее перед богом и перед нами?

Когда попадья выходила за своего попа, знакомая древняя бабушка велела ей поить мужа настоем травы одолен. Эта трава растет при реках и при черном камне, собой голубая. Кому дашь ее пить, сказала бабушка, тот от тебя до смерти не отстанет.

Теперь попадья подумала-подумала: не поможет ли и тут бабушка. Уж больно стали часты ночные шумы в погребе. Дьякон Аполлинарий запивать шибко стал — с тоски, что ли. Как бы худого чего не сделалось с Федюшкой, много ненавистников у него.

Взяла попадья узелочек с гостинцами и пешком пошла полями в ту деревню.

Бабушка жила в той же завалюхе-избе, но уже помирала, на печи лежа, а на лавке внизу, в вешем ожидании, сидели ее товарки, обросшие серыми бородавками и седыми бороденками.

— Что говоришь? — спросила с печи бабушка. — Помогла трава одолен? А ныне, говоришь, беду отвести надо? От беды помогает трава измодин. Кто тоё траву ест, никакой не узрит скорби телу и сердцу. Только нет ее у меня, ничего у меня больше нет, кончаюсь я. Скажи моим товаркам, пусть дадут тебе, мол, я велела.

И одна из товарок встала, и попадья пошла за ней из избы, пропахшей болезнью и концом, и получила траву измодин. Ела ее и дала есть Феодору, и перестала тревожиться, потому что никакого несчастья с ними теперь стрястись не могло. А чтоб не слышать ночных шумов и не грешить перед мужем, сострадая его врагам, — стала, спать ложась, закладывать уши шерстью.

За то, что попы отказывались поминать его в ектерьях как владыку, а иные оголтелые вместо него поминали Леона; за кличку Феодорец Белый Кlobучок, что утвердилась в народе; за то, что кем-то был избит и от побоев помер дьякон Аполлинарий; и за прочее неповиновение и непризнание — Феодор решил наказать их при-

мерно, большее, чем огненной пыткой и усекновением голов, так наказать, чтоб было чувствительно всем до последнего мирянина.

В один метельный промозглый день, в начале зимы, из епископского двора выехал возок, окруженный стражей. Не белые кони были впряжены в возок, но черные.

Не спеша, с похоронной торжественностью двинулся он по улице. Стражники ехали шагом впереди и сзади.

Прохожие останавливались и глядели молча.

Возок остановился у дома, где жил настоятель церкви на Златых вратах.

— Гей! — задубасили и заорали стражники. — Настоятеля давай сюда! Настоятеля владыка требует!

Настоятель вышел не сразу. Он был смертно бледен и силился держать голову высоко — приготовился к мученичеству. Из возка высунулся Белый Клобучок и сказал нетерпеливо:

— Ключи подай.

— Какие ключи?

— От церкви, от церкви ключи. Неси-ка.

Настоятель под стражей вернулся в дом, вынес ключи. Возок тронулся, а настоятель смотрел ему вслед сквозь метель, еще не поняв, что случилось.

Так Феодор проехал по городу и от всех церквей побрал ключи.

На дно возка они падали с железным лязгом.

Последней на его пути была церковь Успения Богородицы. Ее звали Десятинной, потому что ей отдавалась десятая часть от стад и торговых пошлин.

Феодор отомкнул затвор; большой ключ в замке пропел громко. Феодор начальственно обошел пустой тихий храм, где только перед чудотворной хрустальным светом светилась лампада. Вышел — ключ пропел, возок отъехал.

С того вечера много дней подряд владимирцы не слышали колокольного благовеста.

Куда было звать колоколам? Даже кладбищенские церкви позапирал Феодорец.

Прекратились все службы.

Хочешь обвенчаться либо отпеть покойника — тащись в Боголюбово, за десять верст киселя хлебать.

Кого господь призывал к себе внезапно, те даже причаститься не успевали: тело и кровь Христовы были у Феодорца под замком.

Владимирские попы томились без заработков.

Сама чудотворная в узилище сидела.

— Будут знать! — говорил Феодор своим присным. — Попомнят, как нам с князем противоборствовать!

Одним глазом он все-таки косился на Боголюбиво: как-то смотрят на его деяния в княжеском дворце. Но из дворца не исходило ни запрета, ни порицания.

Два дня стучался в епископские ворота старенький поп. Говорил, надо ему самого епископа, а по какому делу — сказать не хотел. Его не пускали, ругали, — не уходил. Присаживался на лавочку среди нищенок и плакал бессильно, и нищенки делились с ним хлебом. Уж в сумерках, иззябший, плелся куда-то ночевать.

На третий день удалось старичку смягчить привратника и проникнуть во двор, а тут как раз Феодор домой воротился.

Он только ступил на крыльцо, как невесть откуда этот поп выскочил, крича слабым голосом:

— Вот он, владыка! Вот он!

— Э! Старый знакомый! — сановно-ласково сказал Феодор. Стража, ухватившая было старичка, отступила.

То был Микулич из вышгородского женского монастыря.

— Ты как очутился во Владимире, — продолжал Феодор, — за какой нуждой? Нынче некогда мне, а как-нибудь заходи, побеседуем, чем могу — помогу.

— Об чем беседовать мне с тобой! — завопил Микулич. — Доколь неистовствовать будешь, отвечай, кровопийца! Страшная твоя слава по Земле идет! Нерону уподобился! Вельзевулу!

Феодор свел брови:

— Молчи ты, пустомеля! Еще вышгородских мне тут не хватало...

— Возгордился аки сатана!.. — вопил Микулич, потрясая руками.

— Убрать, — молвил Феодор, и не стало перед ним Микулича.

— ...лишил православных, — донеслось уже из подвала, — причастия и пения церковного...

И совсем глухо, как из могилы:

— ...ругался над образом честнейшим... нетленную поганил...

— Чего-чего? — отозвался Феодор. С юношеской прытью ринулся по каменным ступеням в подвал. — Ты что мелешь, старый дурень, а ну повтори!

— Слезки-то, слезки ей, — детским голосом выкрикивал Микулич у стражников в руках, — слезки чем, Ирод, намазывал, пальцем аль тряпицей? Навуходносор, все известно, Аполлинашка перед кончиной на исповеди открыл...

Протянул Феодор руку, грозный, как Саваоф:

— Распятъ его!

И как ни рвался Микулич и ни кудахтал, его цепями приковали к стене, голова вниз, руки-ноги врозь. Жутко было глядеть на его вздыбившуюся бороденку и безумно вылупленные глаза. Феодор глядеть не стал, пошел наверх. Еще громко дыша от гнева, меча взорами молнии, обнял попадью и сел пить сбитень с калачами.

Пьет Феодор сбитень и видит в окошко сквозь морозные разводы — перед кем-то привратник ворота открывает. Всадник въезжает во двор и непочтительно до самого крыльца трусит на коне. Что за птица такая, думает Феодор, даже княжьи гонцы слезают у ворот и к дому моему идут пешие. И опять задышал шумно. Вошел Любим, докладывая:

— От князя.

— Ну, чего там надо, спроси... — заносчиво начал Феодор, но попадья не дала занестись выше меры: вскочила и сама побежала, и назад прибежала:

— Князь тебя требует в Боголюбово.

— Ладно, трапезу дайте закончу.

— Федюшка, он немедля требует.

— Подождет, — сказал Феодор и стал нарочно медленно допивать чашку, глядя на удаляющийся к воротам нахальный конский круп.

Андрея Юрьевича он нашел у красного крыльца: стоял с псарями, державшими на поводках резво дышащих, рвущихся псов.

Тут были и ближние люди — Прокопий, ключник Амбал, мальчик Кошей, боярин Яким Кучкович и Ефрем Моизич.

Феодор в них во всех метнул пламя из-под бровей, что его, святителя, со псами встречают. Андрей Юрьевич сказал:

— Ждал тебя, владыка, думал, уж не приедешь, да вышел за делом.

Так, оправдываясь передо мной, подумал Феодор, а я перед тобой оправдываться и не подумаю, что, взял? Он благословил князя, и другие подошли под благословение, кроме еврея Ефрема Моизича, который издали отвесил поклон; но при этом какие-то непонятные, замкнутые были у них лица, и глядели исподлобья.

— Что, владыка,— как бы с ленцой сказал Андрей Юрьевич,— когда в Киев-то думаешь?

Вот чего Феодор не ждал.

— В Киев? — переспросил невольно.

— Поставиться-то надо.

— Разве я от тебя не поставлен?

— Да вот видишь, мое поставление только мы с тобой признаем, попы не признают,— усмехнулся Андрей Юрьевич, и княжеская усмешка широкими улыбками отразилась на лицах бояр и слуг и зловещим оскалом на хищном лице ясына Амбала.— От митрополита, договорено ведь с патриархом, испросить ты должен хиротонию.

— Не нужна мне его хиротония.

— Тебе, может, не нужна, а Земле нужна,— уже без усмешки сощурился князь.— Митрополит письмо прислал, велит тебе ехать без промедления. Собор они собирают.— Помолчал.— И от патриарха послание.

— Где оно?

— Дай,— кивнул Андрей Юрьевич Прокопию, и Прокопий подал свиток с подвешенной печатью. Феодор рывком развернул и прочел. Послание недлинное было, но внушительное. Патриарх требовал, чтоб Феодор явился на собор, затем осуждал его брачную жизнь. Верно, все другое еще не дошло до Константинополя или же считалось там маловажным, только патриарх упорно писал об одном: «Он на чистое житие безженных пастырей негодует и укоряет... Но, княже, насколько ангелы выше человеков и насколько небо выше земли, настолько неоженившийся выше ожившегося: девство есть житие ангельское...»

«И мы поучаем твое благородие и благочестие,— кончалось послание,— остерегаться ложных пророков и не веровать им...»

И подпись собственноручная греческими буквами:
Лука.

Феодор скатал свиток.

Вишь, подумал, уцепились, проклятушие.

А как понимать, подумал встрепенувшись, что патриаршую грамоту, с подписью и печатью, князь в таком месте дает читать мне? Оно ведь кощунство. Не в таких местах и не так подобные грамоты читаются. И передо мной он выходит невежа: зачем при всех дал, вишь как они вонзились... А может, он это все с умыслом: мол, что нам патриарх, вон — наши псы на его грамоту лают...

— Не с руки мне сейчас ехать-то.

— Надо ехать.

— Дела у меня.

— Отложишь дела.

— Собор, думаешь, хиротонисать меня собирается?

Он судить меня собирается.

— А есть за что судить? — лицемерно удивился Андрей Юрьевич.

— Захотят судить — найдут за что.

— Ну, ты языкаст, сумеешь отговориться, — опять усмехнулся Андрей Юрьевич, и опять гиена Амбал выставил зубы в кровожадной радости. А Феодор опять рассердился, и минутное его уныние сняло как рукой. На самом деле, подумал. Что я церкви позакрывал — в том виновны мои супостаты, непослушанием вынудили. Что наказать из них кой-кого пришлось — на это моя власть святительская, да про то и разговора не будет, кому они там нужны, в Киеве, а тем более в Константинополе! Что разрешаю от поста в среду и пяток в великие праздники, так к этому даже некоторые печерские угодники склонялись при всей своей строгости. Язык же у тебя, владыка Феодор, и впрямь подвешен — лучше не надо, чистый вечевой колокол. Так кого же тебе бояться? Да и не даст тебя князь в обиду, это он не в духе, что ты его ждать заставил... Вы, злыдни, обождите радоваться: я вам покажу!

— Так что собирайся, — сказал Андрей Юрьевич.

— Собраться недолго, — сказал Феодор. — Вот только расходы большие в такой поездке.

— Будто нет у тебя на расходы.

— Князь мой! Поверишь ли...

— Ладно, будет тебе на расходы, будет, — прервал Андрей Юрьевич и, повернувшись, пошел прочь по дво-

ру, и тем окончательно показал свое невежество, что так его от скупости прорвало.

Псы, не разумея человеческого разговора, жарко дышали разинутыми пастьми и рвались с поводков.

— Ну, попадья, чего тебе привезти из Киева? — спросил Феодор, вернувшись домой и уже ни о чем не помышляя, кроме того, ка-ак он их всех порасшвыряет, словно щепки. — Слышь, для меня там собор собирают, вон как.

— А оно не страшно? — спросила попадья — спокойно, впрочем, спросила в уповании на траву измодин.

— Бог не выдаст, свинья не съест, — ответил Феодор.

С бодрым духом, не позволяя себе пугаться и сомневаться — ибо испуг и сомнение суть первые шаги к несчастью, — отслужил молебен и поехал.

Взял всякой снеди на дорогу, денег от князя, подарки митрополиту и игумнам, крепкую охрану.

Лошадки бежали весело. Алмазами переливались снега. Чем дальше от супостатов, от ненависти их и строптивости, тем благодостней становилось на душе у Феодора.

Попу меня, конечно, не понять, размышлял он, поп тугоумен и косен, лишь свою ничтожную выгоду видит, где ему прозреть государственный размах наш с князем. Другое дело пастырь, мне чином равный, с ним мы всегда сговоримся. Ну-ка, отцы, скажу, полно меня обличать, сами хороши, давайте-кось сядем рядком да потолкуем, отложив злобу в сторону...

Под вечер остановился на постоялом дворе.

Дрянной двор, вокруг избы нагажено, нечищенное крыльцо обледенело, а главное — для хороших постояльцев всего одна имелась комната, и та не ахти что, и в ней уже находились двое: один, сразу видно, чужестранец, другой, кажись, наш, но тоже в иностранном платье. При свете трескучей лучины они пили вино, заняв единственный стол, и на лавках у теплой стены уже были постланы для них постели. Все это отметил Феодор, заглянув в дверь. С неудовольствием спросил у хозяина:

— Кто такие? Как бы их отсюда того?

— Господин, никак нельзя, — зашептал испуганный хозяин. — Этот рыжий — посол от Ганзы, в Киев едет с охранной грамотой, при нем стража большая, тут ря-

дом ночуют... А другой — из Новгорода — у него толмач.

С Киевом не время ссориться, подумал Феодор. Смирюсь.

— Но чтоб мне постель у печи, — сказал, — и пошише. И сбитню подать горячего.

Путешественники встали, когда он вошел. Новгородец принял благословение, а рыжий, поклонясь, сел и налил себе еще вина. Оба они были молодые, поджарые, не успевшие нарастить на кости мясо и сало. На обоих короткие кафтаны со сборками у плеч, шерстяные чулки, башмаки с пряжками. Завитые волосы закрывали лоб до бровей. Их шубы сушились на лежанке, источая запахи медведя и волка.

Слуги сняли шубы с Феодора и положили туда же, и звериный запах в комнате еще стал гуще. Слуги сняли с Феодора валенки и растерли ему ноги суконкой, а Феодор в это время показывал ганзейскому послу, что он, Феодор, за человек: сидел, отдав босые ноги в руки слуг, и читал записи в своей писчей книжке, которую достал из серебряного кожанка. Он заметил, что посол на него поглядывает с большим любопытством, а новгородец не отрываясь смотрит на его клобук.

Само собой, подумал Феодор, кто в Новгороде обо мне не наслышан? Обо мне наслышаны по всей Земле Русской. И Греческой. надо полагать. Должно быть, и по всей Европе. Если в Европе еще не наслышаны, то услышат, дайте срок... Малый из Новгорода глаз с меня не сводит. Смотри, смотри. После детям и внукам рассказывать будешь, какая твоей скромной юности выпала встреча. А внуки будут спрашивать: неужто тот преславный Феодор, который одолел всех своих врагов, в том числе патриарха! тот Феодор, что великие дела совершил и выше князей стал...

Тем временем другие Феодоровы слуги разогрели щи, взятые в дорогу в замороженном виде, и внесли полную мису. Прекрасное грибное благоухание распространилось от мисы и возобладало над звериными запахами. Феодор увидел, что сухопарые глотают слюни, и обратился к ним с важной ласковостью, предлагая покушать вместе. Они поблагодарили и пересели ближе, им подали ложки, и втроем они стали хлебать горячие щи, изготовленные под присмотром голубоглазой попадьи. Потрескивала лучина. Широкий бок печи, обмазанной глиной, дышал теплом. Подали сбитень, и от сбитня Феодор раз-

горячился, по обыкновению, больше, чем те от заморского вина, и ему надоело быть таким важным. Захотелось рассказать этим учтивым щеголям, которым, наверно, не все известно, о своих делах. И так как они слушали внимательно, не перебивая, только время от времени толмач скороговоркой вкратце пересказывал послу епископские речи, — Феодор расхвастался, сановность с него соскочила, он подмигивал и шептал, и рыкал львом, и ударял себя по коленкам.

— Да что они думают! — восклицал. — Да меня князь Андрей Юрьевич разве на кого променяет? Я у него правая рука! Моими мыслями мыслит! Мы с ним, Андреем Юрьевичем, как братья любящие, как приснопамятные Борис и Глеб — в вечном единокровии...

— До сих пор не вышло по-ихнему, — говорил, ребром ладони рубя по столу, — и впредь не выйдет. Собор — подумаешь. Кто судить-то меня собрался? Кроме отца Кирилла Туровского да, может, Константина митрополита, я его не знаю, — никто и не читал ничего. Служebníк один затвердили, и тот нетвердо. Я их речениями из писания закидаю выше ушей, не говоря уж о том, что за мной суздальская рать стоит. Пускай-ка дерзнут чего-нибудь на меня: сейчас Андрей Юрьевич будет под стенами Киева! Достанется им почище прошлогоднего!

— А патриарх-то! — шептал. — Хлопочет о нашем девстве, а сам полубовниц держит. Небось у себя в Византии терпит женатых епископов, — почему? Потому что, если он их от жен отлучит либо лишит епископства, они его блуд обнародуют, вот почему! А мою супругу, господом со мной сочетанную, в монастырь велит упечь, чтоб я ее больше и не видал до встречи за гробом. Не несносно ли? Где, вопрошаю, больше греха: пребывать в законе с ангелом добродетели, или с непотребными бабами возжаться, прах их возьми!

— Сменой вещей держится свет, — гремел пророчески. — О чем, как не о судорогах перемен, вещают святые книги? От грехопадения прародителей начиная — разрушение за разрушением и обновление за обновлением! А мы всякой новизны дрожим, как мыши кота! Шагу не ступим по своему разуму! Когда епископам воспрещено пребывать в браке? Полтыщи лет назад, вон когда! Трулльский собор, правило сорок восьмое... Так что же, вопрошаю! Еще тышу лет по сорок восьмому правилу

нам жить? Если зрим в нашем устройстве несовершенства — кто призван устранять их? Пастыри могущие! Мудростью и властью облеченные!

Вошел мужик с охапкой дров и высыпал их с грохотом у печи, серость деревенская, прервав течение речи Феодора. Впрочем, прикинул Феодор, последние слова завершают эту речь как нельзя лучше. Выюноши, без сомнения, будут передавать их из уст в уста. С той же целью, с какой листал писчую книжку, он поковырял в зубах золотой зуботычкой, потом встал, сунул ноги в нагретые валенки и вышел за нуждой на крыльцо под крупный рогатый месяц. Во дворе ни души не было. Величавым взором Феодор окинул с крыльца убогое хозяйство, месяц, серебряный растекающийся дым вокруг месяца. Мороз был жестокий, разом хлынул в рукава рясы. Страдальчески где-то завывала собака, и тоска вдруг ужалила Феодора, такая тоска, что он воззвал всей душой отчаянно: «Господи!» — но поспешил вспомнить, что за ним его князь и рать суздальская и что он их там позакидает речениями выше ушей. И, зевнув, вернулся в избу.

И спал сладко, раскрыв сочный рот наподобие буквы «о» и всхрапывая, а раным-рано уже неся дальше неширокой дорогой, проложенной полозьями по просеке среди леса.

Серенькое, пепельное было утро, реденький реял снежок, небо по сторонам просеки закрешено мелкими крестиками еловых вершин.

Мчатся сани по накатанной дороге, заливаются бубенцы, со звоном мчится знаменитый нареченный епископ Феодор в город Киев.

Ой, Феодорец. Не к добру ты раззвонился.

Этим сереньким утром все кончается. Больше не взойдет твое солнце.

Не сядешь ты рядом с Кириллом Туровским, ни с кем не сядешь, — рыкая бессильно, будешь перед ними на коленях, как преступник.

Утомился Андрей Юрьевич играть с твоим огнем.

Не вышла игра, он отворачивается и прочь идет. У него других много игр.

И суздальские ратники отсыпаются в теплых избах, распоясавшись и разувшись. Не придут они под стены Киева спасать тебя.

Гляди, Феодорец, на крестики елей, на тихо оседающие снежинки!

Села снежинка на рукав. О шести лучах. Дивной тонкости, дивной отчетливости, без единого изъяна. Какая это кружевница плетет такое без единого изъяна?

Гляди на снежинку.

Говори что-либо. Приказывай, пока есть кому. Хвастайся. Размахивай руками. Не придется больше. Ни в одном сердце не найдешь ты милосердия — и как просить тебе о милосердии? Скажут: *какою мерой мерить, возмерится и тебе. Суд без милости не сотворившему милости.* Ой, куда скачешь, Белый Клубочок!..

1966

КТО УМИРАЕТ...

Кто умирает ночью в Москве под морозными звездами?

Умирает властелин. Такого еще не было в России. Ему подвластны города и веси и каждый волос на каждой голове. Он сидел на престоле в бармах — царском широком оплечье, в шапке, похожей на дыню. И шапка, и бармы — весь он от макушки до каблучков был усажен драгоценными камнями и жемчугом. Сидел и поводил глазами, по движению этих голубых глаз вершились дела, сердца переполнялись весельем либо ужасом. И многим нравилось иметь его перед собой и поклоняться ему.

Каждый волос на каждой голове. На моей, на твоей, на всех наших буйных головушках. Все дымы из наших изб. Тысячи верст белых снегов, выпавших на север и на юг, на восток и на запад от Москвы. Извилины замерзших рек, еловые лапищи в дремучих лесах — надо всем он господин, Василий Иванович.

Боярин Беклемишев заспорил с ним о государственном деле. Василий Иванович сказал:

— Ступай, смерд, не нужен ты мне. — И отошел со своим мнением боярин Берсень Беклемишев.

Но он умел и обласкать, осыпать милостями — неожиданно, всем на удивление: властелин должен удивлять и загадывать загадки.

Когда он был юношей, шла борьба между ним и его племянником Дмитрием.

Государем всея Руси был Иван Васильевич, отец Василия, дед Дмитрия.

Речь шла о том, кому после него быть на престоле, Василию или Дмитрию.

Иван Васильевич раздумывал и выбирал, склоняясь то к одному, то к другому решению.

Дмитрий был мальчик, не умел еще бороться. За него боролась мать. Две матери схватились в смертном бою, Елена Молдаванка и Софья Гречанка, и бояре разбились на два лагеря, и что тут только не пускалось в ход — и клевета, и чародейство, и отравы.

Сперва победили сторонники Дмитрия. Он был торжественно коронован в Успенском соборе и посажен рядом с дедом. Иван Васильевич сам надел на него Мономахову шапку. Дмитрия называли царем боговенчаным, а Василий сидел под стражей, и его приверженцы хлебали горе.

Но качнулись кровавые качели, Иван Васильевич охладел к внуку, и опальная партия Василия Ивановича поднялась в силе и блеске. Тогда полетели головы сторонников Дмитрия. В том числе пострадала знатная и надменная семья Патрикеевых. Князю Василию Патрикееву казнь была заменена пострижением. Его постригли в Кириллове Белозерском монастыре под именем Вассиана.

Вот этого Вассиана, своего врага, Василий Иванович, став государем, окружил вдруг почетом и любовью. Приказал перевезти его в Симонов монастырь в Москву, посещал как брата, посылал ему кушанья от своего стола. Этого не могли перенести другие монахи и писали на Вассиана доносы. Но Василий Иванович не обращал на них внимания и называл Вассиана умягчением души своей, веселием беседы: любил такие слова, взятые из посланий отцов церкви. Стоящий выше всех должен изъясняться высокими словами.

Выше всех он стоял еще до рождения, еще в материнской утробе.

«И придоша к Словеню первее, и срубиша город Ладогу, и седе старейший в Ладозе Рюрик».

От варяга Рюрика Василий Иванович вел счет своим предкам по отцу.

В том ряду были полководцы и преобразователи, и мудрые правители, и святые мученики.

Перед ликами святых рюриковичей зажигали лампы.

Мать Василия Ивановича была из династии Палеологов, родная племянница последнего византийского императора. Приземистая, дородная, с вкрадчивой улыбкой, с ноздрями, раздувающимися от алчных замыслов, от честолюбивого клокотанья души. Не принесла супругу в приданое ни земель, ни сокровищ: изгнанница, выросшая в чужом доме. Зато принесла осиротелый герб поверженной Византии — двуглавого орла, одна голова смотрит на запад, другая на восток. Принесла мысль о божественности единоначальной власти.

Она образованная была, Софья Фоминишна. Могла речь сказать по-латыни и принимала послов. Ловкой хитростью выжила татарский двор из Кремля — ей татары были как кость в горле.

Еще другая знаменитая Софья была у Василия Ивановича в роду, прабабка по отцу, Витовтовна.

Жил в Литве бесстрашный Гедимин. Храбростью и смекалкой выбился из слуг в господу, овладел Литовским княжеством, положил начало новой династии, и много совершил завоеваний, и прославился, и государи его боялись и чтили. У него был сын Кестут, а у Кестута сын Витовт, который даже Гедимина превзошел бурностью жизни и о котором сказано, что не было в Литве мужа более великого. Дочь Витовта вышла за московского князя, сына Дмитрия Донского, и прилила к крови рюриковичей кровь Гедимина. Такие-то деревья сплелись ветвями над ложем умирающего. И эта кровь избранная должна остановить свой бег в жилах!

* * *

И остановит, подумаешь, невидаль. Смерть не глядит, какие там предки и сколько побрякушек на все места навешано. Просто человек умирает, человек. Творение недолговечное, непрочное. Хрупкие кости, туловище набито требухой и смрадом. В черепе зыбкое вещество вроде киселя. В груди трепещет ком мяса — сжимается, разжимается. У властелина, у бездомного бродяги, одинаково. Адам наш общий предок. Жил ты, ел, пил, исполнял что тебе на земле положено. Теперь положено тебе умереть. Исполнишь и это.

Началось с малости. А поди разбери, что малость в нашей юдоли и что не малость. Был здоровехонек, никогда ничем не болел и поехал на охоту в Волок Лам-

ский. Там в кустарниках, в загонах, множество водилось зайцев, их туда свозили нарочно. Никто не мог там охотиться кроме как с Василием Ивановичем.

Бояр с собой взял, псарей, стражу. Громко крича, они окружали загон, от крика зайцы выскакивали, на них спускали собак. Еще громче подымался протяжный радостный крик, когда красивые длинноухие собаки с лаем бросались на одурело скачущих, не знающих куда деваться зайцев, по четыре-пять собак на одного зайца. Навеселившись, охотники сваливали затравленных зайцев в одном месте и считали — чья собака больше затравила. Всегда больше всех затравливали Василий-Иванычевы собаки.

Он красовался среди поля в золоченой одежде, в колпаке с двумя козырьками, передним и задним, над козырьками торчмя укрепленные золотые пластинки качались как перья. И конь был в золоте, а в кустах сидели нарочно посаженные мужики и держали в мешках живых зайцев про запас — на случай, если не хватит для травли.

Так шумно и отратно проходило время, как вдруг почувствовал в левом стегне противную боль. На сгибе стегна вскочила небольшая, ну ничтожная болячка; нечего было о таком пустяке и думать. Василий Иванович, превозмогая боль, охотился и пирувал с боярами, переезжал, охотясь и пируя, из села в село и парился в бане.

Но было все хуже сидеть и ходить и, видно, он седлом натрудил болячку. В селе Колпь пришлось лечь в постель. Лежал и боялся: что как это та французская болячка, которую на Русь в вине привезли и от которой нос проваливается. Приказал скакать в Москву за врачами.

Врачи прискакали: немцы Николай и Феофил. Прискакал и князь Михаил Львович, дядя жены. Нет, сказали врачи, это не французская, та смотрит иначе. Они составили мазь. Но Михаил Львович посоветовал лечение, более принятое в России и Литве. Замесили пресный мед пшеничной мукой и прикладывали. Потом клали печеные луковицы.

Болячка стала расти не по дням, а по часам, выросла в багровую гору, с нею росла боль. Ни лежать, ни встать. От боли обдавало огненным жаром. Все тело пылало огнем, шедшим от багровой горы. Гора навалива-

лась на грудь — дышать не вмоготу. О пище не мог слышать: тошнота подкатывала. А вначале-то болячка с булавочную головку была, не больше.

Его походный шатер — как дом. Постель хорошая. Утонув в перинах, пылал в багровом забытии, с мутными глазами. По ночам вдоль села кричали петухи, кричали, как сторожа на городской стене. «Слу-уша-ай!» — начинал один поблизости. «Слу-уша-ай!» — отзывался другой подальше, и еще дальше, и еще, и последний совсем уже на краю света.

* * *

Гору прорвало. Тазами выносили гной и выливали в ямку, вырытую в земле. Вышел длинный, как прут, стержень. Гной перестал идти, и его захоронили, закопав ямку, как хоронили кровь, когда делали кровопускание больным.

Первые дни было облегчение. Василий Иванович обрадовался и стал собираться в Москву.

Пока болел, настала глубокая осень, листва облетела. Но снег, выпав, сейчас же таял, на дорогах лежала колейми грязь. Ехали шагом, на полозьях. Василий Иванович терпел, закрыв глаза. Очень слаб стал. На месте, где прорвало болячку, образовалась бледная рана, от нее шел дух. В карете постлали мягко. Василий Иванович лежал, а князя Палецкий и Шкурлятев сидели рядом и поворачивали его на другой бок, когда он говорил. Сам повернуться не имел силы.

Сначала поехали помолиться в Иосифов монастырь. Василия Ивановича вынули из кареты и под руки ввели в церковь. Но вскоре он почувствовал смертную томность и велел вывести его на воздух, на паперть. Там толпились нищие и калеки. Раскрывая лохмотья, показывали язвы. Он лег среди них со своей язвой и лежал, пока в церкви читали за него ектенью.

Черепашьим ходом — долго ли, коротко ли — добрались до Москвы-реки, до села Воробьева. Тем временем река стала, хоть и некрепко. Василий Иванович приказал городничим навести мост против Новодевичьего. Городничие навели мост в два дня; но такой негодный, что обломился, едва лошади с каретой вступили на него. Спасибо, сопровождавшие успели перерезать гужи и удержали карету; лошади погрузились в воду. Тогда,

обсудив дело, прорубили тонкий лед у Дорогомилова и перевезли Василия Ивановича в Москву на пароме.

В Москве было много иностранцев. Чужим глазам зачем показывать человеческую немощь государя. Проехали по улицам в густых сумерках без пышности, скрытно. Арбат, Воздвиженка. Свернули в Троицкие ворота. Тпру, приехали. Боярские дети на руках понесли Василия Ивановича в его каменный дворец — умирать.

* * *

Он достраивал этот дворец. Отец начинал, он кончил. Ему досталось большое хозяйство, он его любил и хозяйничал трудолюбиво, доходил до всего.

Удельных князей прибирал под свою руку и поновлял иконы.

Построил каменные крепости в Нижнем, Зарайске, Коломне, Туле и одиннадцать каменных церквей в Москве. Выложил кирпичом рвы вокруг Кремля.

Его художники расписали Успенский собор и церковь Благовещения.

В разоренном, испепеленном пожарами Новгороде его землемеры измерили улицы, площади и торговые ряды по московскому образцу.

Новгородские люди пропадали от грабителей, — он велел, как в Москве, замыкать улицы на ночь рогатками. И учредил пожарную охрану.

Старался, чтоб судьи судили справедливо и не брали взятки. Ничего из этого не получалось, но старался.

Взял обратно Смоленск, исконный русский город, сто десять лет пробывший под Литвой. По всей России звонили в колокола и служили благодарственные молебны. Василий Иванович в честь воссоединения Смоленска заложил Новодевичий монастырь, подарил монашкам села и земли.

Но, несмотря на смоленскую удачу и на то, что на знамени его был изображен Иисус Навин, останавливающий солнце, и войска он имел четыреста тысяч, — войну Василий Иванович не любил, воевал осторожно и нехотя. Война — это много убитых и раненых, и потом калечками кишат базары и паперти, а пленные гибнут в рабстве на чужбине, а главное — никогда не знаешь, выступая в поход: найдешь или потеряешь.

Как человек умный, где возможно уходил от брани, терпеливым говореньем добивался выгодных мирных договоров с соседями.

Не ухватился и за приманку, которой его завлекали в крестовый поход против турок.

Знатная была приманка: Константинополь, город городов, Царьград! Уже более полувека Византии не существовало, в Константинополе правил султан, на куполе Софии вместо креста красовался мусульманский полумесяц. Европейские государи старались разжечь сердце Василия Ивановича: последний византийский император Константин XII был его двоюродный дед по матери. Они называли Константинополь Василий-Иванычевой вотчиной. Клялись, что поддержат его, если он пойдет отбивать свою вотчину. Василий Иванович слушал эти лестные речи с удовольствием. Но, слушая, думал: шутка — воевать с султаном. Султан-то силен! Сколько это денег истратишь, народу сколько уложишь, а проку? Если даже, наваясь всем миром, одолеем турок: дальше что? Дальше — римскому папе честь, герцогам, принцам, военачальникам — барыши, а тебе, Василий Иванович, Константинополя все одно в глаза не видать, так его тебе и отдали, держи карман. Это они сейчас такие щедрые, потому что без твоих мужиков и твоих рубликов у них никакого крестового похода не получится...

А соблазн, что и говорить, был великий, эта никогда не виданная вотчина с ее дивной славой и благодатным местом на земле. Закроешь глаза — так и видишь пестроту островов среди синих вод...

* * *

От родителей он перенял любовь к роскоши и превзошел их в великолепии.

Между прочим, завел рынд — красивых отроков, одетых в белый атлас, они ходили перед ним, как ангелы перед богом и стояли у престола с серебряными топорами.

Не прадедовские времена, когда московские властители сидели, случалось, без гроша; когда из-за золотого пояска у прабабки Витовтовны чуть не драка получилась при всех людях — срамота! — с Василием Косым, и через тот поясок много лет чья-то лилась кровь и вытекали очи.

После прабабки Витовтовны остался ящичек с мощами угодников — волоски, косточки, скрюченный пальчик, — да коробья с иконами, да крестики нательные, всего и наследства. Последняя купчиха оставляла больше.

Не прадедовские скудные времена! Покойный Иван Васильевич писал в завещании:

«Что ни есть моей казны у казначея моего и дьяков, лалов, яхонтов, других каменьев, жемчугу, саженья всякого, поясов, цепей золотых, сосудов золотых, серебряных и каменных, золота, серебра, соболей, и шелковой рухляди; также что ни есть в моей казне постельной икон, крестов золотых, золота и серебра... что ни есть у моего дворецкого тверского и дьяков тверских и приказчиков в Новгороде Великом моих денег и рухляди... и где ни есть моих казен, — то все сыну моему Василию».

Торжественное платье Василия Ивановича весило два пуда от нашитых каменьев. Под каменьями, под жемчугом не видать было ткани.

Но он был и скуп, копил по денежке, не упустил ничего, что мог получить. Князь Ярославский ездил в Испанию послом, там ему подарков надарили: золотые цепи, ожерелья, серебряную посуду. Вернулся — Василий Иванович отобрал все.

— Нешто тебе это подарено, — сказал, — ты рассуди: нешто ты сам по себе таких подарков стоишь?

Ярославский рассудил и не спорил.

А дьяк Далматов — и ведь ловок был, и опытен, а дал скаредности себя погубить, — дьяк Третьяк Далматов, когда посылали его к императору Максимилиану, стал отговариваться: не на что ехать. Он, видно, думал: не для себя еду, для государства, чего же ради мне тратить свое? Раскошеливайся ты, государь. Василий Иванович не поверил, чтоб у дьяка денег не было. Велел опечатать и обыскать его дом. Нашли три тысячи рублей. Василий Иванович рассердился, приказал — все имение в казну, а Далматова на Белоозеро в вечное заточение.

Сам же денежки из рук без крайности не выпускал, нет. Приходил ли в державу немецкий гульден, или венгерский червонец, — так уж тут и оставались; а с границей Василий Иванович приказывал расплачиваться товаром. Товару было много. Не говоря уже о лесе, льне, конопле, смоле, моржовом зубе, коже, — торговали и изделиями ремесла: седлами, сбруей, ножами, топорами, полотном, сукном, зеркалами, деревянной посудой. По

меду и воску первые были в мире. Осетровую икру охотно покупала Италия. Больше всего ценились меха. За соболя платили иностранцы двадцать, а то и тридцать золотых флоринов.

Когда из-за границы приезжали купцы, их товары сначала показывали Василию Ивановичу. Он отбирал для себя что понравится. А остальное продавай кому хочешь.

Крымские татары обижались, что Василий Иванович мало присылает поминков — подарков. Хан Менгли-Гирей письма писал: «Из моих мурз и князей двадцати человекам поминков не досталось; так ты бы им прислал по сукну». Василий Иванович отговаривался уклончивыми словами, давал хану чувствовать его ослабление, свое усиление.

На войско чуть не полмиллионное денег не так много уходило. Только воеводам жалованье, а воин монеты в глаза не видал, кормился толокном с водой и солью, спал в плетеном шалаше, прикрытом от дождя подседельным войлоком, остальное сам себе промышлял как мог.

От всего этого достояние Василия Ивановича, полученное в наследство, не таяло, а росло, хоть жил он в роскоши.

Про черный день, какая ни приди беда на Русскую Землю, было прикоплено — дай боже.

Главные его сокровища хранились на Белоозере и в Вологде: кругом леса, болота, не пройти, не найти ни татарину, ни ляху.

Главное же его деяние — что прибрал к рукам высокомерный Псков.

Уже и Новгород пал перед Москвой, а Псков, юля и хитря, все держался за свою старину. И гордились псковичи несносно.

Не подчинялись Василий-Иванычеву наместнику, сварились с ним и тем гордились.

Богатством и торговой бойкостью были знамениты в ганзейских городах и тем гордились.

Прежде Москвы замостили свои улицы и тем гордились.

Так и пахло крамолой на мощенных деревом псковских улицах, на людном торге у Довмонтовой стены.

Крамола глядела из глубоких окошек каменных домов, неприступных как крепости.

В их одежде была крамола — хвастливо добротной. В повадке — слишком свободной, лишенной смирения. В том, что обучали сыновей иностранным языкам.

И они приставали к Василию Ивановичу с жалобами на наместника, Репно-Оболенского, прозванного Найдёном. А Найдён на них жаловался: вмешиваются в его суд и в Василий-Иванычевы доходы, и людям Василий-Иванычевым никакого почета от псковичей.

А попы жаловались, что в Псковской земле жители привержены языческому блуду. В ночь на Ивана Купалу ищут псковичи цвет папоротника, и прыгают через костры, и играют на дудках, и бьют в бубны, и девицы пляшут с молодцами и уходят с ними в лес, обнявшись.

Все это Василию Ивановичу надоело. Пора было с этим кончать. И он кончил, слава ему, тихо, без лишнего шума, без народной крови. Слава мудрому кормчему, радетелю о государстве, столпу твердости. Пусть с миром закроет свои светлые очи.

* * *

Без крови, говоришь? Он ее только что показывать не любил, пил втихомолку, аспид. При батюшке его Иване Васильевиче там не стеснялись: холоп ли, боярин ли, ученый ли доктор. — запросто, без затей, сводили на Москву-реку, на лед, а зарезали как курицу: гляди, ужасайся, мотай на ус. Алеет, бывало, лед под мостом, пока его снежком не присыплет.

Этот брал коварством. Со Псковом как было? Приехал в Новгород и позвал туда лучших псковских людей — рассужу вас с Найдёном, дам управу по вашим жалобам. Они и поехали, из Пскова и волостей: посадники, бояре, старосты торговых рядов. День назначил: крещение, шестого января. Утром с новгородцами и псковичами отстоял обедню в Софийской церкви. После обедни, опять все вместе, чин чином сходили крестным ходом на Волхов, на иордань. Епископ Митрофан освятил воду. Пустили голубя. Потом псковичам было велено идти в архиерейский дом ждать управы. Они ждали, и вот в палату вошли московские бояре и известили: «Поиманы вы богом и великим князем Василием Ивановичем всея Руси», — уж эти слова известно что значили. Так тут в палате и остались под стражей посадники и богатейшие торговые люди. А младших людей, что дожи-

дались во дворе, переписали и роздали новгородцам — кормить и караулить впредь до указа.

А пока они в Новгороде сидели плененные, в Псков поехал дьяк Далматов — он тогда еще не провинился, был в силе. Скликали вече, и Далматов сказал псковичам, что вечевого колокол снимается и вече больше не быть, и выборные люди отныне править не будут, править будут люди Василия Ивановича. За это Василий Иванович обещает Пскову свою милость.

Далматов сказал и сел на ступени Троицы, ожидая, что скажет народ. А народ, какие ни были у него обиды от своих выборных, стал плакать.

Да и как же не плакать.

Да как быть Пскову без веча.

Что то́ за жизнь унылая.

Да за что на нас такое лихо.

Не мы ли родной земле служили, и деды наши, и прадеды.

Не мы ли немцев отбили при Владимире.

Не мы ли били их при Александре на Чудском озере.

Горели на солнце наши доспехи, когда мы шли в бой.

Да не из Пскова ли была Ольга, святая княгиня киевская.

До сих пор видим ее крест у Троицы.

За что ж нам бесчестье?

Плакали псковичи и обнимались, прощаясь, как перед смертью.

Но не посмотрели на их слезы. Тринадцатого января сняли вечевого колокол, положили в сани и отвезли на Снеготорское подворье. Темной ночью, как тати награбленное, вывезли с подворья, увезли к Василию Ивановичу в Новгород.

С того дня псковские колокола скликают только на молитву да на пожар. Кончилось вольное кричанье, самолюбивые перебранки, — Москва решает, как Пскову жить.

Милости его, проклятого, нахлебались мы по горло и выше горла.

Из Среднего города, Застенья, псковичей всех чисто вывели, указали строиться по околицам и на посаде. Дворы их отдали москвичам — чиновникам, боярским детям.

Триста семейств, самых именитых, привычных к почету и неге, вывезли в Москву. Рыдая, садились они в сани

с детишками и старыми стариками, прихватив только из одежды кое-что; больше ничего взять не позволили, разорили сполна. На их место в готовые хоромы — чаша полная — приехали купцы из Москвы и десяти городов других. Чем бы лучше были эти города, чем наш Псков? Тем лишь, что славы и богатств таких не имели.

И стал он брат, проклятый, с товаров пошлины, а прежде псковичи торговали беспошлинно.

И вместо своих сильных людей стали простой народ обижать и теснить пришлые сильные люди. И такого притеснения еще во Пскове не видели. А московские присланные пищальники ходили с пищальями и смотрели, чтоб народ не возмутился.

Возмущаться народ был слаб. Но стал бежать кто куда, покидая жен и детей. Иностранные купцы разъехались по своим местам. Нечем стало псковичам гордиться. Разве что крестом княгини Ольги.

Кончился Псков, брат Великого Новгорода.

Когда воспрянешь, Псков?

Когда воспрянешь, старинная кичливая вольность?

Воспрянешь ли?..

И все он, проклятый, творил лукавством.

Как жирный кот с мышами, играл с людьми.

Лукавством погубил и Шемячича Северского. Заманил в Москву ласковыми письмами, обещал награды за верную службу. В Москве взяли Шемячича за могучие руки, сняли с него меч, которым он служил верно, — только и видели Шемячича.

А в деле племянника Дмитрия обманул проклятый родного отца. Тот на смертном своем ложе велел привести Дмитрия к себе. Дмитрий, когда-то царь боговенчаный, в нежной юности был заключен, узником провел годы возмужания. Одичалого, привели его к умирающему деду, который из прихоти вознес его, из прихоти и поверг.

— Внук милый, — сказал Иван Васильевич, — прости меня, согрешил перед богом и перед тобой. Будь свободен.

Дмитрий, заплакав, упал на колени. Ему уж представилось, что двери его темницы распахнуты. Но едва вышел из дедовой спальни — подошли стражники, отвели назад в комнату, где он томился.

И больше его Василий Иванович оттуда не выпустил. Кормил сытно. одевал-обувал, как пристойно быть

одетым-обутым царевичу, но простора божьего Дмитрий не увидел. В той комнате и кончился, убитый тоской, и бездельем, и неприкаянностью своей молодой силы. Птица в клетке и та не живет — мучается. Человек в клетке вовсе не может жить.

* * *

Умирает любознательный ум, склонный задавать вопросы, не относящиеся к обыденной жизни, и искать ответа на них. Ему был отраден вид книги и ее запах. Куда больше, чем бояр, он уважал дьяков — сильно грамотных, легко держащих перо в пальцах, знающих могущество письменности и думающих трижды, прежде чем начертать слово на бумаге.

Став властелином, он пошел по дворцу, где прежде многое было для него закрыто, и среди всякого накопленного добра увидел груды книг, толсто покрытые паутиной и пылью. Что это, спросил. Ему ответили — эти духовные книги собирал покойный государь и привезла покойная государыня Софья Фоминишна; да вот так и лежат.

Книги были на греческом языке. Василий Иванович спросил — кто бы их мог прочитать, отобрать лучшие и перевести на славянский. Долго искали такого человека — в России, Македонии, Фессалонике, Болгарии, — наконец нашли на Афонской горе ученого монаха Максима. Он всю молодость прожил в Италии, слушал там лекции во многих городах, знал разные языки, а сам был грек.

В Москву он ехал два года: через Константинополь, Крым, Перекоп. Приехал — носатый, черный как уголь, в черной одежде. Засел разбирать книги и составлять их описание, потом перевел Толковую Псалтирь. С ним были два писца, тоже монахи с Афона, из них один, болгарин, учил Максима славяно-русскому языку. Да еще Василий Иванович приказал дать Максиму в подмогу двух посольских толмачей и двух переписчиков.

Большое поднималось дело, нешуточное. Его пора бы начать давно. Не спохватились, не расшевелились вовремя...

Православную веру терзали ереси. Незадолго до воцарения Василия Ивановича было сожжено в Москве и Новгороде несколько еретиков — попов, чиновников из

жидовствующих. Сожжение помогло мало, ересь, скрываясь, жила, тут и там вставали ругатели и искажители Христовой веры. Они отвергали божественность Христа, хулили иконы и святых угодников, обличали священников и монахов, а руководствующих книг, чтоб спорить с нечестивцами, в России почти не было, и они нужны были позарез для государственного покоя и порядка в мыслях.

Максим Грек угодил Василию Ивановичу своим старанием. А также своим нравом, приветливым и общительным, скромностью без угодничества, достоинством без чванства, живой быстрой речью, никогда не скучной. Василий Иванович заходил с ним побеседовать, порасспросить, как люди живут на свете.

Чего этот монах не повидал. Рассказывал про доброго сеньора Пико де Мирандола, у которого жил при дворе как учитель греческого языка; какую библиотеку имел сеньор Пико и как покровительствовал живописцам, поэтам и музыкантам, они к нему приходили по вечерам и он им отдавал предпочтение перед знатными гостями, и поэты читали стихи, а музыканты играли на арфах и виолах, и при этом присутствовали все учителя и переписчики книг, жившие во дворце на жалованье, и даже простые слуги теснились в дверях, наслаждаясь искусством и совершенствуя свой вкус.

И как все члены семьи Пико, просвещенные человеколюбцы, негодовали против папы Александра и рукоплескали настоятелю флорентийского монастыря святого Марка, отцу Джироламо, который в бесстрашной проповеди обличал разврат духовных и светских вельмож.

О, что это была за проповедь, она гремела как колокол по всей Италии, сотрясалась громада Ватикана, сотрясались сердца, слушатели рыдали и в корчах раскаянья падали ниц! Может быть, Джироламо несколько далеко зашел в своем священном неистовстве, он и искусство объявил развратом, ликованием сатаны, разжег костры на площадях и потребовал, чтоб люди сносили туда картины и книги мирского содержания. И они понесли! Банкиры, лихоимцы, присвоители денег, принадлежавших сиротам, женщины такой красоты, что страшно взглянуть им в лицо — все они, платившие несказанные суммы за картину, вышивку, старинный свиток с тонкими рисунками, понесли эти сокровища к кострам Джироламо, кидали их в огонь с криками восторга, вы-

хваляясь друг перед другом числом своих жертв и их ценностью, — право, государь, надо быть великим пророком, чтоб достигнуть такой власти над душами!

Правда, я до сих пор не уразумел, как согласовать преклонение сеньора Пико перед искусством с преклонением сеньора Пико перед Джироламо. Или, быть может, в поступках смертного не следует искать согласованности.

Кончилось смятением и пеплом. Громада Ватикана раздавила пророка, он был осужден и сгорел на костре. Сеньор Пико с семейством бежал в Баварию от наступающих войск французского короля. Пылкий Максим, чтя память Джироламо, постригся в монастыре святого Марка. Но там уже не было прежнего пламенного духа, иной дух господствовал — бдительности и подчинения папе. Максим затосковал и ушел на Афон.

Я затосковал, государь, по жизни духовной, отрешенной от суеты. Суета вьет гнезда не только в залах, где поют и играют. Она вьет их на площадях, где пылают костры покаяния, и в храмах, где блудницы, терзая одежду на груди, с воплями рвутся к кафедре проповедника.

Я загрустил о строгих монастырях моей Греции, где вокруг обители плавными волнами расходятся горы, где мало вещей, отвлекающих от молитвы, и ничем не отвлекаемый взор глубоко погружается в пустынную синеву воздуха.

Ничего о себе Максим не скрывал, выкладывал все чистосердечно. Что, рожденный в православии, был в юности униатом. А при дворе Пико вовсе стал католиком. Молился по-латыни, крестился католическим крестом. Потянуло к родимой истинной вере — вернулся к ней.

Говорил о своих грехах не сокрушаясь, походя. Будто и греха никакого нет — отступить от истинного учения и блуждать из веры в веру, как из страны в страну. Даже когда рассказывал, как впал одно время в чернокнижие — астрологию изучал и составлял гороскопы, — улыбался, рассказывая, смешно ему было.

* * *

Еще больше, чем Максима, Василий Иванович ценил Вассиана Патрикеева.

Кто был Вассиан? Некогда один из самых влиятельных и богатых сановников, затем — узник в оковах,

ожидающий, когда ему снесут голову на плахе. Теперь он — что? Бил лбом перед иконами, благодаря за свое спасение? Стелился травой перед Василием Ивановичем, чтоб загладить былые вины?

Нет, он сидел у окна кельи покойно и вольно. Лебединым пером писал свои трактаты или же, сощуриив припухшие важные веки, глядел задумчиво в сад, шевелящийся за окном. Что значит душа живая. Насильственно отторгнутый от мира, новый нашел в затворе мир, новыми вспылал страстями. Об отнятом имении и не поминал, презрел: с младенчества всем был пресыщен.

Тем легче было презреть, что кушанье ему приносили от Василия Ивановича, и веригами себя не обременял, и работой никто в Симонове монастыре не дерзал удручать рожденного князя Патрикеева, государева любимца и родича.

Лишенный коней и карет, как он был величав, шествуя пешком, в длинных черных одеждах, с четками на белой руке.

Трактаты он писал об иноческой жизни.

Ему в этой жизни не хватало святости.

Он всколыхнул старый, притихший было спор нестяжателей со стяжателями.

Жизнь иноческая, писал Вассиан, должна быть евангельски совершенной. Какое ж совершенство видим? Монастыри владеют землями и селами, рабы на них работают. Вошедши в монастырь, не перестаем чужое себе присваивать всяческим образом, то с бесстыдным ласкагельством выпрашиваем у вельмож, то покупаем. Смотрим в руки богачей, раболепно угождаем им, чтоб выманить или деревнишку, или серебришко. Объезжаем монастырские имения, собирая доходы, и неисправных плательщиков истязаем бичом, и отнимаем последнее. Даем деньги в рост и взыскиваем проценты, влачась по судам.

Но так всегда было, отвечали стяжатели, защитники монастырских имуществ. Со времен преподобного Феодосия Печерского монастыри владели имениями и приумножали их. Это достояние нищих и убогих, и на то есть постановления святых соборов, и так написано в Кормчей книге.

Ну что ж, отвечал Вассиан, стало быть надо пересмотреть Кормчую и навести в ней чистку. И продолжал обличать архиереев и монахов, что обижают, грабят.

продают христиан, свою братию. Звал иноков покидать богатые монастыри, разбредаться по дремучим лесам, селиться в скитах по три, четыре человека и жить в безмолвии и молитве, кормясь трудами рук своих.

Годами он так писал и не уставал, видя в этом смысл своего существования.

Но немногие разделяли его мысли, и никто по его слову не ушел спасаться в дремучие леса. Большинство монахов и попов на Вассиана злобилось, тем более что Василий Иванович не позволял грубо писать против него даже такому почтенному писателю, как Иосиф Санин, основатель и игумен монастыря в Волоке Ламском.

Слог у Иосифа был лучше, чем у Вассиана, и книг он прочитал столько, как никто на Руси, и всю жизнь бился за чистоту веры.

Если б не настойчивость и красноречие Иосифа, не были бы преданы огненной казни ерегики жидовствующие, он в этом деле переспорил, одолел самого великого князя Ивана Васильевича.

Так же яростно стоял он за монастырское имущество. После падения Константинополя, учил он. Москва есть средоточие и оплот православия, на Москву взирают народы в чаянии хлеба духовного. Москва есть Третий Рим! Откуда же черпать московскому православию миссионеров, наставников, устроителей веры? Только из монастырей, где способный человек получает знания и готовится к высшему пастырскому подвигу. Но чему научится человек, даже способный, живя в лесах с медведями? Да захочет ли способный человек постригаться, чтоб жить с медведями?

Монастырское имущество, учил Иосиф, служит возвеличению православия и через то державы Московской. Проклят, кто это имущество тронет.

Василий Иванович читал обоих, и ему нравились и резкие, с издевкой, писания Вассиана, и строгие, благообразные поучения Иосифа.

Рассуждения Вассиана были привлекательны: очень бы заманчиво отобрать обширнейшие, доходнейшие монастырские угодья. То-то бы казна вспухла! Действительно, чего надо постриженнику? Его дело известное — смирайся да постись. Проклятие? Пустое: не отважатся проклясть... Но Третий Рим! Но взирающие народы! Но слава!.. И, сочувствуя Вассиану, Василий Иванович все-таки продолжал дарить монастырям землю, деревень-

ки, денежные суммы — не чрезмерно большие: и на достояние нищих и убогих не покушался.

Но Вассиан не только обличал; в своем уединении он много чего передумал, о чем не думают в княжеском состоянии, мысль его научилась взлетать высоко над земною злобой, и в этом-то и было для Василия Ивановича веселье и умягчение души. Шуря набухшие веки, с передышками роняя слова, Вассиан толковал о дивном устройстве вселенной — из чего состоят звезды и из чего, скажем, кометы, и по какой причине звезды всегда на одном месте или сдвигаются немножко, а солнце и месяц ходят кругом земли, а кометы показываются лишь перед каким-нибудь несчастьем. И почему в семитысячном году от сотворения не произошло конца света, как было предсказано, и о прочем тому подобном. Кое до чего Вассиан достиг своим умом, кое-что слышал от приезжих из тех стран, где об этих вещах больше думают, чем у нас.

Василий Иванович слушал и пренесполнялся гордостью, что бог вложил в него тяготение и понятливость к таким премудростям — свойства, отличающие. разумеется, человека среди всех земных существ: но далеко ведь не всякого человека! Волосы и борода Вассиана были шелково расчесаны, от рясы пахло ладаном и душистыми травами. Где еще, думал и говорил Василий Иванович после этих бесед, где отыщешь таких собеседников и столько тишины и свободы для размышления, как в монашеском житии? Конечно, не в лесах с медведями: вот так бы, как Вассиан. Ах, удалиться сюда навек, носить смиренное платье, не отягчающее плечи, ходить в безмятежности по этим садам, стоять на молитве без суетных мыслей!

Я бы принудил себя забыть суету. Научился бы думать лишь о высоком, а становясь на молитву, не думать ни о чем, кроме молитвы, — иметь сердце, безмолвствующее от всякого помысла, как велят святые отцы. Для этого, учат святые отцы, надо сдерживать дыхание, дышать сильно, но не часто, тогда ум становится глух и нем и человек предан молитве всецело, и молитва его возносится как быстролетная птица. Ах, как заманчиво это и прекрасно — принадлежать лишь себе да богу. Ах, я постригусь. А они там пусть как знают.

Но, конечно, не постригся. Просто баловство, воображение. Слишком любил свои дела земные. Слишком был — плоть, хотя и влекущаяся к духу.

И кто бы ему дал прогуливаться в монастырских садах? Высшая власть дело такое: упустил ее из рук — конец тебе.

Как он сгноил Дмитрия в темнице, то бы и с ним сделали. Либо — оно проще и скорей — удавили бы в келье.

Не удавили, не сгноили, своей смертью доходит. Все слабей толкается сердце о ребра. За каждым его толчком во все глаза наблюдают стоящие вокруг постели. Когда останется два-три вздоха — принесут ножницы и монашеские ризы, постригут. На краю могилы это сбудется.

* * *

Умирает добрый семьянин, горячий отец. Уж так любил жену и деточек, особенно старшенького. Уезжая, тосковал по ним и писал жене письма:

«Отпиши, как тебя бог милует и как милует бог сына Ивана. Да побаливает у тебя полголовы, и ухо, и сторона; так ты бы ко мне отписала, не баливало ли у тебя полголовы, и ухо, и сторона, обо всем этом отпиши».

«И о Юрье сыне ко мне подробно отписывай, как его станет вперед бог миловать».

У сына Ивана вскочил нарыв. Елена Васильевна не сразу известила мужа. Он ей выговаривал в тревоге:

«Ты мне прежде об этом зачем не писала? И ты б ко мне теперь отписала, как Ивана сына бог милует, и что у него такое на шее явилось, и каким образом явилось, и как давно, и как теперь. Да поговори с княгинями и с боярынями, что это такое у Ивана сына явилось, и бывает ли это у детей малых? Если бывает, то от чего бывает? С роду ли, или от иного чего? Обо всем бы об этом ты с боярынями поговорила и их выпросила, да ко мне отписала, чтоб мне все знать».

Слишком даже был заботлив. Раскрывал над ними крылья как насадка:

«И о кушаньи сына Ивана вперед ко мне отписывай, что Иван сын покушает, чтоб мне было ведомо».

Молоденькая, во все сам вникни и ее научи. Молоденькая, косточки нежные. Над высокими нарумяненными скулами глаза лучатся, играют. Тонкий белый пробор в волосах. Положишь ладонь на маленькую эту головку — ладонь теплеет. А ему, когда он на ней женился, было сорок шесть.

Ее воспитывали на иностранный лад, научили обходиться с людьми учтиво и приятно. Глинские были выходцы из Литвы. И в Москве, где росла Елена Васильевна, у них бывали немцы да поляки, и она не сидела взаперти, как московские боярышни, а выходила к гостям и разговаривала с ними. На шутку она смеялась звонко, не закрывалась рукавом. Сама пошутит, чтоб пошутить Василия Ивановича. Не выступала глупой павой — весело, молодо ходила.

Во дворец за ней привезли сундук европейских нарядов. Иной раз надевала их, чтоб Василий Иванович полюбовался; чтоб сильнее любил. Хороши, соблазнительны были мягкие льющиеся шелка. Обтянутая тесным рукавом юная рука выше локтя видна как нагая. Грудь подымала шелк, в поясе — диву даешься, до чего тонко. Не то что московская одежда, мешок на мешке, и не увидишь, где грудь, где что. На людях, впрочем, великая княгиня в европейских платьях не являлась.

А он был низкорослый, грузный — в мать. На длинном полном лице — русая с проседью борода двумя потоками, от нее лицо казалось еще длинней. Снимет сапоги с высокими каблуками, снимет идольские одежды, станет босой, крестясь, перед супружеским ложем, — мужик мужиком.

— Зачем борода! — шепнула Елена Васильевна. Он слова не сказал, сбрил бороду. Ты молоденькая, так ведь и я не стар, скажи, что не стар. Скажи, что не только я тебя выбрал. Не только свыше отмечена — мол, радуйся, благодатная, благословенна ты, — а и сама меня выбрала, смеясь и резвясь. Скажи, что нравлюсь тебе.

— Напиши папе в Рим, — шептала Елена Васильевна, — пусть даст тебе королевский титул, ты будешь могучий и славный король!

Хотелось ей, голубушке, быть королевой. И он стал об этом подумывать — в самом деле, а не послать ли к папе верного человека закинуть удочку? Но так и не собрался.

— Освободи дядю! — шептала. Дядя, Михаил Львович, тринадцатый год сидел в темнице, в цепях, за измену. Василий Иванович не послушал императора Максимилиана, когда тот просил его освободить узника; а перед ночными шепотами не устоял. Покряхтел — не надо бы освобождать, непоседлив, неверен, — и освободил.

Дядю, видно, долгое заключение усмирило, сидел тихо. Оказался кладезем житейской мудрости. Во всяком затруднении мог подать совет и на все пример находил из истории. Когда в истории есть пример, то затруднение кажется не таким уж тяжким; спишь спокойней, узнав, что подобное случилось и с другими коронованными особами.

Под конец дядя сумел стать необходимым. Бояре обижались, что Василий Иванович с ними о делах не думает, а думает втроем — у постели.

А в дальней дворцовой комнате стояли две кровати с загородками. Заповедная милая комната, увенчание любви. В кроватках спали сыновья Иван и Юрий. Иван двумя годиками старше Юрия, разумное, живое дитя, надежда, отрада. Юрий, тот был поплоче — вялый, непонятлив. За ними ходили мамушки, нянюшки, бабушки. Наряжали, забавляли, мыли то в отрубях, то грешкой губкой, намыленной благовонным мылом, чесали волосики гребешками слоновой кости.

Василий Иванович заходил вечером, отодвигал полужок, крестил одного сына, потом другого. пухлая рука вздрагивала от великой нежности и великого страха.

Где только мог, старался не расставаться с ними. Будто чуял, что разлука близка.

Вот и в последнее пускался странствие — взял их с собой. За его поездом следовал поезд Елены Васильевны: впереди стража верхами, за стражей в карете Елена Васильевна с детьми и мамками, сзади княгини и боярыни — кто в карете, кто в возке. В обозе на простых возах — слуги со всякой снедью, какой в дороге не разживешься, с шубами и кошмами на случай холода, а в самом хвосте опять стража, вздев бердыши, на сытых конях. Обочинной мужик шел, игрушечник, нес на ярмарку раскрашенные глиняные дудки. Елена Васильевна купила детям по дудке. Ваня обрадовался и дудел всю дорогу, а Юрко дудеть еще не понимал, но тоже радовался Ваниному дуденью.

* * *

Семьянин! Нарушитель святости брачного союза, насильник, поправший клятву, данную перед алтарем! Иди, иди, гори на вечной сковороде! Что он, окаянный, сделал с первой своей женой, Соломонией? Ахнули правед-

ники на небе и грешники на земле, когда он заплатил Соломонией за ласки девчонки Глинской!

Двадцать лет прожили. Сколько всего было. В глаза ему смотрела, для него бы дала свое тело на раздробление. Да что говорить. Двадцать лет! Нечистый пес и тот за годы так привязывается к человеку, что умри человек — подыхает и пес от горя.

А тут молоденькая глазами ему поиграла, и Василий Иванович стал Соломонии хуже самого страшного врага. словно другой половиной лица к ней обернулся, и человеческого в этой половине не было, только зверское.

И будь, скажем, Соломония безобразная, худая: так нет же, красавица из красавиц. Из всех городов свезли когда-то девиц на смотр, полторы тысячи девичьих душ, выбирать Василию Ивановичу невесту; и не нашлось лучше Соломонии.

Если даже за двадцать лет она подурнела, — вместе же, бок о бок, дурнели. На себя бы хорошенько посмотрел в зеркало: сам, что ли, все тот же молодец, кровь с молоком?

И мало было ему развестись. Мало развязать себе руки, чтобы с новой зазной тешиться. Он еще хотел, чтоб Соломония ушла опороченная и виноватая; а Елену, проходимку, чтоб встретили как богоизбранную деву, будущую мать будущего властелина. Потому причиной развода он выставил не любовь к Елене, Елены и речь не коснулась, причиной развода Василий Иванович выставил то, что у Соломонии не было детей.

Не было, верно. Она по монастырям колесила, молила угодников, призывала баб-зелейщиц, чародеек, обаянниц. Те давали пить травы, читали в волшебных книгах, наговаривали масло, воду, мед. Водой кропили Василий-Иванычевы сорочки, маслом и медом натирали Соломонию — все зря. Выписывал Василий Иванович волхвов из Корелии; тоже не помогло.

Задумав развод, он стал жаловаться громко.

— На кого я похож, — говорил, — ни на птиц небесных, ни на зверей земных, потому что они плодovitы. Ни на землю, потому что и она приносит плоды свои. Горе мне!

И платком утирал слезы.

— Кто после меня будет царствовать? — говорил. — Отдать Русскую землю братьям? Они и уделов своих устроить не умеют.

Он велел Соломонии постричься. Она отказалась. Тогда митрополит Даниил, мужчина угодливый и сообразительный, сказал:

— Государь! Неплодное дерево исторгают из сада.

И другие, кому нравилось кадить идолу, стали просить Василия Ивановича развестись с Соломонией и жениться другой раз для пользы державы.

Соломонию постригли насильно. Она падала в обмороки, кричала, сорвала и топтала монашеский куколь, и боярин Иван Шигона ударил ее плеткой. Через все Василий Иванович переступил, стремясь к своей любви.

Переступил и залил кровью всякий косою взгляд и всякое неодобрительное слово.

Князя Курбского угнали в ссылку. Дьяку Федору Жареному отрезали язык за ругательные речи об Елене.

Спорщику заядлому, постылому — боярину Берсеню Беклемишеву — оттяпали голову, чтоб больше не спорил.

Ни друзей не пощадил, никого. Вассиан Патрикеев, возлюбленный собеседник, осудил развод, — Вассиана услали к его зложелателям-стяжателям в Иосифов монастырь: пропадай у ненавистников в когтях! На Максима Грека поступил донос. Сделали обыск, нашли писанную Максимом тетрадь, послание: «Против мужей, оставляющих жен своих без вины законной». Обвинили Максима в ереси, в умышленной порче святости книг, которые он перевел. Все давние грехи ему припомнили, астрологию и прочее. Засадили в подземную темницу, даже в церковь не позволили выводить и причащать.

Большая цена была заплачена за любовь. Не всякому по карману.

А Ивана Шигону Василий Иванович обласкал и приблизил.

Мил ему стал Шигона.

Пострижение Соломонии было в ноябре. В январе Василий Иванович справил свадьбу с Еленой. Спешил к своей любви.

Соломонию увезли в Суздаль. Оттуда спустя сколько-то месяцев донесся мутный недостоверный слух. Будто, когда ее постригали, она была беременна. А в Суздале родила будто сына и скрыла с помощью сердобольных людей, чтоб Василий Иванович и Елена его не сгубили. Имя сына передавали: Георгий.

И через это переступил Василий Иванович. Он тогда как раз сбрил бороду, ходил с голым подбородком

и голыми щеками, обуянный любовью до помрачения.

Впрочем, многие не верили слуху и полагали, что Соломония налгала по злобе.

Знала бы теперь, что его часы сочтены. То-то бы возликовала. «Возрадуется праведник, когда увидит отмщение; омоет стопы свои в крови нечистого. Кровожадные и коварные не доживут и до половины дней своих».

* * *

А была Соломония из рода Сабуровых. Этот не важный, не боярский даже род происходил от татарина мурзы Чета, приехавшего из Орды на русскую службу в княжение Ивана Калиты.

От того же мурзы Чета произошел другой невзрачный род — Годуновых.

Когда в свое время Соломонию Сабурову избрали в супруги Василию Ивановичу, ее родня приблизилась к ступеням трона. И где-то в сторонке, зная свое место, низко кланяясь родовитым и знатным, встали невзрачные, невидные Годуновы...

* * *

Что сделано — сделано. Не было пользы думать, как сделано.

Какое ни есть, оно свершилось именно так, а не иначе. С этим уже ничего не поделаешь.

Что есть, то и перейдет к сыну.

Думать надлежало о том, чтобы распорядиться государством и семьей и отойти как подобает избраннику.

Рана больше не росла и не болела. Только дух от нее был тяжкий и смертная вытекала понемногу вода.

— Николай, — сказал Василий Иванович врачу, уже не надеясь, — ты видел мое жалованье великое. Можешь ли что-нибудь такое сделать, новую мазь или другое там что, чтобы меня излечить?

— Я видел твое жалованье великое, — сказал Николай, — и я бы тело свое для тебя раздробил, но не знаю такой мази и другого не знаю ничего.

— Тогда чего бы прикладывать, — спросил Василий Иванович, — или что бы такое пустить в рану, чтоб не было непристойного духу?

— Надо курить, — отвечали врачи и стали лить на горячие жаровни благовонный уксус.

Боярин Михайла Захарьин сказал, утешая:

— Есть, государь, от духа средство. Обождавши день-другой, когда тебе полегчает, прикажи водки пустить в рану.

Но Василий Иванович возразил:

— Нет! Не полегчает. Николай узнал мою болезнь: неизлечимая! Надо промышлять, чтоб душа не погибла навеки.

И его стали причащать и соборовать, и понесли из церкви чудотворные образа и мощи, кадили и пели, хлопота об его душе, и он лежал подпевал: «Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, боже!» Но между тем велел дьякам писать духовную грамоту, завещание, созвал бояр и распорядился здраво и твердо, как быть после него царству.

— Даю мое государство, — сказал, — сыну моему Ивану. И вы, бояре, боярские дети и княжата, как служили мне, так служите и сыну моему Ивану прямо и неподвижно.

— На недругов все будьте заодно, — наказывал, — дело земское берегите и делайте сообща, чтоб никакой в вас розни не было.

Об Елене Васильевне все сказал: как ей без него жить, как боярам к ней ходить. Старался не думать и виду не подавать, что кто-нибудь может послушаться, поступать не так, как он велит, и что тогда будет с женой и детьми. С надеждой устремлял взор на прощенного изменника Михаила Львовича Глинского: как-никак не чужой ей — дядя.

Распорядясь и молясь деятельно, слабел час от часу. То, чтоб причаститься, вставал с кровати и садился в кресла, а то уж и голову от подушки оторвать не мог, приподнимали его под плечи. Перестал есть совсем: принесли миндальной каши, он в рот не взял. Стал забываться: закрывает глаза, и голоса уйдут далеко, и встают видения.

Тогда сказал привести Елену Васильевну и сыновей, проститься. До того не впускал: боялся, увидят его — испугаются. К их приходу причесали и покурили хорошенько.

Елена Васильевна вошла и сразу закричала, стиснув руки над головой. Так ей полагалось — кричать сколько может громче. Но помимо того ей в самом деле было

люто страшно. Пол закачался, как обступили эти волосатые лица; как подумала, что в этих ручищах остается с детьми. Вон два деверя уставились из-под насупленных бровей, о, горе горькое! Два Василий-Иванычевы родные брата, Юрий и Андрей, тоже наследники, о, злосчастливая я! Либо я их кончу, либо они меня, третьего нет исхода, о зачем ты меня, мати, на свет родила!

Бояре держали Елену Васильевну, чтоб не билась, а она пуще кричала, и, хрустя, металась над их головами ее заломленные руки.

— Перестань, — сказал Василий Иванович, ему невыносимо было слышать, как она кричит. — Не плачь, мне легче, не болит ничего.

Она притихла и спросила:

— На кого меня оставляешь? Кому детей приказываешь?

— Я сына Ивана благословил государством, — сказал Василий Иванович, — а тебе написал в духовной грамоте, как прежним великим княгиням писалось.

Он хотел поговорить с нею, наставить ее для новой, вдовьей жизни, но она опять закричала, ужаснувшись его вида и голоса, и не слушала. И, в последний раз поцеловав горячее милое лицо, он приказал ее увести.

Измучило его это прощанье. Соленые слезы, буйное горе, земное незабвенное бытие. Тяжка разлука! Игра крови, веселье, удадь, дорогие забавы... Он закрыл глаза, и перед ним, у ног его коня, заскакали, завертелись собаки и зайцы. А поодаль неслась вереница охотников с протяжным криком. Сладкий холод осеннего утра коснулся его щек. «Неприлично, — подумал Василий Иванович, — неприлично мне сейчас иметь такие видения», — и призвал святую Екатерину. Она сошла к нему в шелковых мягких покрывалах, босая нога показывалась из-под одежд, когда она приближалась сильным крупным шагом. Они беседовали. Стоявшие у постели слышали явственно, как он сказал ей тяжелым языком:

— Так, великая Христова мученица Екатерина: пора царствовать. Так, госпожа: царствовать.

С этими словами открыл глаза. Тут ему поднесли ее мощи, он к ним приложился. Велел читать отходную. Спросил протопопа Алексея:

— Ты бывал при том, когда душа разлучается от тела?

— Мало бывал, — отвечал протопоп.

— Так стань против меня, — сказал Василий Иванович, — и смотри. Как увидишь, что стала душа от тела разлучаться, дашь мне причастие. Смотри рассудительно, не пропусти.

Протопоп боялся пропустить и спросил у Ивана Шигоны:

— Как же я увижу, что душа начала разлучаться?

— Увидишь, — пообещал Шигона. — Дух будет выходить в виде тонкого облака.

Все стояли и смотрели. Крестовый дяк читал отходную. Позади, у дверей, слышалось шевеленье и перешептыванье, шу-шу-шу — что-то вносили, выносили, готовили.

Прислонясь к кроватному столбику, стоял, крутя седой ус, Михаил Львович Глинский. Левая рука молодецки уперта в бок, свешивается с плеч кунтуш, обшитый мехом.

О чем думает Глинский, с приличной сосредоточенностью наблюдая уход своего господина? Уместней бы всего размышлять сейчас князю Глинскому о бренности всего сущего, о превратностях рока. Что за жизнь прожита, что за жизнь. Сражения, восстания, триумфы, бедствия. Доблестный рыцарь, служил своей саблей курфюрсту Альберту, императору Максимилиану, королю Сигизмунду, великому князю Василию — всем, кто мог хорошо заплатить за труды полководца. Живал в Вене, Италии, Испании. Какие города, ландшафты. Какие женщины. «Инезилья, у сердца храню твой цветок...» Хотите по-французски, пан? Можно по-французски. По-немецки? Проще пана. Ругаться — на всех языках Европы и по-турецки...

К Василию Ивановичу он переметнулся из Литвы, поссорившись с Сигизмундом. Почему он поссорился с Сигизмундом? Тот отказался выдать ему головой врага его пана Заберезского. Михаил Львович взял семьсот конных воинов и пошел с ними в Гродно, где жил Заберезский. Ночью они окружили усадьбу, и двое наемников, немец и турок, ворвались к Заберезскому в спальню и отрубили ему голову. И четыре мили несли на древке эту голову перед Михаилом Львовичем, когда он с торжеством возвращался домой.

Торжество-то торжество, но Сигизмунд рассердился, и литовские паны стали собирать людей и точить оружие на Михаила Львовича. Он послал своих ратников с ними

рубиться, а сам с братьями, чадами, домочадцами, прихлебателями бежал в Россию. Но Василий Иванович, проявив ласку, не проявил щедрости: дал Михаилу Львовичу для кормления Медынь и Малый Ярославец, а Михаил Львович не хотел Медынь и Малый Ярославец, а хотел Смоленск. Обидевшись, он побегал обратно в Литву, к Сигизмунду, но его догнали и заковали в железо. Не сносил бы головы, если б не догадался объявить, что желает вернуться в лоно православия (в Италии принял католичество, иезуиты уговорили). Положим, и православие не вызволило из оков; так бы и сгнил в них, если бы на воле не произошли чрезвычайные события — племянница Леся вышла за государя.

Чего не бывает на свете, матка боска. Качают нас качели Фортуны — вверх, вниз, вверх, через перекладину держись, не зевай! Вчера плясали удало, сегодня сидим на цепи в дерьме. Завтра опять запляшем, трезвоня шпорами. После этого говорите мне, что стоит отчаиваться даже в крайних положениях.

Теперь Леся будет правительницей. Хм, она молода, неопытна... В задумчивости стоит Михаил Львович, крутит ус.

Вытянув шею, жаркими жадными глазами смотрит через головы на умирающего боярин Иван Федорович Овчина-Телепнев-Оболенский. Вот у кого все впереди. Лет немного, дерзости хоть отбавляй. Мощно дышит широкая грудь, разрываемая нетерпением. Из приличия темное платье надел. В другие дни наряжался как райская птица. Сапоги носил ярко-красного цвета, на таких высоких каблуках, что только пальцы касались земли. Перстни на руках. Запоны сверкающие. Даже, слух ходил, под рубашкой, где не видно, носил пояс с золотом. Он щипцами выщипывал волосы на лице. Румянился, как женщина, душился благовониями. И теперь сквозь дух от раны умирающего, сквозь уксусные пары и ладанный дым стоящие у двери различают аромат розового масла от князя Овчины. Косятся: дождался жеребец своего часа. Литовская проходимка вдовой остается, изменничья кровь, яблоко от гнилой яблони...

Ах-ах, вдовой остается Аленушка, любя моя шелковая! Он умрет, а мы жить будем. Его вынесут вперед ногами, а я буду по этим палатам прохаживаться вольно, стук-стук серебряными подковками. И поживем же с ней, уж поживем!

Качаются качели. Что ты знаешь о своем конце, все-светно знаменитый князь Глинский? Можешь ли думать, что племянница уморит тебя голодом в той самой темнице, откуда освободила? А ты, молодой красавец, от страсти к которому у Елены Васильевны затмится разум? Недолга и твоя с ней прогулка, после того как упокоится в Архангельском соборе прах Василия Ивановича. Кто ей, Аленушке, Лесе, правительнице, подсыплет отраву? Так и останется неизвестно. Может, он тут сейчас стоит, Овчине в плечо дышит...

Братья Василия Ивановича, Андрей и Юрий, держатся смирно. Тише воды, ниже травы. К знатым боярам — с угодливостью, хотя по рождению царевичи. Всю жизнь тише воды, ниже травы. И все равно не поможет. Иметь право на власть — самая опасная крамола. Кто тебе поверит, что ты не хочешь власти, когда у тебя есть право? Нынче, может, и вправду не хочешь, а завтра вдруг захочешь? И захочешь, и захочешь, потому что тебе в твоём царевичевом состоянии податься некуда, либо властвуй, либо прощайся, сначала с волей, а там, не погнавайся, и с жизнью, это и старцам седовласым известно, и Елене Васильевне с Овчиной...

А кто знает, какой бы вышел властитель из Юрия Ивановича? Из Андрея Ивановича? Пригнулся человек, дышать боится, а посади-ка его на престол? Тоже восседал бы идолом. И кто его знает, таким же, может быть, оказался рачительным хозяином державы — а то и лучше?

Ничего нельзя сказать без проверки. Государственный ум по делам узнается...

Жарко в спальне. Изразцы печи накалились, не тронешь рукой. Парно, как в бане. По багровым лицам пот стекает в бороды. Туманными языками горят свечи, чудно отражаясь во всех глазах. От духоты — о, господи! он когда еще помрет, а я сейчас задохнусь, право слово, — от духоты мерещится, что плывет комната, как корабль, плывем все невесть куда...

В зимнюю ночь плыла комната, в свирепый мороз. Морозило по всей России.

Мужики гнали в столицу скот, припозднились к ночлегу и боялись — скот не померз бы.

Цыган, ведший медведя, замерз еще днем. Медведь сам шел по дороге, волок за собой цепь и ревел.

Ехали послы из Европы. «Скоро ли?» — спрашивали. Им отвечали: нет, еще не скоро. Они высовывали носы из груды меховых шуб и видели все то же, что в минувшие ночи. — лес справа, лес слева, волчьи глаза в лесу, звезды в небе. Сани скользили, скользили. Послы удивлялись — до чего громадная страна.

В громадность плыла комната.

Неподалеку от кровати стоял маленький мальчик. Он был напуган криками матери и словами отходной и с дрожью озирался кругом вытаращенными голубенькими глазками. При его рождении были грозные знаменья: земля сотрясалась от громовых раскатов; молнии срывались как град. Мальчику всё уже рассказали об этих знаменьях и о том, что он собой являет, но он слишком еще был мал, чтоб осмыслить это, как осмыслил потом.

Еще ему предстояло долгое горькое сиротство. Его лишат всех, кого он любит. Его будут забывать кормить и переменять на нем рубашонку. В его комнату ворвутся среди ночи, рыча и топоча, взъяренные бояре со стрельцами, и он никого от них не сможет защитить, сколько бы ни молил; будет трястись, забившись с головой под одеяло.

В нем будут разжигать низкие, зверские свойства. Его именем будут твориться государственные дела, но Иван Шуйский, говоря с ним, в упоении наглой силы и безнаказанности положит толстую ногу в сапоге на эту самую постель, на которой кончается Василий Иванович. И все злодейское тоже будет делаться его именем, словно бы готовя мир к тому, что воспоследует.

Этот мальчик, перепуганно глядящий из угла, темная судьба страны, превзойдет всех своих предков в истреблении людей и разорении городов. Гнусное мучительство будет сладчайшей его забавой. Он сметет с лица земли почти всех, кто находится здесь в комнате, и детей их, и внуков. И по его стопам придет в Россию небывалая страшная Смута.

* * *

— Кто умирает?

— Агафья умирает. Агафья, соседка, свойственница наша. Первый раз рожала — как орех разгрызла, а ноне вторые сутки разродиться не может, беда! Через улицу слышно...

— Три алтына да три алтына, шесть алтын. Да еще три алтына.

— Откуда еще?

— Да ты сколько брал?

— Ну?

— Три алтына брал?

— Ну.

— Еще три брал?

— Ну.

— Три алтына да три алтына, шесть алтын.

— Шесть.

— Да еще три.

— Да какие еще-то?

— А рост?

— Милая моя. Как же я тебя ждал. Ты бы знала.

— Ох, что ты...

— Всего меня вымотало, измочалило, ждать тебя...

— Ох, да что ты...

— Кто я есть? Я служитель божий! Должен служить!

А они говорят — мест нет. Как так мест нет! Знать ничего не знаю, подавайте мне место!

— Тише ты!

— Что значит тише! Я митрополиту в ноги: имей, говорю, милосердие, отче! Дай служить! Негде, говорит, тебе служить: во храмах переполнение служителей. Да чем же, говорю, мне кормиться с попадьей и детьми! Когда я ничего не умею, кроме как богу служить! А он говорит — ступай, говорит, Илейка, у меня, говорит, по-важней дела...

— Вот так дом. Так ворота... А вот тут к забору прилегает сарайчик.

— Дальше.

— Через забор. И на крышу сарайчика...

— А пес?

— Пса — ножиком...

— А люди выскочат?

— Людей — ножиком...

— Храбрый ты. А они нас на вилы...

— У Курчатовых бабка померла прошлую пятницу.

До сих пор сварятся.

— А чего?

— Духовной не оставила, поделить не могут.

— Чего там делить-то после бабки. Они ее при жизни кругом обобрали.

— Не скажи. Целый сундук оставила. Спорки, подволоки, лоскуты всякие. Особенно один есть спорок суконный — обе снохи в него вцепились, и не расцепить.

— Удивляюсь людям. Сороковин не могут дожидаться, чтоб проводить старуху на покой благообразно.

— Старуха тоже хороша. Зачем духовной не оставила? Распорядилась бы — то-то тому, то-то тому. Какой спорок в чьи руки. Тогда и молодичицы не грешили бы.

— Три алтына дал тебе, да погодя еще три.

— Ну.

— С какой бы стати я их тебе задаром давал!

— Больно рост большой.

— Да ты год держал. Совсем не большой рост! Ты б еще два года держал.

— Нет, так дела не будет. Послушай меня. Пса надо брать отравой. В доме кого-нибудь надо иметь, чтоб помог. Там среди служанок подходящей девчонки нет ли?

— Всё ли пооткрывали? Может, где что забыли?

— Всё чисто пооткрывали, сама весь дом обошла, все двери настезь, и сундуки, и лари, а она все мучается, вот горе-то.

— А киот-то, киот!

— Киот забыли открыть!

— Киот откройте! Ну вот. Теперь разродится наша Агафья.

— Я отец Илия, а он мне: Илейка! Сам он Данилка, когда так!

— Выпил ты много, отец Илия.

— Данилка, Данилка, красное рыло, вот ты кто, слышишь?!

— Да цыц! Разбушевался...

— Он, Данилка митрополит. — слушай, хи-хи, я тебе расскажу, нагнись. Он сам своей здоровенной морды стыдится. Он перед богослужением — ниже нагнись! — серным дымом дышит, хи-хи, чтоб выйти с бледным ликом.

— Ну да!

— Вот крест святой! Серным дымом, хи-хи-хи!

— Хи-хи-хи-хи!

— Хи-хи-хи-хи-хи!

— Не стыдись, моя березонька. Моя ясная. Это уж мы сотворены так. Это от бога, милая. Открой свои глазоньки, посмотри на меня...

— Где я возьму тебе еще три алтына? Ну ты подумай: где мне взять?

— Антош, а Антош! Проснись, родной, сослужи службу. Антош, Антош! Что мычишь-то, человек кончается, вставай, доспишь после! Добежи до Покровки, ну что ж что темно, а ты расстарайся, доберись, сказано тебе — человек погибает. Спросишь там дом Варвары Чернавы, повивальной бабушки. У ней пояс есть из буйволово-вой кожи, буйволово-вой, буйвола не знаешь? Сей же час сюда чтоб с этим поясом шла. Без нее не вертайся, приведешь ее и пояс чтоб был, без пояса и не приходите, и скорей главное, совсем Агафье нашей плохо. Уж и кричать не может, хрипит только. Агафьюшка, свет, на кого ты нас покидаешь... Ну бежи, сынок, да все чтоб как я приказала! Этот пояс, вы знаете, помогает очень. Пошепчет над ним Чернава, наденет на роженицу, и раз, два, три, готово дело. А мы ее покамест в укроп ногами. Тоже польза бывает. Несите сюда укроп. Ничего, Агафьюшка, ничего, что горячо, ты надейся, ты старайся...

— Курчатовская бабка была очень хорошего роду. Ее родитель в рядах богатую лавку имел. Замуж шла, восемь шуб ей справили. Кабы не пожар. После пожара они захудали.

— Милая моя...

— Милый мой...

— Поцелуй...

— Чего это бояре нынче целый день взад-вперед скакали, и в санях, и верхами?

— А кто их знает. Надо им, вот и скакали.

— Великий князь, что ли, болеет, говорят.

— Говорят.

— Тоже ведь помереть может, а?

— Другой найдется.

— За этим не станет. О-о-о, раззевалась, мои матушки. Гашу светильце, что ли. Спать пора.

— Милый мой...

— Милая моя...

— Поцелуй...

Еще звезды над Москвой, но уже потянулись утренние дымы из труб и волоковых окошек.

— Кто умирает?

— А никто не умирает. Разгрызла орех наша Агафья. Пояс помог из буйволового кожи.

— Не пояс, а милость господня помогла.

— Там что бы ни помогло, а мальчик такой ровненький, да такой тяжеленький, да все кушать просит. И Агафья попросила: исть, говорит, мне давайте.

— Ожила, значит.

— Ожила! Топи, Аннушка, что это ты запозднилась, уж скоро развидняться начнет. Топи, пошевеливайся. Спеку перепечку, снесу на ребеночка.

1965

СМУТА

Мозаики

ГОЛОД

Перед тем как явиться Смуте, два года подряд не родился хлеб на Руси.

Он и всегда-то родил на срединных землях не ахти как: сам-третей — обыкновенный урожай, сам-четвѳрт — хорошо, сам-пят — уже великая милость божья. Но так как много было земли, и усердия, и пота — все же обходились, держался народ.

В 1601 году нескончаемые дожди шли весну и лето, солнце не показывалось. В середине августа, когда давно жать время, колос стоял, как трава, зеленый и сырой. А пятнадцатого числа, в день успения, грянул мороз и побил все зерно.

Собрали по закромам, что было, и посеяли, но семена не взошли: погибли в земле.

И великая сделалась беда.

Прежде всего не стало хлеба у тех, кто его сеял и собирал.

Они съели без хлеба свой скот, съели гнилое сено того года, приготовленное для скота.

Ели кору деревьев, высушивая ее и перемалывая в муку. Ели незрелые корни и желуды.

Потом бросили дома свои и пошли в города искать спасенья.

В городах же богатые заперли амбары, чтоб поднять цену на хлеб. Уже не бочками он продавался, как бывало, не четвертями даже, а малой мерой — четвериками. Но и эту малую меру мог купить только богатый у богатого.

Господа прогоняли холопов — больно дорого стало кормить; и те уходили погибать голодной смертью.

Было так: из городов идут люди по дорогам, и в города по тем же дорогам люди идут из деревень. И все за спасеньем. А спасенья нет нигде.

Но большей частью в Москву устремлялся народ. Где царь, там должна быть управа на всякую беду.

Царь Борис тогда еще царствовал.

Он велел из своих запасов продавать хлеб по сообразной цене. Но налетели перекупщики, не досталось ничего народу из царских житниц.

Борис велел раздавать бедным милостыню: по полденьги на человека. У стены Белого города поставили столы. За столами сидели государевы раздатчики. К столам стали, извиваясь, очереди. «Кто крайний? Я за тобой».

Под охраной подвозили мешки с монетой. Голодные вытягивали шеи. У них разгорались глаза... Но раздатчики, выдавая им полденьги, совали без счета своим родичам и приспешникам, которые тоже стояли в очереди, одевшись в рубище. Опять получилась нажива для тех, кто имел и без того.

Да и что полденьги, когда бочка хлеба дошла к тому времени до пяти рублей — а прежде стоила три копейки.

Чтоб не воровали пекари, им было приказано выпекать хлеб как следует, и вес был указан хлебам, и величина. Но хлебы все равно продавались недопеченные, нарочно даже в воде намоченные, чтоб были тяжелей. Пекарей уличали и вешали, и они висели подолгу, и на груди у них, на дощечке, было написано — за что повешены.

Но дело от этого не изменилось: мертвые пекари болтались на виселицах, а живые мочили хлеб водой. До того оголтелый вор пошел, не боялся смерти вот настолечко.

И царь устал.

Он огорчился, что воры все воруют, сколько их ни стыди и ни вешай.

И что народ такой неблагодарный, что для него ни придумай, что ни сделай, все жалуется, — огорчился царь.

И рассудил: народ-то на его милостыню все течет и течет, алчущими и недовольными переполнена Москва. Как бы бунта, рассудил, не было.

И велел прекратить раздачи.

А весть о них уже далеко разлетелась. Из всех мест тянулись голодные, оберегая в себе еле тлеющее тепло жизни, в чаянии, что раздует его вновь царская щедрость.

Приходили и узнавали: ничего им не будет, надо умирать.

Впрочем, Борис велел еще отпустить из казны саваны для мертвых.

Он когда венчался на царство, то обещал, хотя никто его не тянул за язык:

— В моем царстве, — сказал, — нищих не будет.

И, взявшись за грудь своей рубашки, посулил:

— Сию последнюю разделю со всеми.

Восторг мгновения вдохновил его на эти посулы.

На деле оказалось: тягостно оно и бесплодно — делить свою рубаху на всех.

Разочарованный, раздавал саваны. Требовалось их много: с рассвета до темноты стража подбирала мертвцов и свозила их в скудельницы. С рассвета до темноты смрадные сани влачили по улицам. Нередко захватывали и тех, кто хоть и не подавал признаков жизни, но еще не умер. Бывало — при погребении стоны доносились из ямы.

Умирили же от голода двояко.

Одни иссыхали, яко мощи, так что кости проступали из-под сморщенной коричневой кожи. И, сморщась до последнего, кончались. Такая смерть почиталась легкой, и в гробу они были благообразны.

Другие же, напротив, с голодухи как бы наливались зловещей желтой жижей. Как подушки вспухали их руки и ступни, кожа на лицах натягивалась и блестела, будто смазанная жиром. Безобразен был их вид, и считалось, что сим они наказуемы за страшные грехи.

У третьих еще появлялись на теле красные и синие пятна, загнивали, обращались в язвы; из десен и горла шла кровь; зловоние трупное от них исходило еще при жизни.

Кладбищ не хватало, чтоб всех схоронить, и потому люди благочестивые, священники и мирские, нанимали своим иждивением работников копать скудельницы — обширные ямы.

Умирал человек — родные о погребении не радели: брали усопшего за руки и ноги и клали возле ворот. А поминать его ходили на скудельницы.

Еще из всего этого проистекло одно нечаянное зло: разлюбил мужик-пахарь землю-кормилицу, перестал на нее надеяться, а с надеждой из сердца ушла и любовь. Коли не кормит, — рассудил, — так чего же мне ее своим потом поливать. К чему усердие, если оно не вознаграждается.

А коли не на что надеяться и нечего любить, — почему не уцепиться за Ивашку Болотникова?

Да за кого б ни уцепиться, абы уцепиться.

Не станет Болотникова, — подавайте сюда Мнишкову Маринку. Вертихвостку, проходимку, иноверку, — в самый раз годится. — что нам нынче вера? Пускай трясет тут, ведьма, юбками, сугубит заваруху. Где и быть заварухе, как не у нас.

Дмитрия воскресшего, смельчака рыжего, подайте — берем! Мы берем, мы убьем. Мы полюбим, мы погубим. Как нам захочется, как нам покажется. Вот нас сколько по дорогам, бездомных, бесхлебных, никому не нужных.

Другого Дмитрия, чернявого, Богданку-выхреста, берем тоже.

И двух Петров — царевичей.

Дважды воскресал из мертвых Дмитрий — почему не быть двум Петрам?

И от царевича Савелия не откажемся, и от Мартынки-царевича. Не было и быть не могло, говорите, таких царевичей? Ну, как знать, как знать!

Какие мы ни есть лыком шитые, но доходит и до нас через рогатки, из-за рубежей, слава увертливых молодцов в атласных кафтанах: как они по Европам вьются, сказавшись королевичами и герцогами; и живут — ай-люли! Иные престолов достигают, — а мы чем хуже? И мы побудем царевичами, походим в атласе.

Что не знаем царского обхождения, что сморкаемся как-то не так, — этому научимся. Дай минуту передыху — научимся: не больно велика наука.

А кафтаны атласные где добудем? Да с боярских плеч сымем.

Мог бы, конечно, царь за границей купить хлеб и накормить народ. Но царю это стыдно показалось — признать перед иностранцами, что у столь великого государя и вдруг хлеба засушного в державе нет.

Когда через Москву ехали иностранные послы, то высухших и распухших с их лохмотьями и язвами загоняли подальше, а вдоль улиц стояли сытые, в суконных и бархатных шубах, в мехах. И под угрозой казни было запрещено рассказывать иностранцам о голоде.

Только разве скроешь? Безумно думать, будто можно скрыть.

Стаи одичалых собак завывали кругом Москвы. Их тоже со дворов повыгоняли околевать. По ночам у себя в посольских хоромах, запертые в тепле и сытости, иностранцы слушали этот вой, качали головами... Все зверье обнаглело. Лисицы по дворам бегали. Одна забежала лиса, как смоль черная, невиданная. Ее убили. Какой-то отчаянный храбрец, не боящийся оборотней, купил ее шкурку за громадную цену — девяносто рублей.

И разные дива происходили в государстве. Там рыбы не стало в воде, там пташек в лесах. То родится необычайный урод, то налетит небывалая буря. По три солнца являлось в небе и по три луны.

Ночью в Кремле стояли стрельцы на карауле, и видят: над дворцом несется по воздуху колесница в шесть коней, и возница в польском платье.

В польском?

Это неспроста, что в польском.

Спроста ничего не бывает.

В польском платье возница промчал над дворцом шестерых коней светлых, стрельцы видали.

Это было в морозную ночь, когда поземка опушала легким пухом ступени красного крыльца и метель протягивала свои полотнища сквозь проемы соборных колоколен.

В ту ночь и мой предок, крепостной холоп Грибанов, стоял, быть может, там на карауле. Либо варил кашу на костре в болотниковском стане. Либо уже кончил он свою земную жизнь, и волокли его, бедолагу, в скудельницу, набитую доверху.

ГИБЕЛЬ ДИНАСТИИ

1. Проглоченный алмаз

Беда не ходит одна. Следом за вестями о нерадивости воевод и о победах Гришки так и повалили несчастья на царскую семью.

Утро тринадцатого апреля было, однако, еще ясным, даже худое число «13» ничего не предвещало поначалу. В то утро сели завтракать еще всей семьей. Стол был накрыт цветными скатертями, вдоль него стлался длинный рушник тонкого полотна, вышитый на обоих концах пухами и коницами. Одним концом рушник спускался на колени батюшке Борису Федоровичу, другим — на колени матушке Марье Григорьевне. А промеж сидели царевич Федор Борисович, наследник престола, второй самодержец в новой молодой династии Годуновых, и царевна Ксения Борисовна, Аксиньюшка, красавица, весенний цвет, украшение семьи, — и не подумал бы никто, что такое диво может народиться в кровавом и безобразном роде Малюты Скуратова, Аксиньюшкиного деда по матери.

Так сидели они, помолясь, и мнили себя царской семьей, и никто еще не знал, что в канун того дня, двенадцатого апреля, Борис Федорович проглотил истолченный алмаз (истолок его самолично), и был тот алмаз из самых крупных и дорогих его алмазов, и никто не слышал, как топочут за дверью столовой палаты вплотную подступившие неисчислимыя несчастья.

Дворецкий подавал дорогую посуду и утренние кушанья. Принес кувшины с варенцом, горшок каши, блюдо овощей. Царица Марья Григорьевна, как всегда, сама положила на тарелку по алой тупорылой морковке и по чисто оструганной репке. Разлила варенец в расписные миски. И стали все кушать бодро, и можно было бы с них написать картину благостную и поучительную: вот сидит отец многомудрый и чадолюбивый, красивый лицом, красивы его черные глаза и черная в завитках борода, румяны его уста, проглотившие алмазный порошок, статно и мощно все его тело, еще не поддавшееся отраве. Вот сидит дочь Малюты, уродливая рыжина ее отца перелилась в ее волосах в червонное золото, золотистым блеском тронула недобрые глаза.

Давно это было, когда неродовитый боярин Годунов возымел дерзновенную мысль сочетаться с дочерью царского любимца, всем ненавистного Малюты. Все понимали, что не любовь к ее золотым волосам движет боярином Годуновым, что не Маша Скуратова ему мила, но — корысть; через царского любимца стать ближе к престолу. Никто, однако, не осудил его за это, и в полной ясности стала Маша с ним перед алтарем, предо-

вольная своею судьбою. И как было не быть довольной, когда такой молодец и красавец и то же самое любимый царем ступил с нею рядом на розовый плат!

Еще было далеко до царского венца, но знала Маша, вот знала и знала, что уже тогда в потаеннейших своих грезах видит ее суженый престол и новую династию, и как он этого достигнет — не ее девичьего ума было дело, о том не спрашивала. Только истово готовилась принять все милости, какие ей уготованы, и с честью стать родоначальницей новой династии.

И первым от этого брака был мальчик, названный Федором в честь деда по отцу. И этим словно утверждались честолюбивые мечтания Бориса Федоровича: вот, мол, и наследник готов новому престолу, так поняли тогда и он, и она. И с первых дней любили и баловали своего царевича, а как подрос чуть-чуть — Борис Федорович призвал учителей, чтоб учили сына всему, чему обучаются престолонаследники в других странах, и даже более того.

Иноземные учителя учили царевича иноземным языкам и всяким наукам, а свои — своему: охоте, кулачной драке, да мало ли чему. Даже был один немец, обучал будущего самодержца, как кланяться, как голову держать на выходах, как перчатки надевать, — тонкие науки. Их не знал ни царь Иван, ни царь Федор Иванович, ни сам Борис Федорович Годунов.

И о главном позаботился венценосный отец — как бы снискать венценосному сыну любовь будущих подданных. Как при царе Федоре писалось, что просьбы исполняются по заступничеству боярина Бориса Годунова, так царь Борис приказывал писать, что просьбы исполняются по заступничеству царевича Федора. Те, кто пережил дни Ивана Грозного и дни голода, те, мыслил Борис Федорович, должны ждать Федорова царствования как царствия божия, как дней бесконечного милосердия и успокоения. Свойство человека — вечно надеяться на лучшее, потому каждого нового властителя он встречает вспышкой радостной веры и верит, и верит, покуда не рухнет вера под натиском новых разочарований.

Не год и не два длился честной брак, за мальчиком родилась девочка — Аксиньюшка, диво красоты, весенний цвет. Умерли грозный Иван и тихий Федор, умер жених Аксиньюшки, непонятно погиб в Угличе царевич Дмитрий, брат Федора, много воды утекло, можно ска-

зять — сполна излилось в море-океан множество русских рек. Борис Федорович достиг престола, дождался торжества своего, Марью Григорьевну сделал царицей. И все было бы хорошо, не заявись окаянный Самозванец и не замути Землю. Не будь его, сидели бы сейчас за столом мирно и спокойно, кушая овощи и кашу, утоляя первый утренний здоровый голод.

А тут вдруг поднял Борис Федорович руки и закрыл ими лицо, и меж белыми пальцами струйками побежала кровь, пятная рушник с петухами.

— Чтой-то, Борис Федорович? Ты весь в крови, — сказала царица и ужаснулась тому, что сказала.

И он ужаснулся: поднял голову и поглядел ей в лицо черными глазами долго и страшно. Кровь струилась изо рта его и из ноздрей, заструилась и из ушей, словно бы тело его спешило отдать всю накопившуюся кровь. Ничего подобного не случалось видеть царице.

Она вскочила, рванула окровавленный рушник, скомкав, кинула в угол. Слышала крики детей, звавших на помощь, — сама не имела силы ни кричать, ни плакать.

Но смотреть смотрела — и видела все: как набежали в палату слуги, а за ними попы и черноризцы, и как крест, поднесенный к устам Бориса Федоровича, обгрился кровью, и со лжицы со святыми дарами закапала кровь, и эта кровь словно бы отмечала Бориса Федоровича как преступника, а с ним и царицу и их детей; эту кровь они все будто отрывивали, и всяк из них по-своему это сознавал, — царица с ненавистью, у детей же к ненависти и страху примешивалось детское любопытство, стремление заглянуть в бездну родительских грехов.

Взметнулись кадильницы, запахло ладаном, над Борисом Федоровичем стали совершать обряд пострижения: в могилу должен был сойти в ангельском чине. Подумав и потолковав, дали ему имя Боголеп, — царица такого имени и не слыхала сроду. Потом служили панихиду, молились за упокой души раба божьего Боголепа, а царица не могла привыкнуть так скоро, молилась за упокой души раба божьего Бориса.

Панихидным пением и воем горя был наполнен дворец, царица била земные поклоны перед киотом, справа от нее бил поклоны Федор, слева — Аксиньюшка, украшение семьи, весенний цвет. Царицыны косы червонного золота метались по пыльному полу. Аксиньюшка кос не носила, ее черные, как у отца, волосы, разделенные тон-

ким пробором, завивались у ушей двумя трубами, падавшими ниже колен, на изгибах этих труб поблескивало темное золото — перешла-таки и в ее жилы капля Малютиной крови с Малютиной рыжиной.

Дети молились чинно, почти спокойно, в матери же чинность и спокойствие затмевались злобой, и была эта злоба не на господ, занесшего карающую десницу, даже не на Самозванца, через которого совершалась кара, не на изменников-бояр, а почему-то более всего была в тот час ненавистна царице ее смиренная тетка, доживавшая дни в Новодевичьем монастыре, Марья Нагая, последняя жена покойного Ивана Васильевича, мать погибшего в Угличе царевича Дмитрия. Несносно было Марье Григорьевне подумать, что могут прийти дни торжества Марьи Нагой, что под именем ее сына Самозванец может ныне возвысить свою мать, — своими руками готова была дочь Малюты Марья Скуратова заранее удушить за это Марью Нагую, и на костре ее сжечь, и что угодно — за одну эту свою мысль о возможном ее торжестве.

Во время панихиды пришло известие — передавали его друг дружке на ухо трепещущими устами: немец-теплохранитель нашел на подоконнике в царской спальне порошок от истолченного алмаза, был тот порошок невзрачен, как истолченное стекло, но поняли все до последнего дворцового холопа, что царь сам возжелал себе смерти, предпочтя ее — чему? — еще неизвестно было утром тринадцатого апреля.

2. На старое пепелище

Простая телега стояла перед дворцом, на телегу валили узлы и сундуки.

Сошли по красному крыльцу — впереди царица, за нею царевич, позади — царевна.

Царица и царевич уже сидели в телеге, когда подошла царевна, весенний цвет, и покорно села между матерью и братом, свесив ножки.

Недалеко было ехать — старый годуновский дом находился сразу налево напротив кремлевской стены. Счастливый дом, в нем царица провела первые дни замужества, в нем родила обоих детей, в нем впервые приснился Борису Федоровичу царский престол.

Уезжая, взглянула царица на Ивана Великого, на паперть Успенского собора — помстилось, на ступенях паперти видит следы своих башмаков. Сколько хожено тут, сколько думано, сколько поцелуев оставлено на чудотворном образе Божьей матери!

Обогнули церковь Благовещения, выехали за стену Кремля.

И вот он, годуновский дом. Ну что ж, бог милостив, и тут жить можно — не дворец, конечно, но все добротно, порядочно, даже кто-то позаботился расстелить на крылечке красное сукно.

Старые слуги выбежали встретить — слуги, выдавшие некогда, как Борис Федорович с семейством перебирался отсюда во дворец.

Живо подхватили сундуки и узлы, понесли. Под руки, с прежним почетом, повели наверх Марью Григорьевну и ее чад.

«Не было б хуже, а так еще можно...»

Будто ничего не случилось за минувшие годы — на прежних местах стояли столы и стульчики, и печи дышали теплом, и в складках полога у кровати не было пыли.

«Так еще можно!»

И стали жить — а что делать?

Жить — значит: утром садишься к столу, и дворецкий приносит посуду и кушанье, и ты раздаешь детям кушанье и сама ешь, хоть не лезет в горло кусок.

И в полдень садишься за стол и опять ешь, потом отдыхать ложишься на высокой постели под пологом, в котором нет ни пылинки.

Потом ужин, потом одинокий сон на той же пышно взбитой постели.

Во сне приходят видения ужасные и видения светлые, и неизвестно, какие больше мучают сердце — ужасные или светлые.

Лежишь и смотришь в теплую темноту и только одного чаешь — скорей бы утро. А утром думаешь — скорей бы день прошел и ночь прикрыла все.

А прикроет — ночью опять вспоминается всякое, чаще всего — розовый плат, как ступила на него рядом с Борисом Федоровичем. Его борода вспоминается и белая рука. Перстень с изумрудом на пальце, а меж пальцами струйкой бежит кровь. И гремит по камню телега с пожитками, и глядят на телегу люди.

«Чтой-то ты в крови, Борис Федорович?» Нешто так замышлялось, когда ступали рядом на розовый плат?

Вот такая пришла жизнь — либо ешь, либо лежишь во мраке, терзаемая воспоминаниями.

Такова стала жизнь. Борису Федоровичу, может статься, ныне еще хуже: убить себя — грех тяжкий. Не бойся царица греха — не пожалела бы в свой черед истолочь какой-либо из своих алмазов.

Когда-то, в дни царствования, холоп бояр Романовых донес на своих господ — мол, держат зелье на царскую семью, волшебным зельем хотят извести всех Годуновых до последнего. Осерчал тогда Борис Федорович, приказал обыскать Романовых. Нашли корешки и травы и разметали Романовых кого куда. Теперь думается царице — лучше бы не поверить холопу, дать Романовым исполнить их замысел... Куда легче бы, думается, ныне лежать в сырой земле без воспоминаний и видений...

Но явятся страшные образы ада — огонь, и сера, и кипящее масло, — образы, с малолетства нашептанные, и живет царица дальше, ест, и спит, и бродит по своим палатам, убравшись по-царски, с адом в душе.

ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ ВАСИЛИЯ ШУЙСКОГО

Говорили, что он изолгался: лгал царям и простому народу, лгал всемогущему господу и своей нечистой совести. В боярской думе лгал, на площадях, на кресте и Евангелье, в Москве и в Угличе.

И эта дорога лжи, говорили, ни к чему и не могла привести кроме того, к чему привела: к позору и гибели. И в том усматривали справедливость. Ибо такая ложь переполняет чашу даже небесного терпения и милосердия.

Еще говорили, что он больше всех нажился на голоде, который был при Годунове Борисе. Скупал в урожайных губерниях хлеб и продавал жителям втридорога, и это, говорили, еще грешней, чем ложь.

А о том не говорили, что просто им, Шуйским, не было удачи. Так и сторожила их беда. Дядю Андрея малолетний, едва оперившийся царь Иван кинул псарям на убиение. Дядю Ивана при царе Федоре удушили в темнице. А теперь и он, Василий, должен был испытать страшную чашу.

Словно другие не лгали. Словно другие, у кого были денежки, не скупали хлеб и не перепродавали по разбойничьей цене. А вот страшную чашу приходилось ныне пить одному Шуйскому.

Он один в то утро проснулся с тяжелой мыслью о ней. Ему одному солнце, пробившись в разноцветное слюдяное окошко, возвестило смерть.

На постели была разложена чистая белая рубаха — переодеться боярину, поднявшись от сна. Он крикнул слугу, велел унести рубаху, подать другую, красного шелка. Воротник у этой рубахи был весь жемчужный. Жемчуг обыкновенный молочный, а застежка у горла — из жемчужин редчайшей красоты и ценности, розовых и черных. «И все-то это в единый цвет окрасится, — думал князь, поглядывая на жемчуга. — Хорошо, — думал он, — если с одного удара дело кончится. А сколько раз бывало — рубят, рубят, а голова все на плахе лежит, злополучная, со стороны глядеть — и то страдание». Он достал из ларца серебряное зеркало и долго смотрел на свою седую голову с плешью на темени.

Вот и лгали те, другие, и наживались на голоде, и воровали всяко, но по крайности все женатые были, взысканные потомством. А вот Василию Шуйскому и жениться запретили. Борис запретил, окаянный детоубийца. Ирод.

Потому что боялись Шуйских и не хотели умножения их рода, потому что где-то в божьих книгах записано, предначертано, что Шуйским — только горести, а радости другим. Так и дожил Василий Иванович до нынешнего смертного дня, не вкусив законнейшей утехи, которая с Адама дарована человекам.

В окошко сквозь пластинки розовой и желтой слюды виден был Василий Блаженный и лобное место. Вон туда на помост взволокут князя Шуйского не далее как сегодня, двадцать шестого июня, взволокут и поставят. Кругом будут лица, лица, лица. Глаза, глаза, глаза. Глазастыми лицами с раззявленными в предвкушении забавы ртами вымощена площадь. С ночи, поди, стоят, дожидаются отрадного: как станет знаменитый князь Шуйский, Рюрикович, на колени перед своей смертью и перед ними всеми — Ваньками, Петрухами, Прошками. Как, поигрывая топором, пройдетя взад-вперед палач в красной рубашке. И взовьется, взлетит топор, и — о радость Ванькам и Петрухам — грянет на княжескую шею.

Жалости не ищи ни в чьем взоре. Когда неделю назад так же казнили Петра Тургенева, — что они кричали, Ваньки: «Умирай, — кричали, — так, поделом тебе!» — Это ничего не зная, не думая даже, кто виноват, кто прав, — Тургенев, обозвавший нового царя расстригой Гришкой, или новый царь, пославший за это Тургенева под топор. Было им, Ванькам, любо, что погибает злой смертью дворянин, белая кость, будь он хоть трижды прав. О том же возликуют и нынче.

Давеча поп приходил. Священное писание читал, укреплял дух, отпустил грехи и некую высказал мысль. Видно, ему ее сладостно было высказать, даже как бы погордился, высказывая. Не лучше ли, сказал, человеку здесь, на земле, понести ответ за все содеянное зло, хотя бы и через усекновение главы, нежели быть предану чертям в аду на вечные времена.

Ну, это бы надо у князя Василия спросить: хотя бы выбор оставить: как тебе, мол, желательно, — здесь, на земле, понести ответ через усекновение главы или же быть предану чертям? Черти еще есть ли, это досконально даже патриарх не может знать, а лобное место — вон оно, окаянное, торчит в окошке. И что могут черти придумать ужаснее для мучения людей, чем сам человек придумал?

Ну хорошо, за наживу, за ложь наказывает бог князя Василия; но ведь можно сказать и так: знаете ли, если за ложь так наказывать, — не жирно ли будет? Тогда всей Москве можно бы усечь главы — от венценосца до купчишек из торговых рядов.

А купчишки знай себе торгуют да обмеривают, а расстригу Гришку поминают на ектениях самодержцем всея Руси, — и только его, князя Василия, плешивая седая голова не далее как сегодня, двадцать шестого июня, покажется под помост, оставляя на досках кровавый след.

Князь Василий Шуйский прибрал зеркало в ларец, а ларец — в итальянский шкафчик, выложенный бронзой и перламутром, накинул на плечи шубу, вздохнул и нетвердыми шагами пошел из дому.

Все, все было в точности, как виделось в мыслях. Красная рубаха палача уже горела на лобном месте как маков цвет, и от Василия Блаженного до Спасской башни и далее, далее во все стороны — Красная площадь вымощена была лицами, шапками, бабьими платками. И все они, все унесут свои головы обратно домой, один князь Шуйский не унесет.

Его толкнули в спину. Он послушно поднялся по деревянным ступенькам.

Еще вчера, узнав решение своей участи, он думал, что не сможет подняться, ноги не пойдут. Но нет, шли как всегда, коленки вскидывались резко даже, он дошел до самого верха и стал против палача по другую сторону плахи. Тошно было взглянуть себе под ноги на отвратный этот черный кус дерева, но он не захотел дожидаться нового толчка, — стал на колени и послушно положил щеку на то мокрое, осклизлое и смрадное, что уготовила ему злодейка судьба на конец его дней.

И не удержался — сказал тем Ванькам и Петрухам, что стояли поближе, — колпаки их торчали над краем помоста:

— Помираю за веру и правду.

Не раз он говорил им отсюда, лжесвидетельствуя, — пусть же будет им и последняя его ложь.

«Сейчас закричит кто-нибудь, как Петру Тургеневу: „Помирай, так, поделом тебе!“» — представилось ему. Но никто не закричал, и лица были — он видел — равнодушны: никому дела не было, помрет он или жить будет.

«А хорошо, что мы оба в красных рубахах, — думал далее князь. — Зачем лакомить простолюдинов видом княжеской крови? Иван Васильевич много их лакомил, и зря. Что зря, то зря».

Палач взял его за ворот и потянул слегка. Князь подумал — пришла минута, но нет: топор все еще висел в опущенной руке палача, а это он хотел снять с князя рубаху.

— Оставь, милый человек, — попросил князь, вдруг почувствовав к своему убийце доверчивое и как бы братское чувство. — Оставь, пусть я в ней испущу дух. В ней я вчерашний день святых тайн удостоился.

И опять стояли друг против друга, разъединенные выдавшей виды плахой, оба в красных рубашках, оба почтенные, оба седые, оба плешивые, не сразу угадаешь, кто кого сейчас казнить будет. А кругом, сколько взор хватает, — шапки да платки, глаза да рты.

— А воротник сей, — продолжал негромко князь Шуйский, все больше преисполняясь доверием и дружелюбием, — воротник сей возьми потом, милый, себе. Помянешь меня за упокой, а уж меня, милый, уважь, — разом руби, не томи.

Палач пощупал воротник — крупные жемчужины прохладно и атласно перекатились под пальцами — и ответил одним только словом:

— Гонец!

Князь Шуйский услышал слово и в молниеносно-радостной надежде поднял глаза. Ах, точно — от Троицких Спасских ворот, звонким стуком копыт пролагая себе в толпе дорогу, мчался конский стрелец. Он мчался, и никто больше не смотрел на место казни, а смотрели все на всадника — ох, как смотрели!

А он остановился у самого помоста, рукою в кожаной рукавице достал бумагу из-за пояса и стал читать громко, внятно, чтоб слышали:

— Великий царь Дмитрий Иоаннович, по христианскому своему милосердию, дарует жизнь князю Шуйскому, невзирая на многие вины его, и заменяет ему смертную казнь ссылкой в Вятку.

Он вернулся домой и первым делом достал из шкафа ларец, а из ларца зеркало. Голова крепко сидела на красной шее — седая, плешивая, почтенная, скорая на всякое соображение, дорогая, ненаглядная его голова.

БОЛОТНИКОВ. КАРАВАЙ НА СТОЛЕ

Что в тихом сердце его таилось
И что варилось в его котле.

Н. Матвеева

Как на Ванины именины
Испекли мы каравай.
Каравай, каравай...

Хороводная

1. Ночью у костра

Спиной к догоревшему костру лег Болотников, иззябшей своей спиной к груде золотого живого жара, и сперва ему это показалось хорошо: горячей побежала кровь в жилах, сладко заныли, выходя из оцепенения, суставы, и стал стихать окаянный озноб, что бил его, не давая передышки, три ночи и четыре дня. Но потом от его одежды, вымокшей под дождем, повалил пар, и пар этот, чудилось, собрался на спине в водяные пузырьки и стал за-

кипать от жара костра, и каждый кипящий пузырек вонзался в тело, как гвоздь, и опять захотелось кашлять. А кашлять было больно, и он отодвинулся от огня, — не отпустит ли его кашель...

Кашель не отпустил. Болотников закашлял гулко, как из бочки, и опять почувствовал на языке вкус крови, и теплота крови потекла по его губам, и подбородку, и шее. «Плохо мое дело, — подумалось ему, — ой как плохо. И помру-то как собака, не на постели, не на лавке, не на маткиных руках, — на земле под небом».

Костер, возле которого он лежал, был с четырех сторон обставлен саями с сеном. Получалась как бы загородка, как бы жильё, — это и было жильё Болотникова, единственное на всем свете. Сани долго мокли под дождем, а потом их заморозили на морозе, и от четырех этих стен несло холодом, как от костра жаром. И вся равнина, сколько мог видеть, поднявшись на локте, Болотников, была уставлена такими же загородками из обледенелых саней, — и, верно, кабы глянуть сверху, это походило бы на пчелиные соты, только ячейки были не шестистенные, а четырехстенные. В середине каждой ячейки жарко блестело, — костер горел, и вокруг костров товарищи Болотникова провожали ночное время — обсушивались, варили кашу и вытряхивали над огнем свою одежду. И поверх всего этого убожества и неприкаянности неисчислимо и пышно, как свечи во храме, переливались звезды.

Послышались во тьме неспешные шаги, Болотников узнал их. То шел Истома Пашков, дорогой друг, соперник и спорщик. Соперничали они в первенстве, но Истоме, как он ни серчал и ни усердствовал, не удавалось стать первым, ибо жизнь Болотникова была много богаче и страшней жизни Пашкова, и Болотникова, когда он говорил, слушали во все уши, а Пашкова слушали лениво.

Пашков учился у дьячка и любил толковать священное писание, и все говорил о равенстве людей перед господом и о справедливости. Болотникову же довелось, будучи далеко на чужбине, в Италии, прочесть одну книжечку, называлась она «Государство Солнца».

Сам прочесть Болотников не умел — где же ему было читать на чужом языке, другой гребец прочел и ему пересказал — товарищ по плену и по рабской службе на галере. Написал же эту книжечку некий монах по имени Фо-

ма Кампанелла. Видать, то был монах не из тех толстопузых, об одном только помышляющих — как бы набить свою мошну, каких вдоволь навидался Болотников и у себя дома, и в Италии, и в долгом пути от дома в Италию, когда он, пленник и раб, служил гребцом на турецкой галере и на этой галере пересек далекие страшные моря, где пили тухлую воду и мерли как мухи от солнечного непереносимого жара. Фома Кампанелла был, видать по книжке, мужик дельный и до простого народа добрый, и Болотников прослушал написанное им с великой жадностью и великим почтением к неведомому доброму Кампанелле.

И, исполнившись его мыслями, Болотников говорил о делах земных, а не небесных, и внушал своей ватажке, что дело все в том, как разделить земные блага, накопленные на Руси за множество лет в превеликом количестве, а самое главное — он каждому внушал недовольство своей участью, и они готовы были в огонь и в воду, чтоб добиться участи лучшей. Кто жаждал богатства, кто почетного звания, кто — власти, пусть самой крохотной. Они учились у Болотникова говорить зажигабельные и важные слова и пересказывали эти слова другим людям, и жажда лучшей участи ширилась, и Смута вскипала на лице Русской земли, как пузырьки дождевой влаги на спине Болотникова.

Он кашлял и слышал, как булькало и хрипело в его груди, и ему становилось жаль себя, бездомного, безродного, с больной грудью, — но еще больше жалко было других людей, не выдавших в жизни ничего, кроме обиды и скорби, даже не слыжавших о хороших книжках «Государство Солнца», и он исполнялся решимостью до конца идти своим путем, который неминуемо вел его к гибели, — конечно, это Болотников знал с первого дня, но не страшился.

И первая гибель могла быть такая: вот он со своей ватажкой въезжает на чей-то большой двор, где с четырех сторон на них смотрят раскрытые двери и дверцы, ведущие куда-то, где упрятаны мясные туши и жирные окорока, бочки с соленьями и пивом, кадки с душистым медом, овчины и подушки и всякое иное накопленное добро. И он, Болотников, говорит своим людям:

— А ну, ребята, разбегайся по дому, хватай все, что годится, довольно боярин надовольствовался, подовольствуемся же и мы, убогие.

И ребята ныряют в черные проемы дверей и дверок и волокут на середину двора бочки и кадки, мешки и овчины. И выводят за белые руки пышнотелую боярыню и холеных боярышень с косами до колен. А боярин, хозяин всего, стоит и смотрит, вылупившись как баран, куда вытаскивают его мешки и кадки: но когда выводят боярышень — сердце его не выдерживает, он хватается за свою вострую сабельку и с криком: «Ах, разбойники!» вонзает ее прямехонько в большую грудь Болотникова. И тот безответно (а что тут ответишь?) падает у ног хозяина, в лужу собственной крови.

А вторая гибель могла быть такая. На знакомый двор въехали они, и знакомый хозяин вышел им навстречу — мягкобородый и пригожий лицом князь Телятевский, крепостным рабом которого был Болотников, на дворе у него и вырос. И Болотников сказал ватажке:

— Ребята, тут не грабьте и никого не пугайте. сей хозяин — мой князь, мы с ним без шума обо всем по душам столкнемся.

А князю сказал:

— Князь, ты, чай, меня узнал — я Ивашка Болотников, холоп твой и молочный брат. Агафья Болотникова, раба твоя и кормилица — моя matka, и мы у тебя ничего не тронем, только вели моих молодцов хорошо угостить, бо мы третью неделю как мясного духа не чуяли и больно ослабли.

Но князь Телятевский не захотел толковать по душам, а запустил руку в карман кафтана, и вынул бумагу, и сказал:

— Как же, как же, холоп и молочный брат мой Ивашка Агафьин сын, узнаю тебя очень даже хорошо. Только нынче поутру призвали меня к воеводе, а там дали вот эту бумагу, а в бумаге написано и печатью припечатано, что ты есть разбойничий атаман и что по губернии бесчинств и грабежей чинится — то все твоих пакостных рук дело. Так вот посуди, как же я вас буду у себя в доме угощать и привечать, — ведь тогда я выхожу твой товарищ и соучастник, а за это меня по головке не поглядят. Так лучше уж я, молочный братец, с тобой иначе распоржусь.

И по его приказанию принесли веревку и мыла кусок и, намылив веревку, сделали петлю, и надели Болотникову на шею, и повесили его на перекладине ворот.

— Вот тебе, — сказал князь, — мое угощение.

Агафья, matka, в оконце все это видела, выскочила на двор, и кинулась князю в ноги и плакала слезами, напоминая ему, что он ее молоком был вскормлен и что опричь Ивана никого у нее нет на всей божьей земле. Но князь толкнул сапогом ее седую голову и сказал:

— Ах ты, разбойница, и тебя бы следовало с ним рядом за то, что такого злодея родила и вырастила. Только чтобы лишнего греха не брать на душу, — приказываю: тотчас же прочь с моего двора.

И мать шагнула и пошла по дороге неизвестно куда, а Болотников остался висеть на перекладине, высунув язык ей вслед.

И третья могла быть гибель — простая очень.

Громадная ратная сила окружила его стан, тот, что сверху похож на пчелиные соты с четырехстенными ячейками, и это были не простоватые молодцы Болотникова, а царские войска с пищалями, пушками на колесах и военачальниками в блистающих латах. Обложив стан Болотникова, ратники пошли от одной ячейки к другой, избивая людей Болотникова, и, легши спать атаманом и первым человеком, Болотников проснулся поутру одиноким и бессильным.

Такая гибель могла приключиться скорей всего. Ибо ратная сила царя Василия Шуйского была велика, а ратная сила Болотникова мала, и сам он удивлялся, как это удавалось ему продержаться в своей борьбе столь долго.

А то присылал к нему царь Василий Шуйский одного немца. Фидлер было ему прозвание, и был он аптекарь, составлял порошки для царского здоровья. И сам вызвался съездить к Болотникову и отравить его, Болотникова, ядовитым порошком.

Царь не поверил, тогда Фидлер клятву дал и такое на себя положил заклятье, такие беды призвал себе на голову, коли не сдержит своего обещания, что у слыжавших ту клятву людей, говорят, волосы надо лбом шевелились от ужаса.

Начал он исправно — пришел к Болотникову и яд принес за голенищем, в тряпочке. Но далее страх его обуял, он вытащил ту тряпочку и сказал, что царь велел ему отравить Болотникова ядом, но он, как добрый христианин, этого делать не хочет, пусть царь сам управляется со своими изменниками как знает. Тем и кончилось дело. Немца прогнали, смертоносную тряпку сожгли в печке, посмеялись немного да и забыли. Так

и этой четвертой гибелью не суждено было погибнуть Болотникову. Не знает человек, как ему погибнуть суждено.

А погибал он все с тем же непереносимым холодом в теле, с холодом, проникшим до самой середины, с кашлем, разрывающим внутренности, слепой, с выколотыми глазами. Ибо царь распорядился вынуть у него очи (ох, какими сгустками ледяной стужи скатились они из-под ножа по щекам Болотникова), прежде чем утопить в полынье.

Такую гибель придумал ему царь после того, как Болотников сложил оружие, поверив царскому слову, что ему и всем людям его будет оставлена жизнь. Болотников думал (не вразумили и прочитанные книжки, и передуманные мысли), что царское слово — честное слово. На своей шкуре пришлось ему узнать, что у царей честного слова не бывает, одна только ложь.

2. Кто же понесет хоругвь

Истома через голову стянул с себя рубаху и встряхнул над костром. Жарко запахло мужским крепким потом.

— Что нас разобьют, — сказал Истома, — то я, Иван, знаю, как «Отче наш». Против такой силы переть, как мы поперли, — кроме смерти, что может быть? На это я, брат, и обижаюсь, а не на то, что тебя больше слушают.

— Ну разобьют, — ответил Болотников, — ну, смерть, так что ж? Зато скажуг про нас: они самые первые были, они смуту начали, которой не кончиться и за полтыщи лет.

— Начать-то начали, — сказал Истома, — а дальше кто нашу хоругвь понесет? Не вижу тех людей. В ватаге нашей и то не вижу.

— Плохо смотришь, — стоял Болотников на своем, — смотри хорошо — увидишь. Смерд, которому запретили от своего барина уходить, — он нашу хоругвь понесет. Стрелец, которому три года жалованье не плочено, — понесет. Меньшой сын боярский, которого старшие братья обидели. Да мало ли! В лесу по кустам пошарь — так и посыплются к тебе шиши лесные. В степи донские поезжай да свистни, — так и налетят на твой свист казаки, вольнолюбцы. И по северным рекам, и по матушке Волге молодцы-разбойнички водят струги, и молодцы те

бесшабашные, и атаманы у них знаменитые, а будут еще знаменитее и бесшабашнее, и потекут они отныне один за другим. И не счесть тех рук, что нашу хоругвь подхватят и понесут, и будут нести не год и не два — столетия. А ты вопрошаешь: кто? Когда в три обхвата каравай испечен и на стол поставлен, — неужто не найдется, кто б от него захотел кусок отхватить?

— А съедят все до крошки, — не унимался Истома, — дальше что будет?

— А то не наша с тобой печаль. Кто-то новый каравай испечет, кто-то делить его захочет. Абы всеместная поднялась заваруха, да народ бы к ней привык и полюбил ее больше покоя, — а там что бог даст.

И он в свой черед снял рубаху, чтоб потрясти над огнем.

Сидели, разделенные огнем, нагие до пояса, один широкий, с волосами цвета меда, другой узкий, с остро выступающим вдоль спины позвоночником, с впалой грудью и с бородкой мягкой и светлой, как у выюноши... Болотников продолжал свою речь, он говорить любил, в словах, казалось ему, все выходило складней и приглядней, чем в деяниях.

— Ты им вот что говори, — сказал он, — чтоб лучше тебя слушали. Привыкли вы жить, говори, в черных избах, и заедает вас блоха и всякая нечисть, — будете жить в боярских домах и мыться в мыльнях добела. Привыкли набивать брюхо горохом да просом, — будете услаждаться всяческими разносолами. Жены ваши, — говори им, — неказисты и тощи, — возьмете себе боярских жен и дочерей, белолицых, ядреных. Кто, говори, ныне последний, тот станет первый, а те, что сейчас первые, будут у вас слугами. Что ты им о справедливости да о справедливости. Ты им дело говори.

Так сидели они, и звезды пылали над ними. Уже близка была смерть, но они ее шагов не слышали. Только храмовую звездную тишину слышали.

Опять в тишине прозвучал кашель Болотникова — столь в ней непристойный, словно бы вот именно во храме какой-то нечестивец, не удержавшись, раскашлялся надрывно, и опять соленой кровью наполнился рот Болотникова, и Пашков из-за огня поднял на него глубокий темный взор.

— Разбаливаешься, Иван, — сказал он дружелюбно, братски, — ой, разбаливаешься.

— Разбаливаюсь, Истома, — подтвердил Болотников. — А почему, — потому что вот уж сколько месяцев согреться не могу. И руки холодные, и ноги холодные, и пот из меня течет холодный, и нигде ни капли не нахожу тепла. Будь я дома, — напоила бы меня маги липовым цветом либо малиной, хрена бы тертого на потылицу положила, выиграло бы во мне тепло, я б исцелялся... Хотя бы перед смертью, — закончил он, — еще хоть разок на лежанке погреться, хотя б на чужой. А то продрог я, Истома, до самой середины продрог.

— Что ж, — посулил Истома, — если встретится нам где теплая лежанка, я тебя положу.

— Положь, — сказал Болотников.

— А каши горячей не поешь? — спросил Пашков. — Там ребята наварили на цельный полк, потчуют.

— Принеси, — согласился Болотников.

И Истома принес и кормил его горячей кашей, но середина у него никак не отогревалась, и вся надежда была на ту чужую, неведомо чью, теплую лежанку, которая как-то встретится им и на которой напоследок положит его Истома, сочувственный товарищ, соперник и спорщик.

3. Лежанка

И повстречалась-таки ему перед окаянной гибелью та лежанка, — хоть этой горькой улыбкой на прощанье улыбнулась ему его доля. Лежанка была большая, чисто выбеленная, из-под мела проступали подтеки глины. Лежанка выходила в столовую палату чьего-то дома, а печь топилась рядом, в сенях, и в печную пасть по приказу Истома болотниковские молодцы чего-чего не напхали — дубовых поленьев и грушевых (известно, как яро грушевое дерево горит), и сосновых веток с чешуйчатыми шишками, и сухой соломы. И когда все это отпылало с веселым треском, Истома взял Болотникова за бока и, подняв легко, как мальчонку, положил спиной на лежанку, говоря:

— Погрейся, атаман. Погрейся, брат.

И промерзшая середина Болотникова возликовала, и ему подумалось:

«Сие — царствие божье».

Когда же лежал, втиснутый в мешок, на голом мокром льду, — думал:

«Сие — ад».

Лежанка же была, бесспорно, раем, конечно, Татьяну бы еще сюда, ее горячую щеку, ее мягкую руку. Но далеко была Татьяна, в поместье князя Телятевского, на том дворе, где на перекладине ворот висел Болотников, и только хозяйский кот вскочил на лежанку у самого лица Болотникова и порадовал, милый зверь, пушистым теплом своей шкурки и своей неповинностью в лютых делах, творящихся на свете.

МАРИНА. КОМУ НАБОЛЬШИЙ КУСОК

Рузя

Позвольте, наперед решите выбор трудный:
Что вы наденете, жемчужную ли нить
Иль полумесяц изумрудный?

Марина

Алмазный мой венец.

А. Пушкин. «Борис Годунов»

1. Слуга князя Адама

Младшая ее сестра Урсула, едва подтвердившись, пошла под венец с князем Константином Вишневецким. И старшей сестре было, конечно, обидно, что лупоглазенькая девочка, без красоты, без талантов, с трудом вызубрившая катехизис, к грамматике неспособная вовсе, — раньше нее, старшей, вышла замуж, да еще в семью Вишневецких.

Впрочем, обижалась она потихоньку, и боль ее была не до крови. Потому что привыкла с детских лет: что б там ни было, ей, Марине, не будет хуже всех. Жизненный путь ей виделся зеркально блестящим, как паркет в бальном зале. По зеркальному паркету вперед-вперед скользит носок туфельки, как в мазурке, когда летишь со спертым в груди дыханием, вперед-вперед, и лишь изредка стукнешь пяточкой о пяточку, как летящий рядом кавалер, стукнешь — и послышится тебе, будто малиново прозвенели невидимые шпоры, — а шпор-то и нет никаких. это просто кровь твоя в тебе прозвенела счастливо и нежно.

У Константина Вишневецкого, мужа Урсулы, Мариного зятя, был брат князь Адам.

Этот князь Адам однажды мылся в бане. Как обыкновенно, для княжеского мытья баня была приготовлена со всяческим изощрением. Циновки из свежей соломы

расстелены на полу, добела выскоблены лавки. В бочках с холодной водой и с горячей плавали расписные ковши — черпай, обливайся в полное свое удовольствие. На раскаленные камни подавался мятный квас, и пар от них шел духовитый, пахнувший скошенным лугом. Князь Адам попарился, потом спросил льда. Слуга, к тому приставленный, должен был принести ему со двора ледяную сосульку. Сосульки, толстые как колбасы, свисали с крыш кругом всего двора. Князь уж предвкушал, как натрет себе льдом щеки, шею, грудь и освежится. и взбодрится весь. Но вместо того, чтоб кинуться за сосулькой, этот новый рыжий холоп для чего-то зачерпнул еще горячей воды из бочки и плеснул в шайку, где покоились белые и нежные князья ступни.

— С ума спятил, холоп! — возопил князь. И впрямь похоже было, что малый рехнулся: кто же в здравом рассудке станет шпарить кипятком своего пана?

И холоп понял, что дело его плохо, — выбежал тотчас и вернулся с сосулькой, и подал ее господину, став на колени. И просил прощенья, не дожидаясь, пока ему накостыляют по шее.

Но уж больно жалко было князю смотреть на свои порозовевшие ошпаренные ноги, и никак он не мог не накостылять. Костылял и думал: «Мало, слабо; чтоб маршалок ему добавил как следует». Как вдруг рыжий негодяй закричал тонким голосом прямо князю в ухо:

— Если б ты, князь, знал, кто перед тобой, ты бы не только не посмел занести на меня руку, но сам бы пустился мне услуживать!

Князь Адам не поддался на холопью наглость, занес руку еще и еще; но любопытство выиграло, и не сдержался — спросил:

— Кто же передо мной?

— Перед тобой, — ответил рыжий, — младший сын покойного великого князя и государя московского Ивана Васильевича — Дмитрий Иванович.

— Знай что врать, холоп, — сказал князь Адам. — Царевич Дмитрий еще в малолетстве зарезан в Угличе от подосланных злодеев Бориса Годунова, о сем злодействе всему просвещенному миру известно.

— Не зарезан, не зарезан! Ан спасся и бежал, и вот я перед тобой, ясновельможный пан!

И рыжий враль сплел целую сказку: якобы злодейский умысел не удался, и он, царевич Дмитрий, с по-

мощью некоего добросердечного лекаря спрятался от убийц и долго таился по монастырям и у разных панов в услужении, а теперь бог внушил ему свергнуть Годунова и воссесть на родительский престол.

— Да как же ты воссядешь! — даже рассмеялся князь Адам. Дико было глядеть на холопа, возмечтавшего о престоле. Но получил ответ:

— Свет не без добрых людей. А в Московском царстве есть чем тех добрых людей наградить.

После чего князю Адаму не в мочь стало не то что натираться сосулькой, но и вообще дома сидеть с такими новостями. Велел запрягать лошадей и поехал с рыжим сперва к своему брату Константину, а потом в Самбор к братниному тестю, сандомирскому воеводе пану Юрию Мнишку.

Прямо сказать: рыжий не походил на отпрыска царственного рода. Лицо имел некрасивое, рот большой и растянутый, как у скомороха, нос бугроватый. Возле носа на щеке — бородавка, лишавшая его облик всякого благородства. Но осанку имел мужественную и на коня вскочил как рыцарь, к седлу привычный, и когда князь Константин захотел испытать его в фехтовании, рыжий выдержал испытание с честью. А в разговоре, последовавшем затем с князем Константином и княгиней Урсолой, рыжий раза два ввернул латинские цитаты, ничего не переврав и не запнувшись.

— Где же ты сему научился? — спросили князя и узнали, что это и многое другое рыжий почерпнул в тех шляхетских домах, где ему довелось служить. В том числе латинские вирши, сказал он, почерпнуты им из книг, кои он прочитал в доме князя Адама. Латинской же грамоте обучил его тот милосердный лекарь, и ученье не стало хуже оттого, что преподавалось тайно, во мраке глубоких подземелий, выкопанных под городом Угличем еще издревле, в татарские времена.

— Так как, — завершил рыжий, — я рождением моим уготован царствовать, то и старался пополнить свое воспитание при всяком случае, который мне посылался господом богом нашим. — А в довершение показал наперстный крест, весь в алмазах, и рассказал, что крест получен им при святом крещении от крестного отца князя Мстиславского. И что, надо полагать, это они, Мстиславские, а также Голицыны, Шуйские, Романовы (именно отчества этих высокородных бояр так и слетали с языка

рыжего) издалека следили за ним, чудесно спасенным царевичем, и через людей оповестили его, что время ему выходить из безвестности и подыскиваться престола под изменником и царевубийцей Бориской Годуновым. А как Бориска им хуже горькой редьки, то он, рыжий, и в грядущем полагается на их верность и всяческую помощь.

2. Самбор

Еще не доехали до ворот, украшенных башенками, как навстречу стали попадаться всадники, — одна рука в перчатке уперта в бок, на другой, поднятой, — кричат

— Гости пана Юрия на охоту поехали, — сказал князь Адам.

Среди охотников одна попалась паненка — темные кудри по плечам, то же самое кричат на кулачке, бархатная юбка свешивалась почти что до снежной дороги.

— Свояченица моя — панна Марина, — пояснил любезно князь Константин.

Въехали в ворота. Обширный двор был обставлен, как обыкновенно, строениями, все деревянными, и сам палац, где жил пан Юрий с семейством, — деревянный, сложенный из стволов лиственницы, но со многими входами, и входы были украшены гербом — пучком перьев. Резчик искусно вырезал перья, сделав их кудрявыми и горделивыми, как на тронном балдахине, так что входящий в эти двери долженствовал понимать, что ему оказывают честь, впуская сюда.

Еще на дереве были вырезаны гирлянды цветов и крылатые младенцы, натягивающие лук, чтобы спустить золотую стрелу с тетивы.

И рыжий переступил порог, и золотые стрелы ринулись на него, срываясь с тетивы.

Внутри дома полы были натерты воском, а по стенам висели ковры, где были изображены сцены охоты и рыцарских турниров, и греческие боги и богини.

3. Любовь

Марина закрыла свой веер (испанский, черный с золотом) и прикоснулась им к стулу, стоявшему рядом. Служанка сказала Дмитрию:

— Госпожа говорит вам: садись ко мне.

Дмитрий сел. У его колен струились складки белого платья, пахнувшего розами. Он видел ее ресницы, тронутые темной краской, и шелковистые шнурки ее бровей.

У него в руке тоже был веер (шелковый, с китайскими человечками), он приложил его к сердцу. Это означало: «Могу ли надеяться на взаимную любовь?»

Марина смотрела на него поверх испанского веера. Служанка прошептала:

— Госпожа находит вас пригожим и нескучным.

— Да хранит бог твою госпожу, — сказал Дмитрий и дотронулся веером до своего правого глаза. На языке вееров это означало: «Когда могу тебя видеть?»

Он услышал ответ, произнесенный розовыми устами:

— Пусть будет сегодня вечером.

Испанский веер лежал на Марининых коленях. Служанка быстрым пальцем сосчитала сложенные костяшки веера и сказала:

— Вечером. в одиннадцать часов.

— Где? — спросил Дмитрий, и розовые уста отозвались:

— У фонтана, в липовой аллее.

Дмитрий спрятал глаза за веером. То было признание в любви, известное Марине.

Она прижала веер к правому уху. Служанка пояснила:

— Госпоже отраднo слушать ваши речи.

Марина правой рукой открывала и закрывала веер.

— Она бы желала исполнять ваши желания, — прочла ему служанка.

Этой служанке в бархатном корсаже и белых кружевных чулках, уходя, он дал золотой.

А Марина ушла с двумя старыми панями, схожими друг с дружкой, как две капли воды. У обоих головы были лысы, серо-желты и гладки и как бы стекали от острой верхушки вниз, к складчатым жестким воротникам. На что-то были противно похожи эти головы. Дмитрий не мог вспомнить, на что. Он хотел сказать Марине лестное и сказал:

— Прекрасная панна привлекает не только юные пламенные сердца, но и отжившие, отгоревшие.

— О, ваше величество изволит ошибаться, — ответила она, — се моя фамилия, родичи мои: пан тата и пан дядя.

т

4. Пан тата и пан дядя

И Дмитрий вспомнил, на что похожи эти две головы, стекающие к круглым, как колеса, воротникам: на грибы опенки, семьями растущие у подножия трухлявого пня — желто-серые, с такими же лысыми головами и складчатými воротниками. И ножки этих двух, хилые и тонкие, схваченные подвязками под коленом, напоминали непрочные ножки тех грибов. И рыжему на миг стало страшно, в какую это он норовится неведомую семью и кому собирается отдать древние священные города Руси. Но, скосив глаза, увидел белое хрупкое плечо и темный локон на нем, и ушли из его мыслей священные города, а опенки ушли в толпу нарядных гостей.

Они всегда были схожи друг с дружкой, пан Юрий и пан Николай Мнишки, от самого своего отрочества, когда скончался их отец Ванделин и пришлось им самим о себе промышлять. Промышляли они бойко, в бойкости опять же друг дружке не уступая. Тогдашний король Сигизмунд-Август был стар и немощен, только что схоронил любимую супругу и немощью и вдовством сильно был удручен. Юрий и Николай добывали ему знахарок и ведунов, а также женщин, которыми он надеялся заменить покойную Барбару Радзивилловну. Кого-кого ни водили они по скрипучим лестницам в королевскую спальню — от красавиц голубых кровей до вшивых Басек и Цилек из жидовского квартала, — и щедро награждал король усердных Мнишков и деньгами, и именьями, и должностями. Одну красотку, Гижанку по имени, пан Юрий даже выкрал для короля из монастыря, где она воспитывалась. Тогда-то и получил он в управление королевский замок в Самборе.

Но всего мало было братьям, и они самовольно запустили руки в королевские шкапулки и шкафы, так что когда умер наконец дряхлый Сигизмунд-Август, то даже не нашлось одежд, в которых было бы прилично положить его в гроб. Так братья опенки обличены были в воровстве, и хотя паны замяли дело и приговора никакого не последовало, но тень легла на имя Мнишков, и нельзя было этому помочь ни пышностью жизни, ни щедрыми дарами Бернардинскому ордену.

Но они не унывали, ибо в тени и сырости завсегда живут опенки, и они знали, что если постараться, то

можно выйти из самой глубокой тени, важно лишь не пропустить благоприятного часа.

Благоприятный час явился ныне в облике рыжего слуги с бородавкой на грубом плебейском лице, и братья Мнишки не собирались его упустить.

Прежде, когда они выманивали имения и должности у Сигизмунда-Августа, приманку — красивых женщин — приходилось добывать со многими хлопотами, порою даже с опасностью для жизни: у панов — мужей красавиц — имелись сабли и пистолеты, у юношей в жидовском квартале имелись хорошо наточенные ножи. Ныне же приманка обитала под кровом пана Юрия, и не было никакой опасности в том, чтобы, разукрасив ее как должно, во всякую минуту представить пред очи влюбленного рыжего. И ничего, ничего иного не сулил благоприятный час, кроме наживы и блеска.

— Брате, о брате, — завистливо шептал Юрию Николай, — как же будет, когда Смоленск обещан и тебе, и его величеству пану королю?

— Отлично будет, брате, — отвечал Юрий. — Бо его величество поляк и я поляк, и неужели два поляка не сумеют поделить один русский город.

— Но правда ли, брате, — спрашивал Николай, — что он царевич?

— К нам заходил с черного хода некий стрелец, — говорил Юрий, — служивший некогда в Угличе и видевший царевича. И сообщил приметы: бородавка — она налицо. Также темно-красное родимое пятно у корня правой руки. Мы снимали кафтан и сорочку, смотрели: пятно на месте. Также — левая рука короче правой. Мы измеряли: левая короче гораздо. Увидев Дмитрия, стрелец сказал, не размышляя: царевич. Не мог бы самозванец так дерзко раздавать города своей отчизны. Он сознает свое право на это. А как он принимает услуги? Разве не ясно, что он с младых ногтей привык к тому, чтобы перед ним преклонялись?

— Он смел, — сказал Николай.

— Рассказы же его о своем спасении правдивы, ничего чудесного в них нет. Что бояре, ненавидевшие Годунова, помогли царевичу скрываться до поры, вполне достоверно и показывает дальновидный ум бояр. Что скрывался он первоначально в подземелье, — я спрашивал стрельца, и тот подтвердил, что под многими московскими городами, не только под Угличем, вырыты

глубокие ходы и пещеры наподобие римских катакомб, так что получается как бы второй — подземный город, где при надобности могут укрыться сотни людей, не то что один маленький мальчик.

— И все же, брате, — говорил Николай, терзаемый завистью. — Все же.

— Все же, — отвечал Юрий, — она будет московской царицей, а я буду при них как ее дражайший родитель, а ты будешь при мне, как дражайший мой брат.

— Да, если Московия признает его царем.

— А о том надо постараться, брате.

Они старались. Они положили хорошую плату. Они завели списки, с каждым днем эти списки удлинялись. Не говоря уж о холопах и всякой сволочи, — даже многие благородные шляхтичи охотно продавали свою шпагу, чтобы помочь рыжему слуге князя Адама воссесть на престол.

5. Рыжий в Европе

Ни убранство покоев, ни прохождение времени, ни обхождение, — ничто в Самборе не походило на то, что мог вспомнить рыжий об Угличе и Москве. Никто из русских бояр не повесил бы в своем доме таких ковров с изображением любовных утех каких-то богов и героев. Никто не надел бы столь смехотворных подвязок с бантами, будто вынутыми из девичьих кос. Никто не позволил бы дочери своей, девице, часами просиживать с молодым мужчиной в залах и в саду, как позволял сандомирский воевода Мнишек панне Марине. И хотя замок в Самборе был деревянный, но жили в нем богаче и привольней, чем все русские, известные рыжему. Поток увеселений была эта жизнь, состоявшая из пиров, танцев, выездов на охоту, состязаний в конных скачках и в фехтовании, а пиры не тем привлекательны были, что всяк набивал себе брюхо яствами и питьями, приятны были пиры затейливыми здравицами, чтением наперебой латинских, греческих и французских виршей и тем, что вперемежку с мужчинами сидели панны и пани с обнаженными плечами и мудреными прическами, убранными цветами и драгоценностями. И можно было смотреть на эти плечи и касаться этих рук, не боясь чьего-либо осуждения. Так уж тут полагалось, и сердце рыжего рвану-

лось к этой легкости и беспечности, пренебрегавшей и людским укором, и судом божьим. Даже здороваться здесь умели как-то так, что каждый из здоровавшихся чувствовал себя почтенным и поднятым через приветствие другого. Се, — понял рыжий, — была Европа, а то, что противопологалось ей, была Азия, татарщина, тяжкий след монголов, оставленный столетиями рабства в русской душе.

И он преклонил колено перед Европой в пышном белом платье и просил ее разделить с ним его царственную судьбу, и Европа протянула нежную ручку в знак того, что она согласна ухватиться с ним вместе за его скипетр. Конечно, сказала Европа, если будет на то благословение ее отечества, то есть пана таты и короля.

— А вдруг, брате Юрий, — возразил пан дядя, — пан жених, воссевши на родительский престол, вознамерится жениться на другой девице, — мало ли их в божьем мире. Треба взять у него обязательство, брате Юрий.

— Я возьму обязательство, — посулил пан тата.

И он получил от рыжего запись, что тот по волшебству на российский престол обязуется жениться на пани Марине Мнишек, и они с Николаем свезли рыжего к королю Сигизмунду, и тот позволил пану Юрию Мнишку собрать войско в помощь рыжему. Не обошлось без неудовольствий — кое-кому из панов не нравилось, что Мнишки уж чересчур высунутся наперед, а кое-кто, как, например, Сапега, боялся, что из-за этих дел порушится дружба с Московней, но усердие Мнишков все одолело, и войско стало собираться в поход под прапором рыжего.

6. Сваты приехали

Что за ликованье в Кракове? В честь чего заливаются соборные колокола? В честь чего вывешены из окон ковры и расшитые хустки с бахромой? Чего ради горожанки спозаранок разоделись в бархатные корсажи, а ножки их обуты в белые чулки и башмаки с серебряными пряжками? Зачем эта бальная роскошь с самого утра, ведь сходки с танцами под скрипку будут только вечером?

А затем, что нынче с рассветом в город хлынуло видимо-невидимо приезжих москвитян. В дорожных каре-

тах, в санях, крытых коврами, и на простых телегах, где лишь немного сена положено для мягкости, въезжают они в Краков по всем дорогам, въезжают и въезжают.

Так что к полудню ни на одном постоялом дворе нет уже ни свободной комнаты, ни свободного угла, ни постельного белья даже. Они как делают, русские? Из кареты выходит господин в медвежьей либо овчинной шубе, в собольей шапке, спрашивает комнату. Записывается в книге для приезжающих — частенько сановным, иной и княжеским именем, ложится в отведенном покое на мягкое ложе под балдахин, а когда хозяева гостиницы полагают, что постоялец ублаговторен сполна, — тут он объявляет, что он не один, а сам-шест, ибо с ним пятеро слуг, коих тоже надобно сполна ублаговторить.

И точно, лезет из кареты еще один, за ним другой, третий, все пятеро. И хоть слуги, а тоже в шубах добрых, и сапоги теплые, из шерсти валяные. И у многих сабельки и кинжалы в серебряных ножнах.

— У нас кроватей больше нет, — скажут хозяева. Приезжий в ответ:

— Зачем кровати? На полу им постелите.

— Да у нас постелить нечего, — скажут они. Он в ответ:

— Неужто так бедно живете, что у вас и одежды нету — постелить?

Выходит, дома они не брезгают на одежде спать, что ли? Простой, видать, народ, хоть и в собольих шапках.

И со слугами без вельможности. Что себе покушать спросит, то и холопам. И суп, и молоко хлебают все шестеро из одного котелка, достав из-за голенищ деревянные ложки, расписанные алыми ягодами и золотистыми листьями.

И так же к коням своим ласковы: мало что велит корму засыпать, — сам выбегает посмотреть, ест ли, пьет ли конь; из собственной ладони солью угостит; холку пригладит. Зато и кони у них — что каретные упряжки, что при телегах — загляденье. Правду говорят те, кому случалось сражаться с русскими, что сила их ратная столько же в конях, сколько в людях.

— И за каким же делом вы к нам приехали? — спросят хозяева. Постояльцы отвечают:

— За делом добрым: царю нашему Дмитрию Ивановичу невесту сватать.

Посол, в чьей свите они прибыли, остановился в доме воеводы Юрия Мнишка. Уже всем известно, какие подарки привезены воеводе: конь серый в яблоках, к нему седельный прибор с золотой цепью вместо поводьев, да булава с самоцветами, да живые зверушки из русских лесов: соболь и куница, для которой на воеводском дворе положили дуплистый ствол. И краковские мальчишки лежат животами на заборе, наблюдая, как пушистый остроглазый зверек листьями выстилает дупло — ладит себе жилье.

Самые важные из приезжих на постоянных дворах не останавливаются, их развели по панским домам. Даже в королевском замке кто-то стоит, в знак чего поднят русский прапор на угловой башне и с балконов свешиваются цветные плахты.

— И это не вся посольская свита, — сказывают москвитяне, — и не весь обоз, главный поезд — двести с лишком подвод — остался на границе, в Слониме. — И много людей, промышлявших грабежом, потекло при этом известии в Слоним, ибо при удаче там было чем поживиться, смекнули они.

Из главных главный сват и посол — дьяк Афанасий Власьев. Еще до завтрака, поднеся дары воеводе, пришел он поклониться Марине. И при этом его узкая борода, шелковая и серебряная, мела пол у Марининых башмаков; и жаркая гордыня затопила ее сердце. А потом Власьев подал грамоту, из которой следовало, что он имеет на предстоящем обручении представлять фигуру державного жениха царя Дмитрия Иоанновича всея Руси. С тем и вышли все перед вечером в освещенные площадками залы, где ждало множество гостей, среди них его величество король, игравший в шахматы с канцлером Сапегой.

Марина зорко глядела: как-то будет держаться московский приказный, представляющий фигуру ее жениха. Кафтан его, да и все одеяние его было весьма старомодно, двигался он безо всякой грации, почтение внушали только его седины да разноцветные камни, игравшие на его перстнях. Ни у кого из панов в этих залах не было столько перстней на руках и столько золотых цепей на груди. Марину это порадовало. Но вот что не было отраднo — как Власьев ел. Он руками брал кушанья и набивал себе рот. И пальцами же набирал соль из солонки. Она сказала пану тате, но он возразил:

— Дитя! То же самое делается и в Лувре. Моя оплошность — надо было приказать маршалку, чтоб ложки и ножи разложили по столу.

К руке короля Власьев подошел без приниженности, хотя и расторопно. И грамоты свои подал так достойно — хотя бы самому Сапеге впору. А после того просил отворить все двери, и через эти двери московские дворяне стали вносить подарки — для короля, для ее высочества королевской сестры и для Марины. Подарки были уложены в сундуки с железными скобами, и за эти скобы, продев в них шесты, с великим трудом несли их богатыри-москвичи. Открывали один сундук — там были золотые и серебряные блюда, чаши и кубки, открывали другой — доставали образа в драгоценных окладах, третий был до краев полон жемчуга, насыпанного, как в закроме насыпают зерно после обмолота. Так же вносили тюки мехов и ковров, шерстяных и шелковых.

Если случалось здесь, в Кракове, кто кому делал подарок — ковер дарил, или седло, или цепочку, — краковчане спешили поглядеть на подарок, пощупать, оценить, — во всех домах долго о нем судачили. Да что Краков! Когда французский король Анри подарил своей супруге Маргарите Наваррской семьсот жемчужин, — об этом даре говорили при всех европейских дворах. «Что же за страна, — думала Марина, — где золото и серебро дарят сундуками, а ковры — тюками, а жемчугом насыпают закрома».

«И я завидовала, — думала она, — Урсуле, ее браку с Костеком Вишневецким! Куда бедняге Костеку даже до дьяка Власьева, не говоря уж о царе Дмитрие. Да будет счастлива Урсула, услаждая Костека и варя варенье для штруцелей. Передо мной бояре будут пол мести бородами. Мой жребий — особый».

Блистая, как заря, обходила она залы. Афанасий Власьев, фигура жениха, шел рядом. Все на них смотрели. Пан тата сказал:

— Идем, доню, падем к ногам нашего благодетеля.

Он подшепнул ей, что при виде даров король возымел мысль отдать за Дмитрия свою сестру Брониславу. Бронислава не могла тягаться с Мариной в красоте, но сильна была своим правом на польскую корону. Королевская мысль могла оказаться не бесплодной.

Красивым движением Марина стала на колени и поцеловала руку королю. Сигизмунд сказал милостиво:

— Поздравляю тебя с новым достоинством. Оно тебе дивно даровано от бога для блага нашего королевства. Чтоб ты супруга своего приводила к соседской с нами дружбе и любви. Мы и прежде жили с москвитями в приязни, теперь она тем более должна укрепиться. Не забывай, что истинная твоя отчизна — здесь, у нас. Что здесь оставляешь тех, ближе кого нет у тебя: твоих родителей и всех нас, друзей твоих. Не забывай же их и слушай их советов. Люби польские обычаи и сохраняй их.

И Марина почувствовала на темени тяжесть благословляющей ее руки.

Потом поляки запели «Ave Maria», а потом Власьев надел ей на палец кольцо с алмазом величиной в вишню, и кардинал Рангони благословил обручение. Коснуться Марины Власьев не осмелился, — обернул свою руку шелковым платком.

7. Дни почета. Монах

Не то чтобы полякам так уж хотелось лить свою кровь за какого-то бродягу-схизматика, ищущего русского престола. Последний шляхтич и даже простолудин мечтал лучше умереть под своей убогой крышей, чем под чужим небом на поле битвы.

Но когда пан Юрий показывал запись, взятую с Дмитрия, — у самых первых панов и самых последних оборванцев начинали течь слюнки; и деньги и люди приливали к пану Юрию — стало быть, к рыжему.

И все эти люди приходили поклониться Марине и приложиться губами к ее руке. Никогда еще в Самборе столько не плясали и не пировали. Один пан прострелил себе голову от безнадежной любви к Марине. Две дуэли приключились из-за Марины. Ничего подобного не было, когда выходила замуж маленькая Урсула.

Кардиналу Рангони пришло письмо из Рима от его святейшества папы. Кардинал прочел это письмо пану тате, пани матке и Марине. Папа приказывал ей способствовать насаждению в России римско-католической веры и добавлял:

«Мы оросили тебя своими благословениями, как новую лозу, посаженную в винограднике божьем».

Пани матка сказала:

— Не означают ли эти слова, что ты, дитя мое, будешь причислена к лику святых, если послужишь делу веры?

«И ничего в этом не будет удивительного, — подумалось Марине. — Разве не великий подвиг — привести в истинную веру целый могущественный народ?»

И вправду, пристало ли ей кланяться королям, когда сам наместник апостола Петра обращает к ней такие речи. Она, Марина, не менее короля и уж поболее, чем какая-нибудь Маргарита Наваррская.

И тут в Самбор пришел монах. Он был жирный, нечесаный и пыльный, как все монахи, над которыми Марине предстояло быть владычицей.

— Я к тебе, пан, — сказал он воеводе.

— За каким делом? — спросил тот.

— Ты собираешь рать и золото, чтобы посадить на престол царей беглого расстригу.

— Царевича Дмитрия Ивановича, — сказал воевода.

И приказал кликнуть дочь, ибо дело касалось ее и ей надлежало слышать и знать.

— Расстрига он, — сказал монах. — Бежал из монастыря, ловили его, да не поймали. Если Речь Посполита за него станет, то в большой нелюбви быть вам с Русью. У нас таких проходимцев не жалуют.

— Не канцлер ли Сапега, — спросила Марина, — нашептал тебе эти речи?

— Нет, дитя, — возразил пан тата. — Канцлер не стал бы с этакой свиньей шептаться. Сознайся, мних, это царь Борис подослал тебя к нам с сими наветами.

Потому что незадолго до монаха в Самбор заходил другой обличитель, по имени Яков Пыхачев. Тот тоже обзывал Маринино жениха расстригой и чернокнижником и сознался, что его, Пыхачева, подбил на обличение царь Борис. Но паны, развязавшие свои кошельки для Дмитриева дела, не желали обличителей, особенно же не желал их пан Юрий, и по их ходатайству король велел казнить Пыхачева злою смертью.

Сейчас же пан Юрий уходил в поход с Дмитриевым войском и приказал, покуда суд да дело, запереть монаха Варлаама в подземелье Самборского замка.

Войско ушло. Когда блистательный отряд всадников скрылся в золотой пыли и Марина отмахала вслед платочком из башенного окошечка, — она сбегала вниз, бросилась пани матке на шею и сказала:

— О пани мамо! Я счастливая! Бог отметил меня как никого! О, давайте освободим несчастного, что томится в нашем подземелье, ожидая пыток и смерти.

Пани матка прослезилась:

— Узнаю в тебе мое сердце, доню.

И велела маршалку принести ключи. Марина сама спустилась по узкой крутой лестнице, втиснутой между двумя заплесневелыми зелено-серыми стенами. Марина спускалась, подобрав юбки, и видела себя со стороны, как прекрасную картину, исполненную милосердия: святая Марина идет освобождать узника. Тонким ее пальцам было не повернуть ключ в замке. Она хлопнула в ладоши. Сверху в колодец лестницы заглянуло маленькое личико маршалка с растопыренными седыми усами.

— Отвори, — приказала Марина.

Он сбежал на согнутых ногах и, натужась, снял замок. Дверца отворилась с визгом. В зловонной тьме блестяли два глаза.

— Выходи, монах, — громко сказала Марина. — Я тебя не боюсь.

8. Свекровь

Монастырский коридор был похож на тот, который Марина видела в Краковском университете: длинный — конца не видать, беленые своды смыкаются в вышине. Но тот, в Кракове, был холодный и припахивал затхлостью, а в этом воздух стоял теплый, приветный. Протянув руку, Марина тронула горячую стену.

— Государыня тепло любит, — прошептала шедшая рядом маленькая черная монашка. — У нас, как в патриарших палатах, в стенах от печей кирпичные ходы прокладены.

И стукнула клюшкой в дверь.

— Входите, — сказал изнутри глухой голос, не поймешь, женский или мужской.

Марина вошла и увидела свекровь.

То есть сначала кто-то налетел и обвил руками ее шею, а потом у Маринино подборода появилась голова с прядями совсем белых волос и с розовой кожей между прядями, и голос пробубнил:

— Красавица, дочка моя! — И Марина поняла, что это мать Дмитрия, вдова Ивана Четвертого.

Да, когда эта старуха была юницей, ее отдали в жены

самому страшному из всех людей, живших на земле. А он женился в восьмой раз, этот кровавый старик. Двух из жен своих он убил — одну задушили по его приказу, другую утопили в Москве-реке. Но эта юница поначалу была ему угодна, он не послал ее на казнь, она разделила с ним его престол.

Но потом ее угнали в Углич вместе с ее маленьким сыном, и там, в Угличе, в один проклятый день она, выйдя на крыльцо, увидела своего сына залитым кровью и бездыханным.

Как она тогда стояла перед ним? Как могли выстоять ее ноги? Как могли смотреть ее глаза? Как стиснулось ее сердце, напитанное горем, когда через много лет к ней подошел чужой человек и назвался Дмитрием, и она его признала за сына. Как не ударил тогда гром и не поразил эту голову?

— Мама, — сказала Марина и от сердца припала губами к сморщенной руке с пальцами-крючьями.

На царственной свекрови было такое же смиренное черное платье, как на той монашке, что привела Марину, и пахло от платья ладаном, кипарисом и старостью, и Марина со страхом подумала, какая бездна лежит между этой старостью и той юностью, полной величавых надежд и свершений.

«И говорят, она была красива, — думала Марина. — Непременно была красива, русские цари на некрасивых не женились». Ей в лицо блеснули снизу черные глаза с голубыми белками, не Дмитриевы глаза, Дмитрий не был похож на мать.

— Какие пироги у нас нынче? — спросила свекровь.

— Постные, матушка, и скоромные, из кислого теста и из пресного, с капустой и с грибами, каких твоя милость захочет, — ответила монашка.

— Ты, невестушка, какие любишь, кислые или пресные? — спросила свекровь.

Марина отвечала:

— Какими изволите потчевать, матушка, — как учил ее Дмитрий.

Пироги подали с грибами, из кислого теста. Стоя против свекрови у окна кельи, Марина без удовольствия ела незнакомую, странного вкуса и запаха пищу, слишком, по ее мнению, жирную, и радовалась мысли, что догадалась привезти с собою самборского повара.

.

Какие мы ни есть лыком шитые здесь, в Тушине, а вести о нас через заставы и рогатки разносятся по всем странам. Из-за тридевять земель начинают к нам съезжаться посольства. Являются особы женского пола, красотки всех мастей — черномазые, златокудрые, огненно-рыжие. Даже в далекой Лютении, на Сене-реке, прослышали про Тушинский лагерь и не хотят упустить свою выгоду. У пана Мнишка в Самборе не бывало на пирах столько красоток, сколько их бывает у выкреста Богданки. Торватые красотки не заносистые: нету иноземных вин — они и нашей зелена-вина браги выпьют, нет кавалеров в камзолах — они и казацкую голытьбу обнимают от души.

Насытившись их щедрой задушевной лаской, все неохотней идет Богданка в свою избу к Марине. Незадачливая царица все высокомерней становится, все не по ней. И пахнет-де от Богданки худо, и грубиян-де он, и мужик.

А что — ну, мужик. Он никогда дворянином и не прикидывался. Сама к нему приехала, мечтая через него на царство воссесть. А пахнет от него известно чем, — вином, да потом, да рыбой, да луком. Чем еще может пахнуть от мужика?

Все скучней Богданке с этой бабой.

Еще красотками попрекать вздумала: зачем-де к ним ходит? А потому и ходит: что же он — хуже своих казацшек и польских жолнеров, кои у красоток пропадают денно и ночью?

Обидно даже...

Стал Богданка Марину поколачивать.

Сначала легонько: за волосы поволочит, по спине плеткой вытянет. После понравилось — Маруся-хохлушка видала как-то вечером: его величество кинул ее величество на пол и сапогом ее, не разбирая куда.

Наутро проснулась Марина с сознанием, что что-то случилось.

Опять не пришли месячные.

Забеременела.

А мерзостный мужик Богданка повадился — чуть что, сапогом пинает ее. И в живот норовит.

А кругом — глаза бы не глядели: грязища, теснота, по всему Тушину проулки между избами таково загажены — пройти невозможно.

Сказала Богданке — он смеется:

— Ах-ах, пани прогуляться негде. Ах-ах, подошвы замарают пани.

А еще печки эти угарные. Как-то утром проснулась — в голове будто нарыв нарываёт, от боли пошевелиться не можно. Кликнула Богданку — он тоже угоревши. Спасибо Марусе — принесла горячей воды, стала лить Марине на голову, потом луковицу изрубилa мелко и в уши их величествам напхала, — начала боль отходить; только в ушах от лука пощипывало малость.

10. У Волчьего лога

Богданка приказал казакам коня ему запрячь и ускакал куда-то. Осталась Марина с Марусей вдвоем.

— Ну как, пани? — спросила Маруся. — Легчает?

Сочувственный был народ, над которым Марина царствовала.

— Ничего, — сказала она. — Только вот что, Маруся, понесла я, а он, ты видишь, как со мной. И как я здесь рожать буду?

— Ничего, пани, — утешала Маруся. — Как придет вам времечко, мы бабушку позовем, в Тушине этих бабушек хватает, на все руки мастерицы, она и принять сумеет, она же и скинуть допоможет, если такое ваше будет желание.

— Нет, как можно скинуть, — сказала Марина.

— Ну, это вам нежелательно, — отвечала Маруся, — как вы прирожденная знатная пани и государыня, а простые бабенки часто зовут скидывать, — куда им с дитем по такому времени мыкаться.

Маруся правду говорила, даже из окрестных сел приезжали бабы в Тушино выкидывать младенцев, и умелые бабушки им помогали спицей или шильцем. И вместе с помоями из иных ворот такое текло — не приведи боже!

В то утро с Богданкой было вот что.

Выехал он на коне со своего двора и поехал к Волчьему логу. Лог зарос сосняком, и там иногда стреляли волков, отсюда и название. Было влажно, тепло. Снег шел.

Только доехал Богданка до лога, смотрит — выбирается кто-то снизу из сосняка. Тоже верхом и саблю вверх держит обнаженную.

Глядь — это Гришка, Петров брат. И как-то нехорошо Богданке стало.

— Ты чего пужаешь? — сказал Богданка громко. — Саблю-то спрячь, когда приближаешься к государю.

А Гришка в ответ:

— Кой ты государь? Ты — вор, Богданка-выкрест, у попа учителем служил, он тебя и выкрестил, вот ты кто. Да с крещеньем аль без крещенья — все одно твоя душа пропащая, кипеть ей в смоле горячей до второго пришествия.

И — вовсе нагло:

— Помолись за свою душу, царь-государь Богданка.

И рвется вперед со своей саблей.

— Да ты что! — закричал Богданка. А Гришка ему:

— А ты что с Петром сделал? Думаешь, государем назвался, так и дадим тебе казнить нас и миловать по твоей воле? Как бы не так! Я тебя, царь-государь, еще тогда приговорил!

Богдан тоже потянул свою саблю из ножен. Да поздно: Гришкин конь полетел, толкнул его коня, конь пошатнулся на длинных ногах, кафтан Богданкин с левой стороны, у живота, стал мокреть.

11. Конец всем надеждам

Марина все еще ходила по избе, схватив себя руками за плечи, еще болела от угара голова и шипало в ушах, когда метнулась в дверь Маруся.

— Ой, пани! Ой, лихо-лишечко!

По бровям, по губам, по всему лицу Марусиному было видно: не терпится ей выговорить, какое случилось лихо.

— Что еще? — спросила Марина.

Маруся только на минутку запнулась:

— Ой, пани! Богдана Емельяныча!

— Что?!

— Зарублено! — резанула Маруся.

Кто-нибудь расскажи ей, видевшей, как Богданка бил жену... Никому бы она, это видевшая, не поверила, но своим глазам поверила.

Гордая пани раз-раз швырком с ног атласные башмаки и в чулках раз-раз сиг в сени, а оттуда на снег.

— Где он? — спросила через плечо, глаза сверкнули на Марусю.

— Возле Волчьего лога, сказывают, лежит...

Погружая ноги в снег, Марина мчалась к Волчьему логу.

Снежные поля были не белые — серые, словно пепел на них осел. И небо вверху серое. Дорога, вясь по полю, казалось, переходила вдали на небо. Березнячок повстречался — молоденькие березки в инее, словно бы невинные девочки...

Волчий лог был тотчас за березняком. Еще издали стал виден лежащий там на снегу: коричневый зипун, круглая черная шапка, ноги врозь в тяжелых сапогах — Езус Мария! — прокричала Марина в серое небо. Ничком кинулась долу и обняла сапоги.

О проклятые сапожищи, подбитые коваными гвоздями. О проклятая судьба!

Тихий лежал Богданка! Не вскочит, не задерется! Небольшая алая лужица натекла на снег у левой его руки.

Не задерется, нет... Не оскорбит непотребным словом!

Да, — но конец не только Богданке.

Конец и ей, Марине.

Конец всем надеждам.

Кто она сейчас? Богданки-выкреста вдова, не более того.

— Не хочу! — шепнула Марина небесам.

Не ответили небеса. Не услышали, может. Пустынно было над Волчьим логом, над малой алой лужицей, в которой утонули Маринины надежды.

Опять стал падать снег.

Тихо садились снежинки на коричневый зипун, на барашковую оторочку шапки, на черные Богданкины брови и сизые веки.

Надушенными белыми пальцами Марина плотней опустила эти веки. Где-то когда-то она видела, как это делают. Ах, вот где: на Красной площади, когда первый ее муж лежал на лавке, принесенной из торговых рядов, и мать инокиня, подойдя, закрыла ему глаза. Только у той пальцы были иссохшие, темные.

Под сизыми веками Марина ощутила Богданкины глаза, выпуклые, будто еще живые. Как страшно он на нее глядел этими глазами. Вдруг она впервые поняла, что он ее ненавидел.

Она, прекрасная и гордая, знающая наизусть латинские и французские вирши, приехала к нему, самозванцу

Богданке, и признала его своим супругом и царем, а он ее ненавидел. И почему-то ей показалось — странное дело — что, будь она на его месте, она бы тоже ненавидела. Вот именно за вирши, за герб из перьев на дверце кареты, за то, что хлебнула высшего почета...

За это бил ее Богданка, а не за то, что приревновала или забывала щи забелить. Что ж. Будь она Богданкой, она бы тоже была. И норовила бы побольней. Теперь об этом что думать? Нет больше Богданки. Кто-то расплатился за Маринины обиды — казак ли, шляхтич ли?

Какое ей дело? Что же, она казнить велит убийцу, если он найдется? Нет, не велит.

Ни до чего ей больше дела нет.

Всему конец.

Раз надеждам конец, значит — всему конец.

Она добрая. Она всегда была слишком добрая. Кто, бывало, ни придет просить помилования, — она милует. Того вонючего монаха надо было удавить в подземелье. Чем он лучше других, которые удушены, утоплены, обезглавлены либо просто убиты в бою булатом и порохом...

Как он отплатил за ее милосердие? Пошел по польским и литовским дорогам разносить клевету, обличать Дмитрия. Надо было отрезать ему язык, вот что надо было ему сделать! Вот сейчас она бы так и сделала.

Жалела всех. А ее кто жалеет? С церковных амвонов читают: «Непотребная девка Маринка». («Мы оросили тебя своими благословениями...»).

Лежи, Богданка, смирно.

Не стану за тебя мстить.

Спасибо тому, кто выпустил кровь из тебя...

Еще одной твари, попадись ей эта тварь, она бы вырвала язык: монахине Марфе, свекровушке...

Объявила, что лишь из страха признавала Дмитрия за сына, а он ей не сын, не царевич...

Что выгадала, старая дура? Сидела бы нынче на престоле рядом с Дмитрием и с нею, Мариной. Сообща бы правили Русской землей.

Мерзкая старуха. Правду-матку ей, вишь, понадобилось резать. Кому она нужна, правда? Так все шло хорошо, и, гляди ты, как обернулось... Посоветовалась бы хоть с невесткой, проклятая схизматичка.

Вдруг она почувствовала под сердцем толчок. В чреве ее повернулся младенец.

Младенец, да!

Еще не конец надеждам.

Там потребная или непотребная, а младенец сей будет внук царя Ивана Четвертого.

Она и Ивашке Заруцкому так сказала, когда он вечером пришел на ее вдовье ложе:

— Так и назову Иваном — в честь деда.

— Ну и отчаянная же ты, Маринка! — сказал Заруцкий, любуясь. — Неужто сызнова добиваться пойдешь?

— А как же? — она сказала. — Конечно, пойду. Завтра же другому деду напишу, пану тате, чтоб подумал, как помочь мне и внуку.

И Ивашка это все весьма одобрил.

— Жалко только, — сказал, — не след нам больше здесь оставаться, больно срамно тут стало, да и страшно. Сегодня — Богданку, а завтра — меня, а далее — не дай бог, и тебя. Не поглядят, что тяжела — злы стали несказанно. Я так думаю: в Астрахань нам с тобой лучше надо податься.

— Почему в Астрахань? — спросила Марина.

— К границе поближе. Может, на сей раз с востока придется кликнуть подмогу, из Персии.

— Ну, поедем, — согласилась Марина.

В Астрахани она родила мальчика. Родила в купеческом доме, который стоял как-то так, что звоны всех колоколов влетали в окно и будили младенца.

— Пусть не звонят, — сказала Марина Заруцкому.

— Как же так, — тот возразил, — не звонить в божий праздник?

— У вас, схизматиков, все праздники да праздники, — сказала она. — Трезвонят утром и вечером, тревожат престолонаследника. Скажи им — государыня, мол, не велела звонить.

Что-то он строптивым становился, Ивашка. Вдруг спрашивал, глядя на младенца:

— Хоть бы знать бы, чей он? Мой или Богданкин?

Задним числом ревновать вздумал, что ли?

— Чей бы ни был, — она отвечала, — а внук царя Ивана Васильевича.

— То правда, — говорил он, стихая. — Да, вишь, близок локоть-то, ан не укусишь. Не столь оно просто, сама уже, чай, уразумела.

Ей вдруг вспомнилась свекровь — мать рыжего. Как она тогда сидела в келье и кушала обед, успокоенная, — ее сын восходил на престол, черные дни остались позади, тихое ликование разливалось по лицу старой инокини. И как через несколько дней стояла возле лавки, на которой был распластан убитый Дмитрий. А у другого конца лавки она стояла, Марина.

Да, близок локоть...

Звонить перестали, однако. Ничем не нарушался сон царственного младенца.

— Что будем делать теперь? — спросила Марина у Заруцкого. Больше не у кого было спросить.

— Подумать надо, — сказал Заруцкий. — Подумаю — скажу.

И сказал:

— В Персию будем подаваться, в Тегеран. Войска у хана просить.

— А даст он нам войско?

— Даром не даст, а посулишь ему отдать твои города — почему же не даст? Даст!

— Это Новгород-го да Псков?

— Новгород, Псков. Жалко, что ли?

Верно, ей жалко стало. Ведь не монета из кошелька, — цельные города с пригородами, весями, лесами, покосами, жителями... Отдаст хану свои города — уже и во все ей тогда не над чем царствовать и не над кем.

— Без ханова войска царства не вернешь, — сказал Ивашка. — А царства не вернешь, — что с тобой будет? Знаешь?

Как не знать? Срам и смерть, что же еще?

— Никак нельзя тебе без царства, — говорил Ивашка. — Залезла лисица в кувшин головой — теперь не выпростается.

Прав, прав, дьявол.

— Хорошо, — сказала Марина. — Поедем в Тегеран.

Они сели в челн в летний жаркий день. Голубая река широко текла в своих берегах. Перекрестясь, отчалили. Вот и Астрахань позади. Купеческая торговая Астрахань с безмолвствующими звонницами. Что-то ждет их в Тегеране?

Она занесла ногу за борт челна, и Ивашка помог ей выйти на берег. Песок сразу насыпался в башмак, жая нежные пальчики, шлейф волочился по песку, она рывками подтягивала за собой этот грузный шлейф, конца пе-

ску не было видно, лишь кое-где, серебрясь, шевелился под солнцем ковыль. Здесь был край ее царства, край света и край ее жизни. Последние свои шаги совершала она, вонзая в песок каблуки, опираясь на руку Ивашки Заруцкого, — не на руку венценосных мужей-царей, а на руку любовника, злодея и негодяя — она знала, что он негодяй, — но шла за ним, ибо он был последний ее советчик и помощник, он поманил ее тем престолом, на котором ей так любо было восседать, и достигнуть этого перекрестка поможет Ивашка.

— Что ж, — спросила она, подтягивая шлейф, будто нагруженный пудовыми камнями. — долго нам так идти?

— Да куда не дойдем до Персии, — отвечал Заруцкий.

— А вдруг, — спросила она, — хан не даст нам войска?

— Должен дать, — сказал Заруцкий.

— А как не даст все же? Куда тогда пойдем?

— Тогда, — он сказал, — идти уже некуда.

— И хорошо, — сказала Марина. — А то уж больно трудно идти.

И, оглянувшись, посмотрела на свой след на песке — длинный след от острых каблуков.

— Лучше умереть, чем так идти...

Но она не умерла — она прожила еще немало лет, все в России: никакой другой страны и знать не хотела. Над русскими просторами взошла и закатилась ее странная звезда.

Ее имя осталось в веках наряду с именами великих людей, хотя она не сеяла ничего, кроме зла, и не пожинала ничего, кроме бед. И кто скажет, к какому народу приложилась она, умерев, — к русскому или польскому?

Коротким и бедственным был и дальнейший путь ее последнего пособника — Заруцкого. Совсем кратким, будто искра, мелькнувшая на ветру, был путь ее несчастного младенца...

И словно того только надо было, чтобы ушли эти трое, — вслед за их концом стала угасать Смута.

СОДЕРЖАНИЕ

СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ РОМАН	5
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОВЕСТИ	
Сказание об Ольге	201
Феодорен Белый Клобучок	248
Кто умирает	280
Смута (Мозаики)	
Голод	313
Гибель династии	317
Черный день Василия Шуйского	323
Болотников. Каравай на столе	327
Марина. Кому наибольший кусок	335

Панова В.

П16 Избранные произведения: В 2-х т. /Оформ. худож. Н. Кошелькова. Л.: Худож. лит., 1980. Т. 2. Сентиментальный роман. Исторические повести. 360 с.

Во второй том вошли автобиографическое произведение Веры Федоровны Пановой «Сентиментальный роман» о людях уездного города, юность которых совпала с первыми шагами социалистического общества, и исторические повести из циклов «Лики на заре» и «Смута» о древней и средневековой Руси

П 70302-070 77-80 4702010200
028(01)-80

ББК 84. 3Р7

Вера Федоровна

ПАНОВА

Избранные
произведения
в 2-х томах

ТОМ 2

Редактор Г. Антонова
Художественный редактор Р. Чумаков
Технический редактор М. Шафрова
Корректор И. Евстифеева

ИБ № 1662

Сдано в набор 6.12.79. Подписано в печать 14.08.80. Формат 84 × 108^{1/32}. Бумага типограф. № 2. Гарнитура «Тайме». Печать высокая. 18,9 усл. печ. л. 19,501 уч.-изд. л. Тираж 100 000 экз. Заказ 1044. Цена 1 р. 60 к.

Издательство «Художественная литература», Ленинградское отделение. 191186. Ленинград, Д-186, Невский пр., 28. Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136. Ленинград. П-136, Чкаловский пр., 15.

12.0018